AMERICAN RESEARCH PRESS

А. И. Фет

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в 7-ми томах

Том 5-й

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ



American Research Press

Абрам Ильич Фет

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в 7-ми томах

♢

Rehoboth, New Mexico, USA
— 2015 —

All correspondence and orders of printed copies of the books should be addressed to Ludmila P. Petrova, the copyright holder of A. I. Fet and the Editor-Compiler of the Collected Works in 7 volumes. E-mail: aifet@academ.org

This book was typeset using the LaTeX typesetting system.

Cover image: A USSR poster of the end-1980's by an unknown Russian artist. This image is the fair use, found in the internet.

ISBN 978-1-59973-396-8

American Research Press, Box 141, Rehoboth, NM 87322, USA
Standard Address Number: 297-5092
Printed in the United States of America

American Research Press

А. И. Фет. Собрание сочинений в 7-ми томах

Том 5-й

◊

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ

◊

Rehoboth, New Mexico, USA
— 2015 —

Оглавление

А. И. Фет. Собрание сочинений в 7-ми томах

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ



— Том 5-й —

От редактора-составителя

Пятый том составлен из публицистики, написанной А. И. Фетом в десятилетие с 1982 по 1992 год. Все 14 статей, вошедших в собрание — это письма из России. Все они были написаны для иностранных изданий и отражают состояние российского общества указанного десятилетия, хотя сам автор дал название "Письма из России" лишь малому циклу в составе этого тома.

Особое значение Фет всегда придавал мыслящей части общества — интеллигенции. Ей и посвящены 4 первых статьи. Они написаны в виде цикла в 1982 году, параллельно с книгой "Польская революция", и вместе с ней переданы по каналам самиздата за рубеж. Напечатаны под псевдонимом "А. Н. Клёнов" в парижском журнале "Синтаксис" в три приёма: "Пушкин без конца", 1982, №10; "Философия неуверенности" и "Инакомыслие", 1984, № 12; "Виждь и внемли", 1985, № 13.

В 1988 году там же появилась статья Фета "Что такое «перестройка»?", которая вызвала резко негативную реакцию читателей с последующей полемикой, так что редакция журнала должна была оправдываться.

Цикл из 7 статей, названный самим автором "Письма из России", написан по горячим следам событий, происходивших в России в 1989–1991 гг. В них отражён процесс горбачёвской "перестройки" и развал Советского Союза. Предназначались письма для полулегального польского журнала *Europa*, однако уже из первого письма видно, что автор имел мало надежд на их публикацию.

Непосредственным стимулом для написания этого цикла стали выборы в Верховный Совет СССР в марте 1989 г. Под лозунгом "Гласность и перестройка" предвыборная кампания широко освещалась по телевидению. Появилась небывалая до тех пор возможность увидеть участников политических событий и поделиться впечатлениями с предполагаемым польским читателем.

Первые три письма представляют собой репортажи с выборов в Верховный Совет и с Первого Съезда Советов. В них освещены действия партийного аппарата во время выборов и на Съезде. Эти три письма были отредактированы самим автором, но он никогда не делал попытки их опубликовать. Четыре остальных посвящены анализу национальных и экономических проблем, возникших на ру-

инах власти, а также позиции диссидентов и их роли в “перестройке”. Эти письма автор готовил к публикации, и по ряду причин их следует рассмотреть более подробно.

Письмо 4 посвящено Прибалтике. В первоначальном варианте оно было написано летом 1989 г. и оставлено для чтения друзьям. Друзей это письмо возмутило, и к лету 1990 г. Фет написал другой вариант. Рассчитывая опубликовать его в одном из советских изданий, он поставил псевдоним “Д. А. Рассудин”, специально придуманный им для этой цели. Публикация не состоялась.

Вместо этого письма Фет подготовил к изданию три других, обозначенных №№ 4, 5, 6, и подписал их тем же псевдонимом. Почему он использовал для письма с другим содержанием уже занятый номер 4 — неизвестно. Возможно, по рассеянности, возможно также, что он решил отказаться от публикации раскритикованного письма о Прибалтике. Во избежание дальнейшей путаницы мы обозначили их №№ 5, 6, 7, оставив номер 4 за письмом о Прибалтике. С этой же целью мы дали условные заголовки первым пяти письмам. Два последних письма в 2003 году озаглавил сам автор.

Итак, три письма, подписанные псевдонимом “Д. А. Рассудин” и обозначенные в нашем издании №№ 5, 6, 7, были написаны в течение осени и зимы 1990–1991 гг. и предназначены для публикации в каком-то отечественном издании. По-видимому, предлагалось любое письмо на выбор, о чём свидетельствует прилагаемое к ним предисловие, написанное явно в конспиративных целях: “Эта статья неизвестного русского автора, выступающего под именем Д. А. Рассудин, переведена из польского журнала «Европа». Сознавая трудности, связанные с двойным переводом, мы ограничились исправлением лишь наиболее очевидных ошибок, допущенных в польском тексте.” Публикация не состоялась.

Письмо 5 раскрывает социальное положение людей на территории распадающегося Союза. В нём дана картина советского общества на тот момент.

Письмо 6 написано в самом начале 1991 года, вскоре после выхода статьи Солженицына “Как нам обустроить Россию”, опубликованной 18 сентября 1990 года одновременно в “Литературной газете” и “Комсомольской правде”. Автор письма подробно разбирает эту статью и полемизирует с Солженицыным. В 2003 году, поставив название “Мудрые советы”, Абрам Ильич опубликовал её под псевдонимом “А. Н. Клёнов” в электронной библиотеке “Современные проблемы”.

Письмо 7 написано тогда же, в самом начале 1991 года, в Москве,

после поездки в Америку. В нём автор разбирает, кто такие диссиденты и какова их роль в подготовке реформ. В 2003 году, поставив псевдоним "А. Н. Клёнов" и название "Анатомия диссидентства", Фет опубликовал эту статью в электронной библиотеке "Современные проблемы".

К циклу примыкают и логически завершают его две статьи: "Между августом и октябрём", написанная сразу после августовского путча и предсказывающая развал союза, и "Почему у нас не будет фашизма и гражданской войны", написанная в 1992 году и сразу же опубликованная в парижском "Синтаксисе".

Л. П. Петрова

Пушкин без конца

Название этой статьи нуждается в объяснении. Объясняется оно некоторой аналогией между литературными интересами нынешней публики и столь же дотошными изысканиями немцев по поводу Гёте. Дело было в конце прошлого века, когда немецкая культура клонилась к упадку, постепенно превращаясь в учёность, и, как это бывает в таких случаях, комментаторы заняли место поэтов. Больше всего досталось Гёте. Были изучены все мелочи его жизни, биографии его родственников и знакомых, и в особенности все подробности, касающиеся его тридцати шести официально признанных любовниц, увековеченных им в стихах и прозе. Было, в частности, прозаическое свидетельство поэта, что в такой-то промежуток времени он любил Фредерику. "Здесь Гёте ошибается, — поправил его комментатор, — он любил в то время Амалию".

Нездоровый интерес ко всему, касавшемуся Гёте, сам по себе был социальным явлением, заслуживающим внимания. Один автор, занявшийся этим вопросом, написал статью под названием "Гёте без конца".

Нечто подобное мы видим теперь: неистощимое любопытство наших филологов, литераторов и читателей почему-то вызывает Пушкин. Это явление кажется, на первый взгляд, парадоксальным. Вряд ли можно найти что-нибудь более чуждое современному человеку, чем лирика этого поэта. Её романтическая окраска вызывает у нынешнего читателя ироническое недоверие: напряжённые, исключительные страсти воспринимаются им как обязательный ассортимент старой литературы и никак не связываются с его личным опытом, очень далёким от крайностей этого рода. Что касается менее высоких предметов, то откровенность Пушкина в их изложении представляется в наше время чем-то вроде наготы античных статуй, ни у кого не вызывающей особого интереса. Пушкина почти не читают, и не только по вине школьных учителей: самый склад эмоций в наше время бесконечно далёк от чувствительности тех времён, и Пушкин попросту не нужен.

Но, как мы видим, интерес к нему не убывает. Бесконечный поток печатной продукции наполняет журналы, а книги о Пушкине расходятся по тайным каналам нашей торговли, даже не попадая на прилавок. Пушкин без конца! Как видно, нечто общее с Пушки-

ным у нашей публики всё же есть, и если не в качестве поэта, то по некоторым другим причинам Пушкин ей зачем-то нужен.

Простейшее объяснение состоит в том, что публику надо чем-то занять, а сколько-нибудь интересных предметов, открытых для публичного обсуждения, осталось совсем немного. Интерес представляет лишь то, о чём можно спорить. Важно поэтому выбрать предмет, о котором можно невинно и безнаказанно спорить в печати. Слишком уж правдоподобный Пушкин нашему времени не подходит, и собранный Вересаевым том подлинных воспоминаний о Пушкине, как все понимают, переиздать просто невозможно. Но при условии пиетета Пушкин оказывается первоклассным объектом окололитературной возни: он достаточно далёк от наших дней, чтобы не привлекать слишком пристального внимания начальства, весьма известен, хотя бы понаслышке, и во многом, о чём дозволено спорить, предельно неоднозначен.

Дискуссии этого рода всегда помогают что-нибудь забыть. Вспоминаю моё первое столкновение с пушкинизмом. У нас была в школе учительница Калерия Петровна, древняя старуха, которой приписывали невозможное прошлое. Рассказывали, что Калерия (или Холерия, как её называли в повседневной жизни) преподавала свой предмет в Смольном, когда он был ещё не штабом революции, а институтом благородных девиц. Больше всего Холерия любила диктанты. Она выбирала для диктантов самые удивительные слова, относившиеся к нашей речи примерно так же, как благородные девицы к девочкам из нашего класса. В особо ответственных случаях нам удавалось, однако, предотвратить диктант посредством отвлекающего манёвра. Дело в том, что у старухи, наряду со страстью к диктантам, было ещё одно увлечение: идолом этой старой девы был Пушкин. Она знала о Пушкине всё, что можно было прочесть, и могла говорить о нём без конца. Надо было лишь втянуть её в пушкинскую тему, а вытянуть её мог только звонок. И вот один из нас, заранее подготовившись, поднимал руку и задавал вопрос. Он робко выражал сомнение по поводу какой-нибудь загадки пушкинской жизни, например, носил ли Пушкин очки. Надо было видеть, как у старухи разгорались глаза! Носил ли Пушкин очки, было неясно, мнения специалистов по этому вопросу невозможно было примирить. Если он их носил, то не слишком часто, но нельзя с уверенностью утверждать, что он их не носил никогда! Это было столь увлекательно, что напомнить о диктанте было бы просто бестактно.

Конечно, жизнь и приключения Пушкина играют в нашем обще-

стве определённую отвлекающую роль. Но есть и другие отвлекающие предметы, дающие повод для бессмысленных споров. Можно спорить об охране природы (или, как теперь модно говорить, "окружающей среды"), о росте населения земного шара, об истощении сырьевых ресурсов или, наконец, ещё о каком-нибудь писателе, достаточно интересном в смысле скандальной хроники или несуразного мировоззрения, например, о Достоевском. Каждый из спорщиков твёрдо знает, о чём можно говорить и о чём нельзя; а при таких условиях никакая истина из спора не родится. Всё сводится к некоторой игре, развлекающей публику и доставляющей сочинителям заработок и престиж. Главное удовольствие состоит при этом вовсе не в обсуждении самого предмета спора, а в уклонении от других предметов, о коих пока ещё совсем забыть невозможно. Нужно ещё два-три поколения, чтобы никакие лишние вопросы не могли уже родиться в голове человека, и тогда человека больше не будет, а будет некий играющий автомат. Думаю, что в Новом Прекрасном Мире значительная часть времени будет посвящена дискуссиям на невинные темы. Стихи Пушкина, разумеется, будут тогда изъяты из обращения, но сам Александр Сергеевич, с его няней, друзьями и подругами, Натальей Николаевной и историей дуэли будет попрежнему предметом горячих споров.

И всё же, пушкинская тема слишком уж назойливо возвращается, тесня другие отвлекающие и развлекающие предметы. Неожиданная популярность поэта должна объясняться чем-то иным.

Другое объяснение связано с общей тенденцией нынешней гуманитарной учёности, которую я назову (из вежливости) филологическим уклоном. Главная установка учёных этого рода состоит в том, чтобы как можно глубже зарыться в отдельные факты, ни в коем случае не пытаясь их осмыслить. Осмысливать факты опасно, а рыться в фактах уже опасности не представляет. Разумеется, и здесь надо придерживаться неписаных правил: каждый учёный знает, какие факты не следует замечать; а при таких условиях никакая истина из фактов не родится. Однако, наблюдаемый интерес к Александру Сергеевичу нельзя объяснить невинным копанием в малозначительных фактах, составляющим занятие наших гуманитарных учёных. Их диссертационные угодья наполнены разнообразной дичью, между тем как всё связанное с Пушкиным уже основательно истощено, да и сам предмет всё время сбивает с фактов на толкования, что вынуждает филолога к особливой бдительности. Нет, учёные мужи и жены, пишущие о Пушкине, без сомнения ищут *популярности*; но тогда рвение их не может быть объяснено

муравьиными филологическими интересами, и мы снова сталкиваемся с вопросом о необычайной популярности Пушкина, с которой начался этот разговор.

Третье объяснение связано с характерным для нашего времени языком намёков, не имеющим до сих пор научного наименования. Берётся какой-нибудь общеизвестный запретный факт повседневной жизни и подыскивается аналогичное явление в жизни давно прошедшей: в Древнем Риме обращают особое внимание на политическую систему Августа; на Руси обнаруживают пикантные подробности жизни и деятельности Ивана Грозного, ещё недавно принадлежавшие, в свою очередь, к запретным фактам этого неприятного прошлого, но теперь, после робких вылазок целого поколения историков, вновь перешедшие в категорию фактов дозволенных; или же, что требует особенной смелости и вменяется в заслугу как редкое гражданское мужество, какой-нибудь журналист-международник сводит счёты с фашизмом — разумеется, немецким. Язык намёков и подмигиваний, как я уже сказал, не имеет научного названия, по упущению наших социологов, для которых вся окружающая жизнь представляет великий запретный факт. Было бы слишком лестно называть его эзоповым языком. Эзоп изображал разные вещи не просто для развлечения публики, но для назидания; между тем, нынешний язык подмигивания никаких полезных уроков не содержит, поскольку обе участвующих в игре стороны — и авторы, и читающая публика — одинаково лишены каких-либо нравственных поползновений. В социологическом отношении язык подмигиваний напоминает разговоры в лакейской, где главным предметом остроумия были секреты барской жизни. Это вовсе не исключало, а предполагало почтение к барам и зависть ко всему, что баре могли себе позволить. Поскольку в нынешней лакейской свобода слова несравненно более ограничена, чем в барских домах прошлого века, приходится прибегать к иносказаниям, достаточно прозрачным, чтобы смысл их мог дойти до нынешнего обездоленного по части образования интеллигента. Намекают на что-нибудь всем известное, все узнают, о чём идёт речь, и понимающе подмигивают друг другу.

Конечно, жизнь нашего великого поэта даёт достаточно материала для лакейских подмигиваний и смешков. Но дело здесь не только в узнавании, в сопоставлении похожих вещей двух разных времён. Всё это недостаточно объясняет, почему нашей публике так нужен Пушкин, а не что-нибудь другое.

Причины его популярности, о которых я говорил, очевидны, но

возникший у нас культ личности Пушкина объяснить не могут. Верно, что Пушкин представляет неисчерпаемые возможности для невинной болтовни, филологических изысканий и остроумных намёков, но главное значение Пушкина для нашего интеллигента в том, что он ему чем-то *близок* — или кажется близким. Не так уж ему важно, что Пушкин писал стихи, и стихов этих он, по описанным выше причинам, не читает. Подлинный вклад Пушкина в русскую литературу его не очень касается, потому что он некультурен, а если и есть у него некая культура в этнографическом смысле, то давно уже не русская. Величие Пушкина наш интеллигент измеряет той же меркой, какую применяет сам в повседневной жизни, оценивая себя и других: единственный оставшийся у него критерий оценки человека — это статус, официально признанный общественный ранг. Он не способен уже оценить талант непосредственным личным суждением, потому что потерял непосредственность суждения, да и с личностью дело обстоит плохо. Чтобы отличить хорошие стихи от плохих, нужна опять-таки эта загадочная комбинация унаследованной традиции с личным, неповторимым складом мысли и чувств, которая называется культурой. Но культура утрачена до такой степени, что самая утрата её уже не осознаётся. Обо всех явлениях судят по тому, чтó о них принято говорить, то есть ищут во всяком вопросе "апробированное мнение". Было бы слишком долго здесь объяснять, как складывается это мнение, да это и не входит в нашу задачу; заметим только, что в наших условиях апробированное мнение определяется, как правило, государственным аппаратом. Учёный, писатель, общественный деятель для нашей публики тот, кого государственное учреждение таковым признало, выдав ему об этом документ. В обществе чиновников иначе и не может быть, и если чиновник не находит признания у своего начальства, то он ищет себе другое: иначе он не знает, как жить. Так вот, у Александра Сергеевича статус просто великолепный: его признавали все казённые авторитеты, и царь, и Белинский, и все министры просвещения и культуры. Можно не сомневаться, следовательно, что он был "великий" и "гениальный" поэт. Итак, наша публика видит в Пушкине солидную, выдержавшую испытание временем ценность, столь же надёжную, как старые книги, оказавшиеся самым выгодным помещением денег. Наш современник хочет знать, как вёл себя в жизни человек, наделённый великим талантом, и то, что он об этом узнаёт, кажется ему удивительно близким. В этом и заключается тайна обаяния Пушкина для нашего поколения.

Не все великие люди прошлого, даже с самым достоверным статусом, представляют в этом смысле интерес. Данте был тоже великий поэт; но известно, что любил он всю жизнь, и при том платонически, одну Беатриче, держался одних и тех же убеждений — был каким-то гвельфом, и очень уж не любил ступеней чужого крыльца. Столь же мало привлекает унылая бородатая личность Щедрина, его упрямая желчность, его ненависть к простым радостям жизни, по природе своей всегда несколько нечистоплотным. В великом человеке нас интересует то, чем он на нас похож.

Что же ищет в Пушкине современный интеллигент? Как раз то, в чём он совсем не велик. Здесь нет никакого парадокса: речь идёт о важном законе психологии. Человеку свойственна глубокая потребность в самоутверждении. Каков бы он ни был, чем бы он ни занимался, он должен чувствовать себя порядочным человеком, правильным, честным, и во всяком случае не хуже других. Надо рыться в истории, чтобы найти несколько сознательных злодеев, цинично признававших мотивы своих поступков; да и в этих случаях, как можно подозревать по наблюдениям над более обыкновенными циниками, самый цинизм их служил в патологически извращённой форме той же цели самоутверждения. Если образ жизни человека не даёт ему никакой разумной возможности самоуважения, он жертвует разумностью, но сохраняет самоуважение. На место подлинных мотивов поведения, как правило, подставляются мнимые, и делается это подсознательно, без ведома той небольшой части личности, которую можно назвать рассудком. Психологи называют такой процесс *рационализацией*; это не какое-то особое болезненное явление, а один из самых главных законов жизни: тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман. Как видите, поэты постигли этот закон задолго до учёных. Чтобы обмануть себя, некоторые вещи мы вынуждены себе прощать. Не всегда удаётся забыть о них, и тогда возникает задача самооправдания. Чаще всего оправдываются тем, что так поступают все. Моцарт написал очаровательную оперу под этим названием, и многие слабости, свойственные и слабому, и сильному полу, могут быть в самом деле снисходительно прощены. То, чего мы не можем себе простить, обычно совпадает с тем, чего мы не смеем за собой признать. В этом случае процесс самооправдания происходит подсознательно, но во всех случаях он требует отождествления нашей индивидуальной природы с человеческой природой вообще. Мы должны быть уверены, что, начиная с Авеля и Каина, *так поступают все*, и с удовольствием принимаем любые свидетельства, поддерживающие такую ве-

ру. Чем более значительны люди, совершавшие такие поступки в прошлом, тем больше их относительный вес в непрерывном самоочистительном процессе, на который мы осуждены. Поэтому так интересно рыться в грязном белье так называемых великих людей. К несчастью, в области литературы жизнь знаменитого человека становится общим достоянием, добычей непочтительного потомства, запускающего руки в письма, любовные записки, долговые расписки, и даже в бумаги, подаваемые начальству, что в смысле нескромности хуже всего.

Но вернёмся к нашему предмету. Конечно, в жизни Пушкина было много такого, что ко всему сказанному не подходит. Поэт, написавший каждую из "маленьких трагедий" в один день неповторимой болдинской осени, не может быть затронут ничем, что будет сказано дальше. Но такой Пушкин нашему современнику ничем не льстит и ни в чём не может его оправдать. Стихи Пушкина мы будем рассматривать лишь в той мере, в какой они позволяют понять написавшего их человека; а в этом они, за немногими исключениями, не очень помогают, потому что Пушкин удивительно объективен. В нём есть нечто безличное, или, лучше сказать, идеально воплощённое всеобщее, и лишь изредка прорывается пронзительная нота личной муки, жалобы или тоски, какие мы находим в каждой строчке более субъективных поэтов. Пушкин чеканил свои стихи, во многом отвлекаясь от самого себя, отдавая им себя, в чём было надо, но, конечно, не решал сознательно, какую часть себя в каком случае отдаёт.

Если мы хотим понять, какой это был человек, надо принять во внимание его время. Зрелая жизнь Пушкина совпала с началом царствования Николая Павловича. Чтобы понять положение русского общества в то время, надо прежде всего осознать, что значит это слово. Если понимать под обществом ту часть населения, где читают книги, рассуждают о прошлом, настоящем и будущем, о том, что хорошо и что плохо, где вырабатываются так называемые положительные идеалы, то эта публика насчитывала тогда несколько тысяч человек, точно так же, как в наши дни. Остальная часть населения России прозябала в пассивной зависимости от сложившегося уклада жизни, традиций — в общем, от принятых шаблонов поведения. Тиражи книг и журналов, составлявших в то время русскую литературу, отвечали численности "образованного общества". Тогда не было государственного финансирования пустых тиражей, но литература, ходившая в списках без разрешения начальства, уже была. Бóльшая часть "образованной

публики" состояла на государственной службе и переживала все вытекающие отсюда условия. Однако, значительная часть "общества" в материальном отношении не зависела от начальства: имения помещиков были практически неотчуждаемы, и начала уже складываться промышленно-купеческая прослойка, рано потянувшаяся к образованию в лице Боткиных, Полевых и других пробиравшихся в "общество" простолюдинов. "Общество" было неоднородно: бедный провинциальный дворянин, получивший университетский диплом, вряд ли был бо́льшим аристократом, чем Белинский, тоже дворянин за выслугу лет своего отца. Дворянство в основном было служилое.

Понятия русского общества сложились под действием русской традиции и под нажимом Европы. Если не говорить о киевской и новгородской старине, оставившей мало следов, это была традиция московского государства, сложившегося после татарского нашествия под сильнейшим давлением азиатских господ. Владычество татар началось в тринадцатом веке и продолжалось в прямой форме свыше двухсот лет; впрочем, ещё в конце семнадцатого века приходилось опасаться набегов и платить дань крымскому хану, так что первым русским государем, вполне освободившимся от татар, был Пётр Великий. Из наших учебников истории трудно понять характер татарского господства и его влияние на русские нравы. Если оставить в стороне заражение чужой и примитивной культурой, остаётся то бесспорное несчастье, что русские были рабы, а татары — господа. Русские князья находились в зависимости от татарского хана, но это не были вассалы в смысле европейской феодальной системы. Не было никакого обычного права, исчезло всякое понятие о чести. Чтобы стать великим князем, надо было получить инвеституру в ханском Сарае, так называемый ярлык. Для этого будущий князь должен был ехать на поклон к хану и подвергался всем унизительным церемониям, каким научились татары во всех частях завоёванной Азии; а в Азии унижать умели. Разумеется, хан не считал себя обязанным утверждать в княжеском звании законного претендента и не утруждал себя изучением родословных: он выбирал из наличных кандидатов того, кто ему больше угодил. Это был конкурс унижения и школа азиатской борьбы, где допускались все приёмы, и где престол теряли вместе с головой. Александр Невский, причисленный к лику святых церковью и нашей исторической наукой, силён был как раз тем, что пользовался благоволением хана, и одержал победу над немецкими рыцарями благодаря вспомогательному отряду татар. Получив

ярлык, князья правили под контролем хана: на современном языке они были коллаборационисты, а сотрудничество их с татарами состояло в том, что они помогали расправляться с непокорными соплеменниками и собирали для хозяев всевозможную дань, в том числе девушками. Татары считали всех женщин завоёванных стран частью своей добычи; нравственное влияние такой практики, продолжавшейся в течение нескольких поколений, нетрудно себе представить. Князья, конечно, хитрили и надували хана, как могли, пользуясь удалённостью своих укрытых лесами и болотами вотчин; хитрить приходилось и церкви, которую татары щадили, опасаясь неведомых богов. Хитрить должен был и крестьянин, чтобы отдали татарам дочь соседа. Время от времени наезжали ревизоры, татарские баскаки с отрядами, наводя ужас на русские города и веси. О борьбе не могло быть и речи, потому что князья и местная знать раболепно выполняли волю татар. Отшельники уходили в леса — молиться.

Московское царство устроилось по татарским образцам. Боярская честь свелась к препирательствам, где кому сидеть за царским столом. При Иване Грозном, укрепившем татарские нравы духом Византии, вполне установился стиль русской жизни, не оставлявший места личному достоинству и чести, равнявший боярина и холопа в постоянной готовности к повиновению и унизительным жестам. Вельможи, обращаясь к царю, называли себя Мишками и Ивашками, валились на колени в своих пудовых шубах, трясли бородой. Это была не вся русская жизнь, но существенная часть русской жизни, и мы должны как следует понять её, чтобы оценить дворянскую честь пушкинских времён. Помните звучные стихи:

Мой предок Рача мышцей бранной
Святому Невскому служил.

Не будем касаться здесь самого́ спорного факта: если и служил, то как служил, и каков был святой?

Понятие дворянской чести было импортировано с Запада вместе с другими новшествами Петра. Новый тон благородного поведения утвердился не сразу. Ещё при Екатерине европейские понятия были причудливо смешаны с унаследованными привычками холопства, как об этом рассказывает Чацкий, да и сама Екатерина была ярким примером того же смешения стилей. История её жизни, ещё памятная старшему поколению в юные годы поэта, представляла собой азиатское перерождение: молодая образованная немка, приехавшая в Россию с сентиментальными иллюзиями, либераль-

ными взглядами и, вместе с тем, наделённая редким в этой стране здравым смыслом, постепенно превращается в деспотическую русскую барыню, устроившую себе гарем из лакеев и делающую из этих лакеев полководцев и министров: вся политика страны вращается вокруг постели императрицы. Екатерининские нравы Пушкин знал по рассказам очевидцев. Знал и о ведомстве Шешковского, где пытали политических противников просвещённой царицы.

Прошлое, о котором помнило русское общество пушкинской эпохи, не было этому обществу приятно. Это было прошлое рабства, унижений и казней, о котором хотелось забыть. Последним грязным пятном русской истории было воцарение Александра, молча благословившего убийство своего отца:

> О стыд, о ужас наших дней!
> Как звери вторглись янычары!
> Падут бесславные удары...
> Погиб увенчанный злодей.

И здесь янычары, азиатские нравы, от которых надо уйти. Болезненно обострённое чувство чести, обострённое именно этим прошлым, от которого так трудно уйти, — и ущербная честь, несущая в себе неизбывный груз наследственного рабства.

Начало царствования Александра было для русского общества временем великих надежд. И лучше всех это выразил Пушкин. После деспотизма полубезумного Павла — наступила оттепель, и распустилось на Руси сто цветов. Было несколько сот молодых дворян, получивших образование на европейский лад, а в некоторых случаях и подлинно образованных: в большинстве это были офицеры, видевшие Европу во время наполеоновских войн и узнавшие по личным впечатлениям жизнь, о которой читали во французских книгах. Между этими молодыми людьми и обществом их отцов был резкий разрыв. Отцы их, усвоив некоторые правила европейского обхождения, в практической жизни были ориентированы на реальности русского быта. Редкие исключения вроде Радищева и Новикова не выходили из сферы литературы; эти люди возлагали надежды на “просвещённый абсолютизм”. Между отцами и детьми была французская революция: пока гувернёры-французы, нередко сами осколки старого режима, учили русских мальчиков языку прекрасной Франции, насаждая на Руси вольтерьянство и руссоизм, свободомыслие и безбожие, чувствительную любовь к природе и простым людям, — Европа необратимо перешла в девятнадцатый век. Пушкин прекрасно владел французским языком, какому научился

в детстве: для приезжих французов это был старомодный, тяжеловесный и несколько вычурный язык “бывших людей”. Офицеры, побывавшие в Париже, принесли с собой более лёгкую речь и более свободный подход к вещам. Важно понять, насколько они были молоды: декабристам было в среднем лет двадцать пять, так что человек тридцати пяти–сорока лет считался у них стариком. Это была революция мальчишек.

Инфантильность среды, о которой идёт речь, объяснялась не столько возрастом, сколько обстоятельствами жизни. В России воспитание молодых людей было направлено главным образом на французский язык и хорошие манеры; это считалось достаточным для успеха в свете, а карьера сыновей мыслилась отцам, как это всегда бывает, по собственному образцу. Но в других странах система воспитания не ограничивалась импортом гувернёров: сложившиеся устойчивые общества выработали механизмы воспроизводства общественных типов, включавшие глубокое неформальное воздействие на молодого человека окружающей сословной среды. Основой воспитания были авторитет старших, обаяние унаследованных традиций, ощущение принадлежности к некоторому общественному классу и самоутверждение в этом классе. В России, породившей поколение декабристов, этот механизм дал осечку, и возник очень странный, не приспособленный к условиям продукт.

Окружающая жизнь была в непримиримом противоречии с миром французских книг. Отцы не были похожи на дворян в западном смысле слова. Рабы перед начальством, самодуры перед челядью, они были непригодны для подражания. Таким образом расстроилось воспроизводство дворянской верхушки. Чувство чести сделало в этом поколении существенный шаг вперёд: из области манер оно перешло в область поступков. И неизбежный контраст с наблюдаемой жизнью придавал этому чувству болезненную обострённость, о чём ещё будет речь впереди.

Нравы лакейской и девичьей влияли не меньше книг. Можно было теоретически осуждать то и другое, но барская привычка неизбежно создавала бар. Привычка жить на готовом, привычка к бесплатным услугам дворни, привычка к сексуальной эксплуатации крепостных девок (по поводу которых совсем недавно Карамзин сделал открытие, что и крестьянки чувствовать умеют) — всё это само собой разумелось, уживалось с пылкими речами за бокалом шампанского и чтением запрещённых книг. Тип человека, возникший в этих условиях и всё это в себе совместивший, не мог быть зрелым — он был ребячлив. Чтобы понять декабристов, надо не упускать

из виду образ жизни этих молодых ребят, странным образом сочетавший в себе черты рабства и свободы.

Во многом они были свободнее, чем любое поколение русских молодых людей до них и после них. Прежде всего, они были свободны от забот. Все они жили за счёт труда крепостных — необходимость добывать в поте лица свой хлеб представлялась им участью людей низшей породы или скучным библейским поучением. Они привыкли к изрядному комфорту: их еда и питье, одежда и жилище, вся обстановка их жизни должна была отвечать требованиям парижской и лондонской моды. Шампанское на пирушках и в самом деле было из Шампани, а употреблявшееся к столу бордо доставлялось из одноимённого порта. Денежные заботы их касались обычно карточных долгов и дорогостоящих женщин. В общем, жили они беззаботно и привольно, юность их не была омрачена унизительной заботой о куске хлеба. Моралисты всегда любили распространяться о преимуществах нищеты, но нищета — это прежде всего зависимость от других, и самая гордость, происходящая из нищеты, несёт на себе печать своего происхождения: она жадно ест и робко смотрит по сторонам, опасаясь хозяина. Молодые люди, среди которых рос Пушкин, на хозяина не озирались. По складу своей души они были свободнее разночинцев, молодость которых заполнялась беготнёй по урокам, сокрушением о продранных локтях и покровительством меценатов.

Они были свободны также от прописной морали. Глядя на них, можно иногда подумать, что они были свободны от морали вообще. Они наслаждались жизнью, как это было принято в их кругу; светская жизнь, то есть балы, приёмы, карточная игра, соединялись с развлечениями вне света, без присутствия дам: дружескими пирушками в более или менее приличной обстановке или посещением совсем уже неприличных заведений. Отношение к таким развлечениям было столь же терпимое, как в наше время к выпивке вне дома. Известно замечание Пушкина, что он не считает себя обязанным воздерживаться от обеда в ресторане лишь по той причине, что у него есть дома повар, и суждение это принадлежит зрелому Пушкину, женатому на горячо любимой Наталье Николаевне. Конечно, крамольных разговоров не вели в присутствии девиц, но, как правило, за бутылкой вина.

Религия не очень их стесняла: отцы их были уже вольтерьянцы, и вообще это была необременительная условность. Главным этическим принципом была дворянская честь; как мы уже говорили, это было болезненно обострённое чувство, связанное с унизи-

тельным прошлым.

Легкомысленный образ жизни, столь бросающийся в глаза при не слишком почтительном знакомстве с пушкинскими стихами, имел и свои преимущества, что бы там ни говорили моралисты. Дворяне того времени были сравнительно свободны от сексуальных комплексов, связанных с невольным воздержанием или тайными грехами, столь характерными для молодых разночинцев. Есть и такой вид свободы, и в этом современники Пушкина были свободнее любого другого поколения русских молодых людей.

Многие из них были талантливы, а большинство — достаточно утонченно, чтобы ценить и поощрять талант. Это и был тот короткий период русской жизни, о котором писал Бердяев: "В русской литературе и русской культуре был лишь один момент, одна вспышка, когда блеснула возможность Ренессанса — это явление Пушкинского творчества, это — культурная эпоха Александра I. Тогда у нас что-то ренессансное приоткрылось. Но это был лишь короткий период, не определивший судьбы русского духа".

Этот проблеск Ренессанса и дал нам поэзию Пушкина, единственное в своём роде *светлое* явление русской литературы. Но светлая сторона личности Пушкина и его эпохи не будет нас здесь интересовать. Причина, по которой мы присматриваемся к "русскому Ренессансу", — не блеск его, а его нищета. В самом деле, что может быть дальше от *нашей* эпохи, чем настроение пушкинского гимна, прославляющего, вместе с музами, — *разум*?

Музы чужды нашему человеку, а разум не внушает ему доверия. У него нет убеждений, ради которых стоило бы что-нибудь делать: самое назначение разума — действие для достижения цели — вызывает у него подозрение, связывается с наихудшими примерами действий, в ходе которых цели непременно подменяются, а действующие лица превращаются в злодеев. Нет, разум окончательно скомпрометирован в его глазах, и ему неведомы те состояния духа, в которых поэту являются музы. Что его в самом деле волнует — это его комплексы и страхи.

Вернёмся же к пушкинской эпохе и посмотрим, какие комплексы и страхи преследовали современников поэта. Именно это важно для понимания пушкинского культа, потому что в прошлом, настоящем и будущем человек ищет и находит самого себя. Молодые люди, среди которых воспитывался Пушкин, были не только свободны — они были ещё и рабы. Их понятия, взятые из книг, и ещё больше происходившие из неопределённого, но мощного источника, именуемого духом времени, сталкивались с реальностями русской жизни. Если

они служили в армии, — с аракчеевской муштрой, с неизбежной судьбой солдата; если служили в присутственном месте, — с воровством и взятками, неизбежной судьбой чиновника. Долго служить — значило самому стать солдатом или чиновником; уйти в отставку — значило стать рабовладельцем. Жизнь сулила этим молодым людям очень мало разнообразия: за юношескими увлечениями следовала очень прозаическая зрелость. Вспомните Ленского, будущее которого Пушкин столь достоверно предсказал, что ему осталось только этого героя убить.

Человек устроен так, что должен что-нибудь делать. Трагедия того времени состояла в том, что ничего нельзя было сделать. Не требовалось особого ума, чтобы оценить инертность России, её неприспособленность к европейским системам. Декабристы в большинстве своём были совсем не умны, но Пушкин обладал смолоду инстинктивным пониманием жизни, отличающим великого поэта от всякого другого. В 1823 году, за два года до восстания, этот молодой человек сочиняет удивительное стихотворение:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощённые бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушкою да бич.

Был короткий период, в начале царствования Александра, когда возникла, казалось, некоторая возможность трудиться на благо отчизны. Но оттепель скоро прошла, Сперанского увезли в Сибирь, и царь не внушал больше надежд: "Властитель слабый и лукавый, плешивый щёголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда". Нельзя сказать об этом яснее. Настроение известного стихотворения, адресованного Чаадаеву, представляет сочетание глубокого, органического неверия с довольно искусственным, риторическим порывом.

Таковы были эти молодые люди, вошедшие в историю под име-

нем декабристов. Порыв их был на поверхности сознания, а в глубине была — безнадёжность.

Отношение их к государственному строю России было неоднозначно. Кипучая ненависть к рабству и унижению соединялась у этих людей с поразительной готовностью жить за счёт рабства и унижения других, с весьма серьёзным отношением к общественному положению и всему декоруму светской жизни. Чтобы быть дельными людьми, они слишком много думали о красоте ногтей. Всем своим воспитанием и привычками эти люди принадлежали той же барской России, которую клялись сокрушить. Нередко декабристы знали своих судей: это были их знакомые. Между Россией крамольной и Россией казённой не было чёткой грани. Не было ничего зазорного в общении с шефом жандармов, поскольку и он был дворянин. Граф Александр Христофорович Бенкендорф, сам отдавший в молодости некоторую дань либеральным тенденциям, происходил из семейства фон-Гинденбург-Бенкендорфов, главная ветвь которого осталась в Восточной Пруссии и небезызвестна в немецкой истории; граф говорил по-французски и был вежлив в обращении, когда хотел.

Да и царь был дворянин, первый дворянин России и естественный феодальный сюзерен всех русских дворян. Такое представление, импортированное в восемнадцатом веке вместе с понятием о чести, служило прикрытием извечного русского холопства, от которого некуда было уйти. Жизнь была устроена так, что приходилось служить царю, угождать царю, бояться царя, и все эти необходимости нуждались в обосновании. Таким образом, дворянское понятие чести рационализировало покорность исторически сложившейся власти, под видом верности государю. Бунт против самодержавия был здесь внешним слоем, а внутри было рабство. Это проявлялось в критические моменты их жизни, и мы видим непреклонного революционера Пестеля рыдающим на коленях перед царём. Составленный Пестелем проект конституции, "Русская правда", предусматривал систему государственной безопасности, лишь численно уступавшую нынешней. Отец Пестеля был сибирский генерал-губернатор, свирепый даже по тем временам: от всего этого трудно было уйти.

Внутренним раболепием перед властью объясняется весь ход восстания декабристов. Сама по себе идея дворцового переворота, как показывают примеры XVIII века, была практически осуществима. Но заговорщики XVIII века не были связаны почтением к власти: они сами составляли часть этой власти, видели её

насквозь и привыкли ею манипулировать. Даже к концу века, после долгого царствования Екатерины, авторитет русского престола всё ещё не настолько укрепился, чтобы помешать заговору вельмож против Павла, выполненному по старым образцам. Положение декабристов было уже иным. Самое воспитание, укрепив в них западное понятие феодального вассальства, не позволяло им смотреть на престол как на часть собственного хозяйства: парадоксальным образом эти молодые люди получили с Запада идейное обоснование своей лояльности. На власть они смотрели снизу. Отсюда нерешительность 14 декабря, имевшая, конечно, и другие причины. “Узок был круг этих революционеров, страшно далеки они были от народа”. Они отделялись от народа не только способом жизни и одеждой, но прежде всего языком. Пушкин, как и многие его друзья, был двуязычен. В некоторых обстоятельствах удобнее было говорить по-русски, но в большинстве житейских ситуаций французский язык оказывался проще. Конечно, язык этот представлял собой естественную принадлежность светской жизни, которая и пришла в Россию вместе с ним; это был язык романов и нежной страсти, приспособленный для выражения чувств и настроений, недавно появившихся в русской жизни, коим нередко просто не было названий в русском языке. Сплошь и рядом русского языка не хватало даже для выражения менее деликатных понятий повседневного быта, и убеждение в бедности его мешало этим полуфранцузам использовать и наличные его средства. В одном из писем Пушкину случилось упомянуть о каком-то купце, торговавшем крупами; письмо было по-русски, но о купце он объясняет по-французски, потому что не уверен в переводе. Грибоедов обличает устами Чацкого засилье чужого языка, но не следует принимать это слишком всерьёз: учителем языка оставался памятный французик из Бордо.

Народ их не понимал. На Сенатской площади солдат подучили кричать: “Ура, Константин!” и “Ура, конституция!” Уверяют, что солдаты считали Конституцию женой Константина. Если это не правда, то хорошо придумано. Во всяком случае, народ мог быть лишь объектом, а не субъектом революционного плана — использовать его можно было, лишь обманув. Понимали это все, но один Пестель был настолько бессовестен, чтобы о таких вещах говорить. Нерешительность декабристов объяснялась также и тем, что они должны были вести своих солдат против власти, занимавшей в душе этих простых людей второе место после бога, а это можно было сделать, лишь противопоставив одного царя другому и обманув, таким

образом, монархическую лояльность. В самом замысле восстания был обман. И здесь как раз лучшие достоинства декабристов стали на пути к успеху: надувательство, лежащее в основе всех дворцовых переворотов, было им не по душе.

Декабристов объединял общий психический склад — инфантильность. Это были избалованные дети. Некоторые из них ушли на войну 15–16 лет, едва выйдя из рук гувернёров; почти все отличились в боях с прославленной армией Наполеона. На первый взгляд, это было редкое в истории сообщество героев. И вот, эти герои не только самым смехотворных образом спасовали на Сенатской площади, но потом, уже под следствием, почти все выдавали друг друга. Как видно из дела декабристов (и из их собственных горестных воспоминаний), все они, за исключением двух-трёх, давали показания на товарищей, оговаривая также не известных начальству сообщников, оставшихся на свободе. Этот капитальный факт обычно скрывают от читателей, выдавая им некую стилизованную композицию на пушкинские темы. Вряд ли надо объяснять, что опущение этого факта из истории рассматриваемой эпохи никоим образом не случайно, и если уж такой факт упускается, то о каком-либо *понимании* этой истории не может быть и речи! Герои, рыцари, ежеминутно готовые жертвовать жизнью в бою или на дуэли во имя химерических понятий о чести, — запертые в каземат, вдруг превращаются в кающихся простаков и жалких доносчиков! Если есть что-нибудь, без чего никак не может быть понята история пушкинской эпохи, — это следственное дело декабристов.

Чтобы объяснить этот факт, нам придётся задуматься о том, что такое храбрость. Массы людей рискуют жизнью на войне: идут в атаку под огнём, остаются под обстрелом в окопах. В большинстве эти люди ведут себя достойно, соблюдая приличия перед лицом смерти; но затем уцелевшие возвращаются с войны, увешанные орденами, и оказываются обыкновенными людьми. Глядя на их повседневное поведение, трудно поверить, что они совершили приписываемые им подвиги. По-видимому, понятие мужества не так просто. Его нельзя измерить абсолютной величиной перенесённой опасности: надо знать ещё, в каких обстоятельствах это произошло. Вполне возможно, что в других условиях тот же человек окажется трусом. Никто не станет теперь отделять психическую жизнь человека от её физиологической основы; известно, что один и тот же человек, в зависимости от состояния тела, может без вреда перенести сильный электрический ток, а от слабого погибнуть.

Воинская доблесть, и точно так же храбрость на дуэли, проявля-

ется всегда на людях, стимулируемая специфическим, воспитанным с детства стремлением не уронить своё достоинство перед людьми. Это, если можно так выразиться, храбрость коллективного человека, нуждающаяся в соучастниках и зрителях, храбрость вместе с другими. На этот счёт есть проницательные замечания Ларошфуко, оставшиеся от времени, когда воинская доблесть встречалась в более чистом виде и привлекала больший интерес. Далее, воинская доблесть не требует обычно продолжительных нервных усилий. Сильное напряжение атаки сменяется отдыхом бивуака или изнурительным, но безопасным маршем, эффективно снимающим нервный шок. Война происходит под открытым небом, чаще всего при свете дня: известное место у Гомера свидетельствует, насколько это было важно для воинов всех времён. И во все времена мальчишки были храбры на войне. С точки зрения психологии, война и есть занятие мальчишек, недостойное зрелого человека: войны станут ненужными и смешными, когда "народы, распри позабыв, в великую семью соединятся".

Иное дело — мужество в каземате. Это мужество незаметное, мужество в одиночку. Решающие события этой драмы происходят не на допросах, а в четырёх стенах одиночной камеры, наедине с собственной судьбой. Я не утверждаю, что стойкость заключённого *и есть* мужество зрелого человека, но, безусловно, такая стойкость *предполагает* зрелую личность. Конечно, здесь важны и другие особенности личности. Чтобы вынести одиночество, нужна способность к сосредоточению, лучшей школой которого является труд. Труд приучает человека быть наедине со своим делом, а не вместе с другими людьми. Но физический труд предполагает предмет этого труда, внешнюю обстановку. Отнимите этот предмет, измените обстановку — и человек физического труда потеряет почву под ногами, потому что ему нечем занять свой ум. Лучше всего подготовляет к одиночному заключению серьёзный умственный труд, то есть одинокое размышление. Размышление это может касаться любых предметов — религиозных, философских или научных — и должно быть достаточно интенсивно, чтобы заслуживать имя труда. Таким образом, самые стойкие заключённые выходят из людей, живущих напряжённой духовной жизнью: в тюремной камере они занимаются тем же, что и везде.

Молодые люди, о которых здесь идёт речь, были очень далеки от такой концентрации духовных сил. Они вели рассеянный, светский образ жизни, проводя время на людях. Очень немногие из них имели какие-нибудь умственные занятия. Некоторые были образованы,

но регулярным умственным трудом не занимался никто — это была компания дилетантов. Взгляды их были заимствованы из политических учений Европы, изредка путём самостоятельного чтения, большею же частью из разговоров. Никто из них не испытывал физических лишений, и все были чужды физического труда. Наконец, все они были не просто молоды, но инфантильны. Сломить их было нетрудно: разбитые в открытом конфликте, декабристы опасности не представляли, и Николай мог бы проявить к ним милосердие. Он нашёл бы в декабристах преданных слуг! Покаяние Кюхельбекера, близкого друга Пушкина, — поистине потрясающий документ; он вовсе не хитрил, а каялся чистосердечно. Каземат мог изменить не только поведение, но и образ мыслей, если мысли эти принадлежали юношам столь непрочного душевного покроя. Правда о декабристах поучительна, но неприлична; документы опубликованы, главным образом, в двадцатые годы, и надо быть очень уж недоверчивым читателем, чтобы эту правду узнать. Теперь и не хотят знать её — как и правду о Пушкине, бывшим во всём, кроме таланта, *одним из них.*

Как всегда, декабристы интересуют нынешнего читателя теми чертами, в которых он находит сходство с собой. Они составляли изолированную группу, недовольную строем русской жизни. Они смотрели на Запад. Они несли в себе неистребимую печать рабства и были тесно связаны с системой, которую хотели сменить. Они были слабы и не верили в себя. Они были ребячливы и не годились для серьёзного дела. Ясно, почему декабристы вызывают у нашего современника, в пределах отпущенного ему темперамента, жгучий интерес.

Общественный фон, на котором мы можем увидеть Пушкина, теперь достаточно обрисован. Чем же выделяется Пушкин на этом фоне? Нас интересует здесь не поэтический дар, а человеческая личность Александра Сергеевича, и мы хотим понять её, исходя из предположения, что он был *человек.* При всей видимой банальности такого предположения, даётся оно нелегко. Так называемый великий писатель не вызывает у нас привычных ассоциаций и соображений, какие вызывают одноклассники, сослуживцы или соперники в любовных делах. Несколько перефразируя историю царя Мидаса, можно сказать, что всё, касающееся “великого писателя”, тотчас превращается в миф. Но всякий человек, как бы ни был велик отпущенный ему природой специальный дар, подчиняется общим законам человеческой природы и должен быть судим по общим принципам, применяемым к нашим ближним. Пушкин сам посмеял-

ся бы, если бы его поставили в позицию сверхчеловека, изъятого из общих этических норм; до такой глупости можно было додуматься лишь полвека спустя, на закате Европы.

Чем же отличался Пушкин от своих современников и друзей? Воспоминания лицеистов изображают его ребёнком. Он был горяч и несдержан, мечтателен и ленив. Сам он объяснял эти свойства африканским происхождением, но это объяснение не имеет для нас обязательной силы. Воспитание его было из рук вон плохо, дома его учили, в сущности, только французскому языку. Если не считать понятия о чести в употребительном тогда смысле, он не вынес из детства твёрдых этических правил. Очень рано свёл он знакомство с шаловливым Эротом, неизменным героем его юношеских стихов. Мы нашли бы его весьма испорченным мальчишкой и безусловно запретили бы нашим детям с ним играть. Нравы в Лицее были лёгкие, едва ли не главным занятием учеников было соревнование в амурных делах. Исходные позиции Пушкина в этом соревновании были незавидны: он был, кажется, меньше всех ростом, кривоног и отталкивающе некрасив. Одна из его лицейских кличек была "француз", по причине особенного знания языка; другая кличка менее известна, потому что неловко о ней вспоминать: его звали обезьяной. Никакое признание, никакая слава не могут изгладить эти рубцы в подсознании; Адлер назвал такую деформацию личности комплексом неполноценности. Термин этот возник в начале двадцатого века, но само явление, да и понимание его окружающими людьми, старо, как мир. Мы знаем теперь, что комплексы, и даже неврозы, составляют драгоценный источник всего значительного в человеке. Из нормальных, благополучных людей, без трудностей общения и личных проблем, вырастают приятные, общительные средние граждане; это они придают устойчивость человеческому обществу, предохраняют его от крайностей и увлечений, тормозят на всех поворотах и воспроизводят основной фонд человеческого рода. Но всё новое создают безумцы, одержимые каким-нибудь грызущим недугом. Хотелось бы, чтобы это открытие было ограничено или смягчено, но, во всяком случае, Пушкин не может нам в этом помочь. С детства он привык играть в обществе товарищей подчинённую роль, бессознательно преклоняясь перед высоким ростом, стройной фигурой, уверенностью и умением себя вести. Он трагически не умел держать себя с людьми, разыгрывал шута, балагурил, метался от петушиного гонора к неприличному искательству — короче, был несолиден и суетлив. Эти его свойства единодушно отмечали современники, не имевшие причины его щадить; о том же осторожно

говорили друзья. И сам Пушкин, не умея с собой сладить, всё это о себе знал: при всей его безалаберной жизни, он был ещё и умный человек. Повторяя все те же глупости, он понимал свою слабость и приходил от неё в ужас:

Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда, —
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Это не о человеке вообще, а о себе, каким он себя знал. В черновике было и продолжение, о праздности, неистовых пирах и безумстве гибельной свободы. Мы плохо знаем тайны поэта: и в разговорах, и в стихах он говорил о них не больше, чем хотел сказать. Он охотно говорил о пустяках и ревниво хранил важные для себя вещи: их, собственно и должны были скрыть все эти пустяки. Можно подозревать, что всем известные, прославленные страсти поэта тоже были прикрытием более серьёзных переживаний, что он переживал и ту немую боль, которая не рождает стихов. Он был не только легкомыслен, но и глубок; вероятно, мы не знаем женщин, которых он глубже всего любил. В черновике говорится о двух, уже мёртвых; в другом месте упоминаются "одна или две ночи" — не так уж много для его африканских страстей. В любви он был, конечно, несчастен.

Интимная история его жизни остаётся тайной, как он и хотел. Если разгадка её вообще возможна, я к этому не чувствую призвания. Да это и не входит в мою задачу: Пушкин рассматривается здесь с точки зрения нашего современника и, следовательно, мне незачем касаться того, в чём он был чист и глубок. Любовная жизнь Пушкина интересует меня здесь лишь с одной стороны, которой из-

бежать невозможно: речь идёт о его жене. Брак Пушкина представлял собой очень известное явление, описанное психологами в наше время, а до того романистами во все времена: это был компенсирующий брак. Чтобы поддержать своё достоинство в глазах света и в собственных глазах, Пушкин обзавёлся первой красавицей, какую мог найти на ярмарке невест. Мы не знаем, что именно толкнуло его на столь обыкновенный поступок, но характер этого брака не вызывает сомнений. Относительно Наталии Николаевны иллюзии были, казалось, невозможны: чтобы связать себя с нею, Пушкин должен был себя попросту обмануть, и это ему удалось. Отзывы современников не оставляют нам ни малейшего способа представить её чувствительной или интересной. Многие пытались как-то её оправдать, но вряд ли Наталья Николаевна нуждается в оправдании, потому что не ведала, что творит. Все, кто её знал, единодушно называют её дурой, пользуясь более или менее вежливыми словами. Её выдали замуж шестнадцати лет без какого-либо участия её чувства, да и вообще не ясно, была ли она способна к каким-нибудь чувствам, кроме тщеславия. Всё, что о ней известно, свидетельствует о дамских капризах и пустоте. Конечно, красота и связанное с ней восторженное внимание публики могли бы развратить и женщину поумнее, и она была в меру развращена; но в этой умеренности не было заслуги, потому что природа создала её холодной. После смерти Пушкина она вышла замуж за генерала; ещё во время первого брака царь обратил на неё благосклонное внимание, и это внимание не могло ей не льстить.

Влюбиться в Наталью Николаевну мог, на некоторое время, любой смертный, но Пушкин захотел обмануться в ней на всю жизнь. Она могла доставить своему владельцу все удовольствия, связанные с обладанием единственной в своём роде вещью, но Пушкину надо было эту вещь одухотворить. Увы, она настолько не понимала его стихов, что пыталась сочинять свои! Ослепление, с которым Пушкин принимал свою жену всерьёз, не так уж редко встречается у самых умных людей: как говорит древняя пословица, все мы сделаны из одной муки. Из той же классической древности дошли до нас сведения о женщине, на которой женился Сократ.

Итак, Пушкину надо было ежедневно обманывать себя относительно жены: это было тяжкое бремя. Наталья Николаевна дорого стоила ему также и в денежном отношении. Она была расточительна, и от этого порока муж не мог её отучить, да и сам он подавал дурной пример.

Мы переходим к самой важной части нашего предмета, ради ко-

торой и предпринята наша работа. Несчастье жизни Пушкина и причина интереса к нему нашей публики состоит в том, что он предал свои убеждения под угрозой тюрьмы и покорился власти, от которой зависело его общественное положение и материальное благополучие. Это значит, что Пушкин был *политическим ренегатом.* Всё сказанное выше должно было подготовить читателя к пониманию этой грустной правды. Чтобы поверить этой правде, надо рассмотреть великого человека так же прямо и беспристрастно, как мы позволяем себе видеть людей вокруг нас — как мы позволяем себе это в принципе, потому что даже не к великим, но сколько-нибудь нужным нам людям применять такой подход нелегко, а тем более к самим себе. Жизнь человека представляет собой, в лучшем случае, компромисс между некоторым идеалом и вполне определённой действительностью: мы уже знаем, какова была во время Пушкина русская действительность, и как трудно было примирить с ней какой бы то ни было идеал. Белинскому показалось однажды, что примирение возможно, поскольку всё разумное действительно, а всё действительное разумно: так получалось у Гегеля, по крайней мере в передаче друга Мишеля Бакунина, читавшего всё это в оригинале. У Пушкина такой возможности примирения не было — способность к самообману не достигала у него философских вершин, довольствуясь самым необходимым. Ему надо было обмануть себя по поводу жены и по поводу царя, но дальше этого прожиточного минимума он обмануть себя не мог. Да и самый необходимый, жизненно важный самообман совершался лишь наружным образом, в области сознания, а в глубине было ощущение лжи, с которым нельзя было жить.

Смолоду Пушкин был либералом, но в общество декабристов никогда не входил. Декабристы не брали его не потому, что хотели, якобы, уберечь, а потому что считали ненадёжным. Зависело это от Пущина, одного из лучших людей Северного общества и близкого друга поэта, и Пущин решил его не брать. У Пушкина был неустойчивый характер. Переменчивость настроения, приступы безудержной весёлости или отчаяния, склонность к бессмысленным выходкам можно, конечно, приписать невзыскательности Аполлона; но заговорщик знает, что священная жертва требуется от него каждый день.

В обществе декабристов Пушкин не состоял, и если ещё принять во внимание, что в успех этого предприятия он не верил, то могло бы показаться, что совесть его была чиста, и упрекать ему себя было не в чем. Более того, по сравнению с большинством де-

кабристов он вёл себя достойно: никогда ни в чём не каялся, а на прямой вопрос царя, что бы он делал, будь он четырнадцатого декабря в Петербурге, смело ответил, что вышел бы на площадь. Мы знаем об этом ответе с его собственных слов, но в таком прямом смысле Пушкин не лгал, и ответ его можно принять на веру, наряду с другими бесспорными свидетельствами подчинения Александра Сергеевича дворянскому кодексу чести. Конечно, он *мог бы* выйти на площадь в решающий час, поставив свою жизнь на карту, как не раз это делал по менее важным причинам: в *дуэльном* мужестве Пушкину отказать нельзя. Таким образом, если уж дозволено сравнивать столь отдалённые на вид эпохи, Пушкин мог бы со спокойной совестью ответить на вопрос нашего современного певца, обращённый к не очень-то храбрым инакомыслящим собратьям: да, выйти на площадь он бы смог. Но *вышел ли бы он* на площадь, будь он в Петербурге четырнадцатого декабря? Не вышел же "диктатор" заговорщиков князь Трубецкой, а спрятался в австрийском посольстве; между тем, невозможно сомневаться в храбрости этого боевого офицера. Пушкин *знал* о готовящихся событиях и поехал уже в столицу, но повернул назад, испугавшись дурных примет: он встретил попа и двух зайцев. После всего, что было уже сказано о природе храбрости, мы не станем этому удивляться, а спросим себя, считал ли он себя *нравственно обязанным* выйти на площадь? Ведь он в обществе не состоял и в успех мятежа не верил, никаких формальных обязательств на себя не принимал, да и не нужен он был на площади, как не нужен был столь же штатский и ещё менее воинственный Кюхельбекер. Всё это верно, но беда в том, что обстоятельства сплошь и рядом сваливаются на нас против нашей воли. Жизнь была бы очень уж проста, если бы мы должны были всего лишь выполнять сознательно заключённые контракты. В действительности нет ничего более обычного, более неизбежного, чем ответственность за чужие поступки, ответственность, от которой нельзя уйти. Лучшие друзья Пушкина были декабристы; он участвовал в их беседах, знал их взгляды, и если, может быть, не соглашался с предлагаемыми средствами, то, конечно же, ему были близки их цели. Об интимности этих встреч свидетельствуют сохранившиеся отрывки из десятой главы "Онегина": от Пушкина скрывали лишь "организацию", но не идеи. Собрания, где обнажался цареубийственный кинжал, толпа дворян, в которых можно было предвидеть освободителей крестьян, — всё это было *его* жизнью, он был с ними, он читал им свои стихи. Всё это было естественно для него

и, в снисходительное царствование Александра, не связывалось в его воображении с перспективой каземата. Он не знал их планов, но догадывался и обижался, что от него что-то скрывают. Таким образом, он с полным правом видел в них "друзей, братьев и товарищей", сокрушаясь об их каторжной судьбе. Судьба *возложила* на него ответственность, тяжкую ответственность за четырнадцатое декабря. Он был достаточно замешан и сам удивлялся, что уцелел:

Нас было много на челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
Вглубь мощны вёслы. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчаньи правил грузный чёлн;
А я — беспечной веры полн,
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налёту вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец! ...
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

Всё это, конечно, стилизация: прежние гимны петь было нельзя, а надо было срочно заботиться о просушке риз. Грибоедов, замешанный не меньше, ухитрился выйти сухим из воды, сделал дипломатическую карьеру и мог бы стать, подобно Горчакову, министром; а впрочем, не мог, и растерзан был, в некотором смысле, закономерно. Будь он настоящим дипломатом, он не накликал бы на себя смерть: кто знает, может быть, он хотел умереть в Тегеране?

Пушкин должен был оправдаться и оправдывался, как мог. Конечно, он говорил с царём *откровенно*, и откровенность ставил себе в заслугу. Конечно, он не назвал имён, ни на кого не донёс: для этого, как мы знаем, требовался каземат. И не пришла ему в голову мысль, что откровенность с царём постыдна, потому что царь — политический враг. В таких терминах он никогда не мыслил и до такой чёткости представлений до конца жизни не созрел. Сочувственно слушать речи заговорщиков, носившихся с планами цареубийства, а затем откровенничать с царём — было непоследовательно и стыдно; почему же Пушкин был откровенен? А пото-

му, что без этого нельзя было избежать тюрьмы. Николай Павлович, как известно, придерживался патриархального взгляда на свою власть и требовал от подданных, чтобы с ним говорили, как с отцом; больше всего возмущало его *запирательство*, и всякая попытка уклониться от чистосердечного признания наказывалась беспощадно. Без откровенности не было никакой надежды смягчить свою участь, и Пушкин знал это не хуже других. Надо было, следовательно, представить себе ситуацию таким образом, чтобы откровенно говорить с царём было не стыдно. Здесь и пришла Пушкину на помощь, как и его друзьям-декабристам, дворянская концепция вассального долга. Поскольку откровенность была необходима и *подсознательно* заранее решена, надо было её сознательно оправдать. Подсознательное решение спастись от тюрьмы было оправдано тем, что царь — первый дворянин России, естественный предводитель всех дворян, которому они обязаны верностью, согласно ввезённому с Запада кодексу чести. Отсюда уже следовало, что царя следует считать порядочным человеком: предполагалось, что откровенность не будет использована во вред говорящему или тому, кого он этой откровенностью оговорил. Последнее, впрочем, в случае Пушкина исключалось: царь не хотел ставить его в положение, из которого единственным выходом была бы тюрьма. Он удовольствовался тем чистосердечием, на какое ещё не сидящий в тюрьме Пушкин был способен. Получив требуемые свидетельства лояльности, царь вывел его к придворным и представил его многозначительной фразой: "Вот *мой* Пушкин". Вместо того, чтобы наказать Пушкина, Николай Павлович взял его на службу, привязав к себе неким неофициальным договором. Условия договора состояли в том, что царь берет поэта под своё покровительство, становится цензором его сочинений и разрешает обращаться к себе по разным делам. Преимущество было в том, чтобы иметь дело не с чиновниками, а прямо с царём; это преимущество Пушкин, по свойственной ему непрактичности, переоценил. Царь поручил опеку над поэтом шефу жандармов, что было весьма неделикатно: личные отношения с царём, и так уже носившие характер сомнительной сделки, заменены были принудительными отношениями с начальником политического сыска. Понимал ли царь, что делает, передавая русскую поэзию в ведение органов государственной безопасности? Вряд ли: Николай Павлович поэзией не интересовался и вообще был достаточно примитивен. Ему нужен был надёжный человек, кому можно было бы передоверить Пушкина, чтобы не читать самому его стихи и не контролировать его лояль-

ность, — а кто же мог быть надёжнее Бенкендорфа? Возможно, царь полагал даже, что оказывает Пушкину честь и, во всяком случае, не думал его унизить: для царя жандармское ведомство было учреждением почтенным.

Пушкин, конечно, так думать не мог. Политический сыск и чувство чести были для него несовместимы, как и для всего круга людей, среди которых он жил. Об этом круге мы поговорим ещё дальше. Во всяком случае, слово, данное царю, приходилось держать, и в переписке поэта шеф жандармов занимает, если не ошибаюсь, второе место после жены, хотя где-то читал, что третье; точный подсчёт всё равно не даст нам от этого уйти.

Нетрудно себе представить, что переживал Пушкин в эти годы. Надо только отделаться от пиетета перед его гением, мешающего разглядеть человека. Чтобы соблюсти договор с царём, нужен был трудный самообман. Надо было поддерживать в себе невозможный образ Николая, питать его любыми иллюзиями, оберегать от любых размышлений. Но нельзя было обмануть себя в отношении царя, не оправдывая и не возвышая его престол. Для этого надо было оправдать самодержавие, порвав со всём, что было дорого раньше, с молодостью, с друзьями, даже с детством, потому что до четырнадцатого декабря всё было вольнодумством, произволом бунтующей личности, самоволием, в том смысле, как его осудил впоследствии Достоевский, — по той же причине. Конечно, слишком прямое объяснение эволюции зрелого Пушкина не может не вызвать сопротивления. Мы не любим, когда бытие определяет наше сознание и, во всяком случае, нам хотелось бы, чтобы эта обыкновенная история не случалась с великими людьми, которых мы чтим. К счастью, бытие не всегда определяет сознание так бесстыдно, как это представлял себе Маркс. Можно даже утверждать, что в интересующем нас случае причина и следствие находились как раз в обратном отношении. Если молодой Пушкин ещё до четырнадцатого декабря так ясно понимал безнадёжную инертность России, то приходится ли удивляться, что он со временем и вовсе поправел?

Трудно сказать, как сложились бы взгляды Пушкина, если бы не было четырнадцатого декабря. С лёгкой руки Достоевского принято считать его мудрецом. Конечно, он был мудр, сочиняя стихи; но был ли он мудр в обычном человеческом смысле, вне своей поэтической стихии? Биографии выдающихся писателей учат нас отвечать на этот вопрос осторожно. Во всяком случае, Пушкин не был последователен в своих мнениях, как и в своей повседневной

жизни. В южной ссылке он был ещё легкомысленным либералом. Вряд ли можно принять всерьёз повредившее ему письмо, где он похваляется, что берет у некоего англичанина уроки чистого атеизма. *Нечистым* атеизмом была полна вся обстановка его детства: лёгкому отношению к священным предметам он научился у Вольтера и Парни. Барское свободомыслие не препятствовало, впрочем, барскому суеверию, и вольтерьянство не мешало ему вспоминать о православии, когда что-нибудь мешало грешить. Я понимаю, что грех является необходимым условием покаяния и смирения, и не стану придираться к диалектике всех бывших на свете религий. Но мне больше нравится, если уж на то пошло, религия Паскаля, с бесповоротным душевным кризисом и отчаянным бегством от греха. По-человечески можно понять и дамскую веру, с покаянием при болезни ребёнка, как это изобразил Стендаль. Такова была вера Пушкина: она была непрочна.

Мудрость Пушкина, так удивительно проявившаяся в “Сеятеле”, была ограничена обстоятельствами места и времени. Шестисотлетнее дворянство казалось ему более важным, чем многим просвещённым людям той эпохи, и он способен был препираться о нём с журнальной братией, не давая, впрочем, в обиду и арапа. Конечно, он любил свободу и, казалось, восхищался действием современных политических механизмов:

> Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый,
> Пружины смелые гражданственности новой.

На поверку, однако, обнаруживается, что мотивы пламенного натиска и сурового отпора ему не очень понятны:

> Не дорого ценю я громкие права,
> От коих не одна кружится голова.
> Я не ропщу, что отказали боги
> Мне в сладкой участи оспаривать налоги
> Или мешать царям друг с другом воевать;
> И мало горя мне, свободно ли печать
> Морочит олухов иль чуткая цензура
> В журнальных замыслах стесняет балагура.

Вместо этих прав он предполагает ребяческое понимание независимой жизни, отождествляемой с невмешательством в общественные дела. Мудрецы любого общества, прочно сидящего в рабстве, усиленно рекомендуют обходить политику стороной: к чему рабу заниматься делами, на которые он всё равно не может влиять? Иное понятие было у древних греков: гражданин, равнодушный к обще-

ственным делам и, тем самым, к собственной судьбе, считался у них неполноценным и обозначался специальным термином “идиот”. Таков первоначальный смысл этого слова. Он прямо относится к обсуждаемому предмету: нынешние пушкинисты и их публика, в указанном смысле, — убеждённые идиоты, и Пушкин должен их в этом оправдать.

Либеральные убеждения Пушкина были непрочны. Мудрость его могла нечувствительно перейти в консерватизм. В конце концов, благосостояние стада находится в руках тех, кто поставлен “резать или стричь”, и единственный способ облегчить участь животных состоит, с этой точки зрения, в деликатном убеждении пастырей: надо уговаривать их, чтобы стригли справедливо, а резали только в случае крайней нужды. Отсюда вполне естественно могли возникнуть иллюзии небом избранного певца, который должен быть приближен к престолу. Возможно, так и случилось бы — если бы не было четырнадцатого декабря.

Но четырнадцатое декабря было. Консервативная тенденция и тенденция к самосохранению неотделимо срослись. Так могло случиться, конечно, и при самом мирном развитии событий, но тогда параллельное развитие обеих тенденций легче было бы скрыть — от себя и других. Четырнадцатое декабря было, и скрыть происшедшее было нельзя. Психические процессы перерождения и адаптации требуют времени. Капля точит камень, и самые прочные характеры незаметно гнутся под грузом бытия. Но внезапные перемены подобны удару, а удар — ломает. Надо было образумиться срочно, обрести солидность в одну ночь, примириться с действительностью на виду у себя и других — или идти в тюрьму. Пушкин такой нагрузки не выдержал: он сломался.

Рукописи поэта воспроизводятся вместе с рисунками на полях. После казни декабристов Пушкин стал рисовать на полях повешенных. От этого нельзя было уйти. Можно было обмануть себя, сочиняя программные стихи, выполняя социальный заказ. Можно было внушать себе, что он не льстец, когда царю хвалу свободную слагает; можно было проводить сомнительную аналогию между Николаем и Петром, поскольку начало славных дней Петра тоже мрачили мятежи и казни. Можно было не замечать, что царь своему пращуру не подобен, забывать даже в порыве энтузиазма, что царь, по известной поэту скандальной хронике, вовсе не имел предком Петра. Не так уж важно, что из этого Пушкин *сознательно* понимал: подсознательно он принимался рисовать виселицы, и *это* было на самом деле важно.

В Пушкине жило ощущение совершённого предательства. Примерно за год до смерти он написал потрясающее стихотворение, дающее ключ к пониманию всей зрелой жизни поэта. Иносказание очень прозрачно. Вдумайтесь в эти стихи: они важнее всего, что Пушкин написал о себе.

Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил?
С кем я тревоги боевые
В шатре за чашей забывал
И кудри, плющем увитые,
Сирийским мирром умащал?

Ты помнишь час ужасной битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно бросив щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся! Как бежал!
Но Эрмий сам незапной тучей
Меня покрыл и вдаль умчал
И спас от смерти неминучей.

А ты, любимец, первый мой,
Ты снова в битвах очутился...
И ныне в Рим ты возвратился,
В мой домик тёмный и простой.
Садись под сень моих пенатов.
Давайте чаши, не жалей
Ни вин моих, ни ароматов.
Венки готовы. Мальчик! лей.
Теперь некстати воздержанье:
Как дикий скиф, хочу я пить.
Я с другом праздную свиданье,
Я рад рассудок утопить.

Вряд ли это можно выразить яснее и безжалостнее. Прекрасные стихи повествуют здесь об очень обыкновенных, очень печальных вещах, известных многим из нас по собственному опыту; но мы не смеем перенести этот наш опыт на великого поэта, и остаётся лишь переместить неприятную историю в древний Рим.

Пушкин внутренне ощущал своё предательство, свою постыдную зависимость, и поэтому не знал покоя. Память его была беспощадна; впрочем, то, чего он не мог забыть, ему ежедневно напоминали. Вокруг него было “общество”, та светская чернь, на которую он так злился, но без которой не мог жить. Он не был одиноким мечтателем, не был аскетом: он нуждался в людях, жил на людях, и был чувствителен к людской молве. Эта его чувствительность, пожалуй, менее всего согласуется с навязываемым нам обликом Пушкина-мудреца. Периоды творческого запоя не ослабляли в нём этой жажды общения. С кем же ему приходилось общаться?

Светское общество испытало ту же эволюцию, что и сам поэт. В начале царствования Александра либеральничали почти все: без этого не могло быть ни хорошего тона, ни карьеры. Во время “оттепели” даже Бенкендорф и Дубельт ходили в либералах, но такие конъюнктурные либералы не представляют для нас интереса. Интереснее те, кто и в самом деле испытывал либеральные чувства, а потом, по настоятельным требованиям жизни, должен был эти чувства предать. “Предательство” часто связывается в нашем представлении с чем-то театрально-злодейским, демонстративно-гнусным: предать — значит поступить, как Иуда, публично принять тридцать сребреников, потом при всех швырнуть их наземь, потом повеситься на осине. В жизни так бывает редко. Тридцать сребреников дают обыкновенно на государственной службе, и главная забота состоит обычно не в получении нарочитого вознаграждения, а в том, чтобы эти регулярно поступающие сребреники сохранить. Самое же главное — безопасность. Либеральная атмосфера первых лет царствования Александра постепенно сменилась “реакцией”, сентиментальной религиозностью царя, подозрительностью к новшествам или, что ещё хуже, новшествами в виде аракчеевских военных поселений. Как всегда бывает в таких случаях, надвигавшийся аракчеевский режим автоматически деформировал позиции рядовых людей: бытие определяло их сознание ежедневно и совсем просто. У людей менее заурядных такого машинального соответствия не было. Царь мог отказаться от своих юношеских мечтаний, и подавляющая часть “общества” мирно эволюционировала вместе с ним; но иные упирались. Проникнувшись однажды либеральными идеями, они не способны были расстаться с ними, когда с ними расстался царь. Пушкин был среди тех, кто не желал меняться вместе с царём. Хотя он был скептик, не веривший в успех этих идей на Руси, идеи эти сами по себе были ему всё ещё близки; человеческое достоинство, законный порядок, свобода от канцелярского произво-

ла, даже постепенное освобождение крестьян, в общем, всё, о чём мечтали декабристы более умеренного толка, — всё это оставалось частью его душевного склада, и расстаться со всем этим он, подобно декабристам, не мог. Как всегда бывает, покорно меняющееся общество не прощает таким упрямцам: оно им завидует и, при первой возможности, мстит. Те, кто претендует быть лучше других, какое-то время могут вызывать восхищение, но всегда должны за это расплачиваться.

Они платят за это своей жизнью — или своей честью. Если они выбирают упрямство и "в час ужасной битвы", их ждёт виселица, или каторжные норы, куда не доходит глас молвы; да и что за дело каторжнику до разговоров в гостиных? Иначе складывается судьба тех, кто в этот час ужасной битвы смиряется, наконец, с силой обстоятельств и бежит, нечестно бросив щит: запоздалое благоразумие может спасти их от мщения победителей, но не от злословия людей. Им никогда не простят те, кто проявил благоразумие раньше, не простят потому, что не могут простить себе. Подлинный козёл отпущения — это предатель последнего часа: ему приходится расплачиваться не только за собственную трусость, но и за трусость всех других. "Ты корчил из себя нечто лучшее, — говорят ему каждым жестом, — и вот оказался таким же, как все". То же можно выразить и научно. Подсознательное презрение к себе находит внешний объект, переносится на него, и этим снимается чувство вины.

Таково было отношение к Пушкину "светской черни". Конечно, всё это делалось тонко, но и он был достаточно утончён. Делалось это так, что не к чему было придраться. Говорили, что Пушкин пустой, взбалмошный, ненадёжный человек, и он узнавал, что́ о нём говорили; и прежде он был чувствителен к молве, теперь же каждое слово приобрело для него зловещий смысл. Теперь он *знал* о себе, что он пуст и ненадёжен. Час ужасной битвы прошёл, он был взвешен и найден слишком лёгким. Он был чувствителен и умел страдать, потому что он был поэт.

Презрение общества — не единственная казнь ренегата. Столь же тяжко казнит его презрение той власти, которой он подрядился служить. Перебежчиков используют, но не любят. И Пушкину пришлось испить до дна презрение тех, кого он силился уважать. Прежде всего, его презирал царь. Не ясно, понимал ли Николай Павлович значение Пушкина для России. Мне кажется, версия, будто царь хотел сделать из Пушкина казённого поэта, преувеличена или вообще неверна. Вряд ли царь понимал, что Пушкин — более значительный поэт, чем Кукольник или Бенедиктов. Пушкин был

популярен, а это уже был политический факт: может быть, стоило сделать жест, чтобы иметь популярного писателя на своей стороне. Но, конечно, Николай Павлович Пушкина не уважал. Он считал его, как и все, взбалмошным и пустым человеком. И менее, чем кто-либо иной, это своё мнение скрывал.

Конечно, Бенкендорф относился к Пушкину так же, как царь. Один эпизод биографии Пушкина поразительным образом демонстрирует унижение, в котором жил поэт. Когда Пушкин надумал жениться, родители Натальи Николаевны потребовали от него, среди прочих вещей, официальный документ, подтверждающий его политическую благонадёжность. Требование это в те времена вовсе не было обычно; оно вызвало бы удивление даже в наши дни. При любом понимании чести вряд ли может быть худшее унижение, чем просить у начальства характеристику для вступления в брак. Но Пушкин хотел жениться — и попросил у Бенкендорфа рекомендацию. Граф прислал ему письмо, брезгливо-презрительное письмо бывшего либерала, прекрасно понимавшего, что всё это значит для чувствительной души поэта. Бенкендорф выражает удивление, что ему снова приходится возвращаться к исчерпанному вопросу, поскольку Пушкин давно знает, что его благонадёжность не вызывает сомнений.

Было и другое унижение, которое всё время возвращалось. Пушкин всю жизнь нуждался в деньгах и постоянно влезал в долги. История его денежных дел свидетельствует о нём не с лучшей стороны. Я вовсе не думаю, что умеренность и бережливость украшают биографию поэта, и удивляюсь, обнаруживая столь прозаические черты у некоторых из них. И я не обвиняю Пушкина в том, что он расточал труд своих крепостных крестьян. Это не имело для него *нравственного* значения. Можно простить ему и карточную игру: в конце концов, он был не такой уж записной страдалец за мужицкую долю и, в отличие от Некрасова, пользовался лишь трудом мужиков, а не сочувствием к их труду. Беда была в том, что его карточные долги выплачивал царь. Когда его денежные дела заходили в тупик, он не стеснялся просить денег у царя; просьбы эти шли через Бенкендорфа, и денежная зависимость прибавлялась ко всем другим. Пушкин тяжело страдал, но потом снова просил. Конечно, всё это не укрепляло репутацию поэта в весьма расчётливом обществе, где ему приходилось жить. Душевное состояние его было угнетено тем, что он снова и снова продаётся царю.

Перейдём теперь к последнему акту пушкинской драмы и постараемся понять, что вызвало его дуэль и смерть. Внимание света

сопровождало каждый его шаг, и внимание это, как мы уже видели, не было лестным. Последним унижением поэта была сплетня, опутавшая его жену. Мы уже знаем, почему Пушкину не могли простить его зависимость от царя: "общество" мстило ему за собственное рабство, за ту же зависимость, которую он долго не хотел за собой признать. Был ещё один вид зависимости, худший из всех, составлявший в светском Петербурге общую тайну и общий позор. Дело в том, что царь превратил этот светский мирок, где все жили на виду у всех и все знали друг друга, в свой гарем. Обычай этот, засвидетельствованный рядом достоверных историй, хотелось бы назвать возрождением татарских нравов, но татары считали своей собственностью лишь женщин завоёванных стран, и вряд ли даже татарские ханы имели право на жён своих приближенных. Один знатный иностранец, посетивший Россию, был интересным собеседником и вскоре приобрёл доверие своих новых знакомых. Среди прочего, его поразила странная черта русских нравов. Оказалось, что прекрасные дамы, украшавшие высший свет северной столицы, рассматривали своего монарха как существо высшего порядка и служили его прихотям столь же естественно и непринуждённо, как их отцы и мужья. Конечно, такие явления не составляли редкости и на родине иностранца: обаяние власти доставляло всякому королю больший успех у женщин, чем если бы он был простым смертным. Но, как и всякий мужчина, король должен был добиваться благосклонности избранной им дамы, применяя дозволенные обычаем средства, и рисковал получить отказ. Европейские нравы, возникшие из традиций античного мира и, ещё более, германских племён, резко отличались в этом смысле от нравов Востока: в Европе женщина никогда не рассматривалась как простая собственность, а монарх не считался прямым собственником всего, что есть в его стране. Иностранец был крайне удивлён, обнаружив у европейски утонченных дам Петербурга чисто восточный взгляд на своего царя. Женщины, занимавшие царя больше других, получали звание фрейлин, и это было такой же придворной службой, как всякая другая: характер обязанностей подразумевался и не вызывал у мужей особенных эмоций. Самое удивительное было, что царь не встречал отказа — таких случаев просто не знали. Иностранец не постеснялся прямо спросить одну из своих знакомых, как поступила бы она, если бы царь проявил к ней интерес. Дама ответила ему с некоторым смущением, что поступила бы, как все, и дала понять, что была бы весьма польщена.

Эта черта великосветских нравов хорошо известна историкам

пушкинской эпохи, но они не любят о ней вспоминать. Конечно, нравы эти были свойственны лишь женщинам известного круга, и даже в этом круге заметно изменились после Крымской войны. И всё же, нельзя правильно представить себе окружавший Пушкина высший свет, упустив из виду одну из его главных функций: это был, между прочим, царский гарем. Царь обратил внимание на жену Пушкина вскоре после его брака; внимание это он проявлял демонстративно, нарочно проезжая мимо её дома. Все знали, что это значит, и к чему это ведёт. Знал это прежде всех Пушкин, и хотя он знал это очень хорошо, окружавшие давали ему это понять. Смысл этих намёков был тот, что он продал царю своё перо, а теперь должен служить ему и своей женой. Нельзя сомневаться в удовольствии, которое высший свет извлекал из такого положения вещей. Известный своей гордостью поэт, долго уклонявшийся от рабских повинностей своей среды, должен был теперь нести постельную повинность, подобно всем.

Должен признаться, что прямое и точное описание этой истории вызывает у меня такое же сопротивление, как у всякого, кому это доведётся читать. Но прямое и точное описание — самый приличный выход из таких положений. Гораздо хуже язык недомолвок, к которому обычно прибегают пушкинисты. Нам объясняют, что известный пасквиль, послуживший поводом к дуэли, содержал намёки на царя; такие же намёки находят и в яростном письме поэта к шефу жандармов и во многих свидетельствах современников, по очевидным причинам не слишком прямых. Много было сказано о бессильной ярости Пушкина, несоразмерной с личностью и ролью Дантеса. Давно подозревают, что этот злополучный Дантес был скорее всего козлом отпущения, на котором Пушкин хотел сорвать свой гнев. Вся эта игра намёков должна вызвать у читателя представление о чём-то загадочном, связывавшем жену Пушкина с царём. Между тем, здесь нет никакой загадки. Достаточно рассмотреть эту историю на фоне обычных в то время нравов. Царь не торопился: повелитель был скорее тщеславен, чем страстен, и при жизни мужа Наталья Николаевна, без сомнения, была ему верна. Вряд ли можно сомневаться в том, что было после его смерти. Внимание царя к пушкинской семье, щедрая денежная помощь, всё это не относилось к памяти поэта, которого царь презирал, как мальчишку. Николай Павлович был равнодушен к мужу, его занимала жена. Популярность Пушкина, вызвавшая у царя даже некоторое полицейское беспокойство, доставила для этой операции удобный предлог.

Я попытался описать Пушкина как человека, жившего среди людей. Он начал с либеральных увлечений, кончил трезвостью казённой службы. Он предал свои мечты и перешёл на сторону власти в решительный час. Он жил в унижении и страхе. Он боялся того, чем был и чем стал. Он мог бы прожить — со всем этим — долгую жизнь, но не мог уйти от правды, потому что был поэт.

Философия неуверенности

Наш современный интеллигент представляет собой почти не изученный тип человека. Предшественник его, дореволюционный русский интеллигент, более не существует, и над могилой его протекли реки чернил. Очернили его столь основательно, что отмыть покойного до исторической узнаваемости всё ещё остаётся задачей будущего историка. Главная причина, по которой старый русский интеллигент стяжал себе столь незавидную репутацию, — это его общеизвестное бескорыстие: не имея никаких планов для себя самого, кроме стремления унавозить собою почву для будущего, он исчез, предоставив эту почву заботам народа. Из народа и вышла та социальная группа, которая называется интеллигенцией в наше время. Следует иметь в виду, что прямая — физическая и культурная — связь этой группы со старой русской интеллигенцией пренебрежимо мала. Прежняя интеллигенция нашла свой конец в эмиграции или в лагерных общих могилах; немногие уцелевшие семьи, потеряв отцов и дедов в передрягах минувшей эпохи, трогательно приспособились к установившемуся уровню дикости. Немногие деятели, проявившие готовность на всё для спасения своей жизни и комфорта, умерли не так давно или готовятся умереть дряхлыми старцами: это последний эшелон наших "специалистов", способных грамотно писать по-русски и, в минуты откровенности, отдавать себе отчёт в собственном положении.

Нынешний наш интеллигент, как и старый, вышел из народа, но вышел совсем по-иному. Принцип отбора, создавший старую русскую интеллигенцию, основывался прежде всего на способностях. Правящие круги России ощущали потребность в образованных чиновниках, техниках, офицерах; конечно, ощущение это всегда было связано с опасениями охранительного рода, но без европейского образования Россия не могла бы уцелеть уже в восемнадцатом веке. Реформы Петра и создали русскую интеллигенцию; как всегда бывает в истории, последствия этого факта вышли далеко за пределы его первоначальной причины. Учить приходилось не только дворянских детей, а сплошь и рядом худородных, если только они могли и хотели учиться. Аппарат образования был целиком пересажен с запада, вместе с критериями выбора профессоров, способом экзаменов и т. д. Конечно, уже при Николае Павловиче проявилась тенденция

ставить лояльность выше других заслуг: известное изречение этого императора, что русские всё об отечестве хлопочут, а немцы преданы лично ему, предвещало уже другой стиль государственного руководства. Однако, эпоха великих реформ обратила систему образования к её существенным задачам: исторические условия требовали того, что теперь называется “квалифицированными кадрами”. Конечно, после Крымской войны оставался и другой выход: откровенно признать политическую власть иностранцев, перейдя в положение посредников-компрадоров в колонизации России. К чести правителей того времени, на столь радикальное решение они не были способны. Всё же эти люди сознавали себя хозяевами России, а не лакеями, не умеющими жить без господ. Окрепшие русские университеты и институты стали очагами культуры, и явились в России семьи, где уже несколько поколений знали своё ремесло, читали важные книги на европейских языках и превыше всего ставили благо народа, со всей серьёзностью обсуждая, в чём оно состоит.

Совсем иначе выходил из народа наш новый интеллигент. Ему не надо было пробивать себе путь к образованию тяжёлым трудом: классовые привилегии проложили ему дорогу, убрав с неё интеллигентских детей и вообще всех, чьи родители занимали уже какое-то место в жизни. Мотивировалось это, конечно, социальной справедливостью, но дело не ограничивалось созданием ликбезов и рабфаков для обделённых культурой: по существу, все *не* обделённые ею были поставлены в положение классового врага. Таким образом, отбор по способностям был отброшен и заменён — вначале — отбором по “социальному происхождению”. В стране, где “наследственный пролетарий” был редким исключением, хорошее соцпроисхождение означало происхождение крестьянское или мещанское. Конечно, в двадцатые годы влечение к образованию было ещё сильно, и лишь постепенно сменилось сознательным или подсознательным карьеризмом. Но привилегия рождения, особенно при отсутствии сопутствующей ей сословной этики, неизбежно ведёт к разложению морали. Вместо классового происхождения очень скоро установился критерий политической лояльности, а по мере формирования нового правящего класса он нечувствительно перешёл в критерий лояльности начальству. В послевоенные годы идеологические соображения и государственные интересы были окончательно переведены в разряд более или менее изящной словесности, и лояльность начальству стала означать вполне конкретную приспособленность, притёртость к ближайшему чиновничьему окружению.

Очевидно, в этих условиях *способности* должны были превра-

титься в нечто второстепенное и даже подозрительное, поскольку всеохватывающий принцип лояльности не терпит конкуренции пережиточного принципа, чуждого законам функционирования аппарата. Да и на практике оба критерия трудно совместимы, потому что способный человек крайне неохотно повинуется бездарному, и даже повинуясь причиняет ему серьёзные травмы. После некоторых переходных явлений во всех местах, где интеллигент получает зарплату, установился порядок, лучше всего описываемый итальянской пословицей: "где не лезет голова, просовывают хвост". Само собою разумеется, при таких порядках деятельность учёных учреждений скоро становится чисто мнимой, и "передовую технологию" приходится покупать за валюту у иностранцев; а это прямо ведёт к тому самому решению, на которое никак не могли пойти былые хозяева земли русской. Но всё это служит лишь фоном интересующего нас явления и по необходимости описывается здесь в самых общих чертах. Историки займутся этим в более спокойные времена.

Какой же тип человека вырабатывается в этих условиях? Мне хотелось бы заметить, что термин "тип человека" я заимствую у Экзюпери. Как все великие философы, он пытался понять своё время, но не имел времени написать о нём подробнее — от него остались неразборчивые записи, расшифрованные после его смерти и составившие так называемый "дневник". Экзюпери считал, что оценка каждого человеческого общества должна определяться не его материальным могуществом или благосостоянием, а *типом человека*, который оно создаёт. С этой точки зрения целью общества является *человек*, и если человек в данном обществе жалок и бессилен, то и средства, порождающие такого человека, должны расцениваться как бессмысленные и вредные. Конечно, Экзюпери продолжает здесь (и формулирует для нашего времени) некоторую философскую традицию, которую можно принять или отвергнуть. Есть и другие традиции, ставящие на главное место государство-муравейник и подчиняющие ему человека-муравья или описывающие всё-это-что-с-нами-происходит как детали непостижимой биографии божества. Эти другие традиции, и в особенности первая из них, могут сделать философа нечувствительным к такой мелочи, как отдельный человек. Божество может вдруг возжаждать свободной любви человека, и тогда ему уже не всё равно, способен ли человек его свободно любить; государство же не требует любви, а оплачивает по тарифу телодвижения.

Какой же тип человека вырабатывается в наших университетах, конструкторских бюро, культурных учреждениях? В описан-

ных выше условиях у человека складывается состояние, называемое “фрустрацией”. Слово это означает психическую подавленность, разбитость, возникающую в результате какого-либо жизненного поражения. Фрустрация от любовной неудачи может сделать физически здорового человека импотентом. Всякое поражение, не вызывающее у человека реакции сопротивления и реванша, ведёт к состоянию психического бессилия, главным признаком которого является неуверенность в себе. Поражение, с которым сталкивается наш интеллигент, — это не карьерное поражение, которого может и не быть, и даже не профессиональное поражение, потому что в ряде случаев покорность начальству удаётся совместить с некоторыми спортивными достижениями в своей специальности. Речь идёт о *биологическом* поражении, столь же глубоком, как фрустрация половой сферы, и отнюдь ей не чуждом; поражение это присутствует в самых удачных, самых благополучных биографиях, оно неотделимо от жизни нашего интеллигента, если только — по исключительно счастливому стечению обстоятельств — он не перестаёт быть “нашим”, ускользнув, таким образом, от общего закона фрустрации. (Конечно, здесь не имеется в виду эмиграция, попросту переносящая “наших” в “не нашу” обстановку).

Человек наделён инстинктами, составляющими основу его психической жизни. Одним из сильнейших инстинктов человека, исследованным сравнительно недавно и имеющим фундаментальное значение для объяснения человеческого поведения, является “внутривидовая агрессивность”, оборонительная и наступательная реакция, направленная против любого другого человека. Как и все инстинкты, эта реакция сама по себе не хороша и не плоха, а может приобрести этическую оценку в зависимости от своего социального проявления. Бывают случаи, когда этот инстинкт принимает разрушительный, опасный для общества характер, ведёт к садизму и преступлениям. В более “здоровых” случаях естественная агрессивность человека, сдерживаемая другими стимулами социального поведения, принимает характер *самоутверждения*, и в таком виде представляет законное и необходимое проявление человеческой личности. Конечно, из всех возможных способов самоутверждения общество выбирает и санкционирует лишь некоторые, социально приемлемые. Иерархия организованного общества предоставляет каждому человеку определённые “степени свободы”, дозволенные ему способы действия, в пределах которых он и пытается утвердить своё человеческое “я”. Естественные агрессивные импульсы человека, отведённые в некоторые свободные русла, становятся, тем самым, дви-

жущими силами его семейной, профессиональной и общественной жизни. Такая "переадресовка" инстинктивных импульсов называется (чаще всего в применении к творческой деятельности) "сублимацией". Возможность сублимации чрезвычайно важна для здорового развития личности: если агрессивность не находит себе "законного" выхода, она обращается — одинаково разрушительным образом — против других людей или против самой личности, зажатой такими условиями жизни.

Для обычного, не "интеллигентного" советского чиновника способы самоутверждения определены однозначно: это утехи призрачной власти в паркинсоновски замкнутом мире бюрократии и, в дозволенных чином пределах накопления и демонстрации имущества, нечто вроде постоянного конкурса воров по известным кавказским образцам. Для интеллигента дело обстоит сложнее. Желая сделать карьеру, он вкладывает в это предприятие особого рода капитал — свои профессиональные знания и способности. Не будь у него таких знаний и способностей, шансы его на продвижение были бы среднеарифметическими (конечно, при обязательном условии *полуарийского* происхождения — не немец и не еврей). Этот свой капитал и несёт интеллигент в учреждения, где рассчитывает получить от него оптимальный доход. Но беда в том, что капитал этот, как уже сказано, особого рода, очень неудобно сочетаемый в ходе оптимизации с другими видами карьерной одарённости. Те самые свойства, которые дают интеллигенту преимущества перед среднеарифметическим чиновником, служат орудием его *самоутверждения* в чиновничьем мире: как раз по причине своей "интеллигентности" он должен считать себя лучше других. В самом деле, человеку свойственна почти непреодолимая тенденция строить своё самоутверждение как раз на тех преимуществах, какими наделила его природа: белой или чёрной коже, половой потенции или способности пить водку, физической силе или физической интуиции. Повинуясь этому психологическому закону, интеллигент строит своё самоутверждение на том специальном виде способностей или навыков, который и делает его "интеллигентом" в собственных глазах. При этом вовсе не обязательно, чтобы такое преимущество реально существовало: мнимые преимущества с ещё большей лёгкостью ведут к тем же патологическим последствиям.

Однажды возникнув, такая установка становится неотделимой частью самосознания интеллигента, его "я-образа". Но тогда он неизбежно вынужден принять пережиточный, скомпрометированный в советском обществе принцип "отбора по способностям". Здесь важ-

но подчеркнуть, что речь идёт не о сознательном, сколько-нибудь произвольном выборе ценностей, а о гораздо более глубоких, чётко детерминированных процессах, происходящих в подсознании субъекта. Универсальность этих психических механизмов нисколько не затрагивается искренним желанием субъекта жить как все, не лезть на рожон, его столь же искренним непониманием более высоких жизненных целей, чем учёная степень, квартира или автомобиль. И вот встроенный в подсознание интеллигента принцип отбора по способностям сталкивается с господствующим принципом отбора по лояльности — и самоутверждение его оказывается сломленным уже на первых этапах карьеры. Преимущества, уже не отделимые от "я-образа", с которыми он связывает свои надежды, позорнейшим образом фрустрируются успехами комсомольского деятеля, обязательного стукача студенческой группы или особо протежируемого отпрыска номенклатурного семейства.

"Нормальная" реакция, которая могла бы спасти интеллигента от последствий такой фрустрации, кажется вполне естественной и наблюдалась в таких ситуациях в былые времена; назовём её "вторичной компенсацией". Если "первичная компенсация" интеллигента состояла в том, что в какой-то момент его школьной жизни ему удалось компенсировать недостаток физической силы или гормонального превосходства умением решать задачи или писать сочинения, то во "вторичной компенсации" интеллигент должен отбросить всю систему ценностей, делающую его человеком низшего сорта, и научиться презирать своих удачливых конкурентов с позиций некоторой другой системы ценностей, предпочитающей его собственные преимущества и способной доставить ему требуемое самоутверждение. Но этого наш юный интеллигент сделать не может. Он не может отбросить чиновничью, карьерно-воровскую систему ценностей, усвоенную им в детстве от родителей и составляющую уже неустранимый слой его психической ткани. Чтобы подобная перестройка ценностей могла произойти, необходимы совсем другие, достаточно рано приобретённые и достаточно глубоко заложенные представления, конкурирующие с общепринятой философией успеха: представления этические, эстетические или, как это чаще всего бывало в прошлом, религиозные, некогда составлявшие прочную основу формирования личности. Но как раз этих представлений нашему интеллигенту и негде взять в его убогом, ограбленном детстве, у его жалких, уже духовно искалеченных родителей. В попытках утвердить себя он хватается за все доступные ему виды самообмана. Он готов даже отказаться (на словах) от доктрины потребительского

материализма, он крестит потихоньку своих детей, даёт им непривычные русские имена и проявляет сентименты по поводу органически чуждой ему старины. Но всё это ни к чему не ведёт, потому что не имеет корней в его воспитании. На практике наш интеллигент всегда держит свой товар в сухом месте. Это немецкая поговорка, подходящей русской не могу сразу припомнить. Но и русская, без сомнения, найдётся — в мещанском слое нашего фольклора. Ведь наш нынешний интеллигент, как правило, *мещанского* происхождения, и он хочет соединить психологию лавочника с претензией на честность и умственное превосходство.

Конфликт между несовместимыми ценностями загоняется в подсознание, становится его хронической болезнью, трещиной, по которой разрушается личность. Постоянное, неустранимое состояние фрустрации, внутренней сломанности и является тем фоном, на котором развёртываются его комические поиски самооправдания, при уловках побольше откусить от казённого пирога.

Теперь мы уже подготовлены понять философию нашего интеллигента, ту самую, которой мы попытались дать название в заглавии этой работы. Внутренне сломленный, потерпевший глубокое биологическое поражение в своей попытке самоутверждения, наш интеллигент должен создать для себя философию, в свете которой он выглядел бы сколько-нибудь прилично. Форма такой философии зависит, конечно, от его индивидуальной способности к самообману. Может показаться, что мы встречаемся здесь с разными взглядами, начиная с откровенно ущербных, бессильно восхваляющих отсутствующие доблести, до мнимо самодовольных, признающих всякие доблести несвоевременными. Но в основе всех этих взглядов, как мы увидим, лежит одно и то же психическое содержание.

Наиболее обычная и самая спокойная с виду доктрина, имеющая хождение в нашей интеллигенции, представляет собой малограмотную подделку философского скептицизма. Истинный скептицизм всегда был плодом глубокого творческого страдания, связанного с мучительным отвержением какой-то части собственного существа. Ничего подобного у нашего интеллигента не может быть, поскольку ничего по-настоящему важного для себя он не отвергает, а пытается всё совместить; страдать же он не умеет и не согласен, а, напротив, всю жизнь старательно уклоняется от любого страдания. Мнимый скепсис его касается лишь вещей для него в сущности безразличных, хотя и представляемых с некоторым традиционным почтением. Если речь идёт о религии, то он готов признать аргументы и за, и против бытия божия, так как внутренне убеждён в

практической неважности этого вопроса. С другой стороны, традиция и приличия требуют, чтобы вопрос этот обсуждался с видимой серьёзностью. Сочетание полного внутреннего равнодушия к богу и причитающегося ему декорума превращает религию в лакомый кусок для застольных разговоров. При этом допускаются любые взгляды, за исключением "крайних", вызывающих сомнение в подлинности: нельзя быть, или притворяться, *не сомневающимся* верующим или *не сомневающимся* рационалистом. Состояние сомнения, столь мучительное для всех искренне добивающихся истины, служит в этом обществе непременным условием душевного комфорта. Удобным оправданием такого состояния служит слабость человеческого разума: такая позиция особенно комфортабельна, поскольку сторонникам её чрезмерные умственные усилия просто не подобают. Другая излюбленная тема обсуждения — гражданская. Вопрос о путях развития общества, о революциях, о демократии изобилует пикантными темами для разговора, при условии, что всё это не воспринимается всерьёз и, следовательно, не требует никаких поступков. Чтобы такое требование не могло возникнуть, достаточно настаивать на бесконечной, неразрешимой сложности общественных дел. Всё вместе составляет приятное препровождение времени, напоминающее известное определение Писарева: "кукольная комедия с букетом гражданской скорби".

Единственное правило игры, которого здесь обязательно придерживаться, — это *никогда ни в чём не быть уверенным.* Ни в каком вопросе нельзя иметь выработанного, определённого мнения; но пуще всего запрещается — знать, как себя вести. Сомнение по поводу поступков является первым условием существования нашего интеллигента; оно зашло у него дальше, чем у любого поколения людей, жившего до нас. Люди, жившие до нас, хотя бы теоретически допускали возможность какой-нибудь этики. Римляне времён упадка, уже не принимая себя всерьёз, сохранили всё же восхищение доблестью предков, и вот нашёлся герой, разбивший гуннов на Каталаунских полях. Очевидно, последние римляне не доросли до нашей утонченности, недооценив достоинства гуннов: может быть, их надо было приветствовать, как рекомендовал в своё время Брюсов?

В любом упадке люди искали спасения, надеялись на приход избавителя, и если уж не мог им помочь ни бог, ни царь и не герой, то высказывали совершенно непостижимую надежду спастись собственной силой. Кто не знает, что это учение большевистское, и что из него вышло? Надеяться на сверхъестественного избавителя ещё дозволяется, но без неуместного энтузиазма. Ведь слишком сильно

надеяться — значит предвидеть, а предвидеть нам не дано.

Поразительное резюме этой философии принадлежит известному современному поэту, прямо предупреждающему нашу публику, под каким видом должен явиться Антихрист; опасаться надо тех, кто скажет: “я знаю, как надо”. Здесь — кажется, впервые в истории — неуверенность в себе выступает не робко и стеснительно, а в некотором роде требовательно и агрессивно, в качестве этического императива. Возможно, автор этой песни, вообще выражающий душевное состояние не типичного, более совестливого интеллигента, полагал, что воспитывает своих слушателей в христианском духе.

В самом деле, в Евангелии можно найти предостережение от ложных пророков; теперь же нам открылось, что истинных пророков не бывает.

Человек, которого мы описали, не может быть носителем никакой интересной философии. В самом деле, чего стоит философия, служащая лишь для самооправдания и застольных разговоров? Подлинной философией такого человека является его подсознательный практицизм, ориентирующий его на достижение и сохранение статуса и материальных благ. Назовём эту философию, для краткости, *мещанской*, хотя это название неточно. “Сознательная” же философия нашего героя, словесная надстройка, рационализирующая его поведение, представляет собой беспорядочную смесь унаследованных идей, рассыпающуюся при первом прикосновении. Таким образом, ни подлинная, ни мнимая его философия не представляет “философского” интереса. Наш интерес к этой философии — социологический. Зоолог может интересоваться существом, ничем не привлекающим наши чувства. Точно так же, мы можем интересоваться *остаточным человеком*, продуктом разложения некоторой культуры, — скучной и беспомощной личностью нашего современника, — именно потому, что он наш современник, которого надо основательно понять и изучить, чтобы можно было что-нибудь сделать с обществом, окружающим нас в конце двадцатого века. Но, конечно, мы не можем относиться к нему с невозмутимым спокойствием зоолога, потому что он всё-таки наш ближний, потому что в нём от рождения заложена невероятная возможность быть человеком. Мы дали ему название, требующее исторического обоснования. Надо было бы написать историю распада западной культуры, иначе именуемой христианской, и показать, каким образом возникла эта переходная форма человека, — переходная к

чему-то, что может быть лишь более совершенным человеком, или уже не человеком вообще, и завершить эту историю объяснением, почему вторая из этих возможностей неизбежно приведёт к физической гибели вида. Но такая задача далеко выходит за пределы нашей небольшой работы. Поэтому мы даём нашему человеку имя несколько произвольно. Следовало бы перевести этот термин на латынь, по образцу зоологических видов: *homo habilis*, *homo sapiens*. Итак, назовём его *homo reliquus*.

Конечно, мы занимаемся здесь лишь определённой разновидностью этого человека — современным советским псевдоинтеллигентом. Для краткости мы будем называть его просто "интеллигентом", как он сам (наивно) себя называет.

Заметим, прежде всего, что *подлинная* философия нашего интеллигента может быть названа мещанской лишь по своей основной психической установке, направленной на имущество и социальный престиж. Но исторически это название неточно. Дореволюционный ("горьковский") мещанин был человечески значительнее и крепче. Даже не углубляясь в традиционные основы его личности, легко заметить, что он отличался от современного мещанина в двух важных отношениях: он способен был ставить себе честолюбивые цели, и в достижении этих целей был реалистом. Для "горьковского" мещанина главным мерилом достижений были деньги, а от денег уже зависело его общественное положение. Нынешний же мещанин измеряет свои успехи статусом, а от статуса уже зависят все другие блага, к которым он стремится. Иначе говоря, он *чиновник*. Если он при этом интеллигент, то есть делает карьеру при помощи своих умственных способностей или художественных дарований, то он обычно не рассчитывает на высокие должности в партийном или государственном аппарате, поскольку там эти способности и дарования несомненно мешают и, за исключением немногих особенно виртуозных жуликов, никому ещё не удалось туда пробраться с таким багажом. Предел его честолюбия — стать академиком или членкором, народным или заслуженным артистом. Но и этих целей достигнуть трудно — слишком уж много желающих и требуется не то чтобы особенная одарённость, но особенная ловкость, а с этим тоже надо родиться. Поэтому цели нашего интеллигента определяются, как правило, более низким уровнем чиновничьего успеха. Если он "учёный", то целью его становится уровень доктора или кандидата: это и значит быть учёным в его глазах. Достигнув своего предельного уровня, чиновник-интеллигент может ещё пытаться перейти в более престижное учреждение, если он начал "на периферии", перебрать-

ся в Москву и т. д., но всё это случается редко. Обычно он сидит всю жизнь на одном месте, принимает форму этого места и затрачивает всю свою энергию, чтобы на этом месте удержаться, извлекая все свои удовольствия и огорчения из служебных сплетен и интриг. Это — вся его жизнь. Малейшее изменение в условиях существования выбивает его из колеи: вне своего учреждения, своего насиженного места он беспомощен, как ребёнок, суетлив и плаксив. Выражаясь биологическим языком, советский интеллигент приспособлен к своей экологической нише, вне которой он не может существовать. Но человеческие учреждения не столь долговечны, как условия жизни животных. Поэтому советский интеллигент никогда *не уверен* в своём благополучии: "реорганизации", "сокращения штатов" воспринимаются им как стихийные бедствия, а "реформа" может быть для него экологической катастрофой. Он всячески противится любым переменам, потому что лишён гибкости и воображения. Часто мы видим, как человек, вчера ещё скрупулёзно рассчитывавший мельчайшие варианты своих служебных дел, в изменившихся условиях сразу теряется, делает невообразимые глупости и как будто перестаёт понимать единственно важные для него интересы. Нет, ассоциация с "горьковским" мещанином для него незаслуженно лестна. Его нельзя сравнить не только с удачливым дельцом, ворочавшим миллионными предприятиями, но даже с лавочником или ремесленником, имевшим своё независимое "дело", считавшим себя хозяином и противостоявшим, как отдельная личность, рынку и конкуренции. Если иметь в виду подлинные основы поведения советского интеллигента, его психологический "базис", то сравнить его можно только с особым типом дореволюционного мещанина — чиновником.

Выяснив человеческую сущность нашего интеллигента (или его "структуру личности", если выразить то же научным языком), обратимся теперь к его "идеологической надстройке", к сознательной и словесной составляющей его мышления.

Прежде всего, он считает себя рационалистом. Главный символ его веры отрицательный: это недоверие к любой "философии" и "идеологии". Его слишком долго дурачили марксизмом, и он не верит ни в какую общественную доктрину. Можно сказать, что в общественной жизни он не ведает добра и зла, а в личном существовании уклоняется от любого человеческого идеала. Чтобы сразу избавиться от всей этой премудрости, у него есть простой критерий: он не доверяет словесному тексту без формул. Магические символы,

включающие его механизм доверия, — это математические знаки. И здесь нетрудно усмотреть наследие той же марксистской идеологии, которую он обычно пытается оттолкнуть. Марксисты всё сводят к экономике и вычисляют проценты, история партии набита плановой цифирью, — а нашему интеллигенту мало уже процентов; чтобы внушить ему уважение, требуется интеграл. У него вызывают подозрение даже строго научные исследования, не допускающие на своей нынешней стадии количественного описания, а в том, что касается человека, все великие озарения человеческой мысли для него попросту не существуют. Конечно, эта его "математическая" установка может быть исторически объяснена. Родители его учились на рабфаке и принадлежали уже к так называемой "научно-технической интеллигенции", уважавшей только "умные машины, в которых дышит интеграл": им не достались уже плоды из "барских садоводств поэзии — бабы капризной". Барские садоводства были разорены, то есть культурная традиция прервалась, и там, где растёт и воспитывается наш интеллигент, уже попросту не у кого узнать, чем хорошие стихи отличаются от плохих, и как можно что-нибудь сказать о картине, не выучив заранее, чтó об этом художнике принято говорить. Тем более некому объяснить, о чём говорится в философских книгах. Наш интеллигент охотно признáет, что для понимания научных книг нужна математическая культура, но не хочет и слышать об эстетической и философской культуре, полагая, что его хотят надуть. И тут уже действуют не только исторические, но и психологические причины: чтобы оправдать свою духовную неполноценность, он отрицает самое существование духовной жизни. Верит он лишь в "объективное", а объективно для него то, что можно "научно доказать".

Между тем, наука в собственном смысле содержит лишь *принудительную* часть человеческого опыта, то, что человек *вынужден* принять, выполнив такие-то опыты и логические выкладки. Нынешнее преклонение перед наукой (и демонстративное отвращение от науки в некоторой части той же среды) выражает не только убогую гносеологию, но и *потребность в принуждении*, во внешнем авторитете. Это одно из проявлений того, что Эрих Фромм назвал "бегством от свободы". Роль внешнего авторитета, принадлежавшая прежде религии, теперь возлагается на "объективную науку". От науки ждут ответа на все вопросы, относящиеся к человеческой жизни. Но оказывается, что на самые важные из этих вопросов наука ответить не может. Наука ничего не говорит о смысле жизни, о цели человеческого существования. В применении к этим вопросам

она играет всего лишь роль инструмента, доставляя человеку *средства* для достижения тех или иных целей. Сами же цели берутся из культурной традиции и воспринимаются в раннем детстве из окружающей человеческой среды.

Как мы уже говорили, культурная традиция прервалась, и разрушены были не только "барские садоводства" утонченной духовной жизни, но и простейшие механизмы воспитания, формировавшие установки поведения. С точки зрения нашего интеллигента, культурная традиция вообще есть нечто маловажное и достаточно произвольное, подобно деятельности министерства культуры, самого несущественного из всех министерств. Культуру он связывает с развлечениями и располагает в рамках так называемого "свободного времени", на обочине жизни. Это и понятно, потому что культурная традиция не принудительна в том смысле, как наука. Были и другие культуры, и этнографы утверждают даже, что у "примитивных" народов тоже есть какая-то культура. В этой области ничего нельзя *доказать*: нельзя доказать, что памятники прошлого заслуживают уважения, что нельзя плевать на пол и дымить в лицо соседу, что нельзя обижать детей, оскорблять стариков, спать с чужой женой или убивать под каким-нибудь предлогом людей, когда они тебе мешают. Конечно, наш интеллигент-рационалист не станет всё это одобрять, но уверенность его в ценности культуры и, в частности, её этических принципов гораздо слабее его веры в "науку". Все эти вещи нельзя *доказать*, а отсюда выводится, что им нельзя приписать *абсолютную* ценность, какую имеет для него таблица умножения или метод наименьших квадратов. Если же этические принципы не абсолютны, то можно составлять уравнения, содержащие в виде равноправных членов зарплату, любовь, квартиру и престарелых родителей, а в критических положениях можно торговать своим достоинством и честью, поскольку все эти вещи имеют лишь *относительную* ценность и, стало быть, их можно обменять на другие.

В известном смысле такой подход к жизни рационален: пусть лучше пострадает один человек, чем весь народ, сказал первосвященник Каиафа. Мы имеем здесь дело с очень древней установкой, и "наука" служит лишь для её обоснования. Установка эта происходит не от того, что у человека есть, а от того, чего ему недостаёт. На человека с таким складом души ни в чём нельзя положиться: он всегда *вычисляет*.

Отсюда можно понять, почему наш интеллигент считает неразрешимо трудными все вопросы, относящиеся к человеку. Среди этих

вопросов есть лёгкие и трудные, очевидные и запутанные, но для него — *всё* запутано и *всё* трудно. *Для вас* очевидно, что государство не имеет права навязывать человеку мысли, место жительства или жену, но это очевидно для вас потому, что *обратное*, по вашей системе ценностей, просто недопустимо. Для *него* же всё это не очевидно, потому что никакую систему ценностей нельзя "доказать": это *вы* так думаете, скажет он вам, а кто-нибудь другой может думать иначе. Легко догадаться, какую установку имеет такая *установка неуверенности* в жизненной практике нашего героя: это его способ отпускать себе грехи. И не думайте, что он устыдится и исправится, если всё это прочтёт. Он не может, потому что ему нечем быть человеком. В приятных обстоятельствах он будет вести себя вполне прилично, вы будете считать его добрым товарищем, коллегой, даже другом; но в трудную минуту вы увидите, как в нём что-то щелкнуло — сработало вычислительное устройство — и вот, он не хочет платить бóльшую цену за то, что не имеет цены. Можно ли считать его человеком? Может быть, нет. Это опасная точка зрения, из которой могут произойти пагубные последствия. Кто-нибудь, изучив такое рациональное чудовище, может прийти к выводу, что к нему не следует применять правила обращения с человеком, а надо обходиться с ним так, как сам он обходится с окружающим миром. Я не хотел бы пустить в обращение такую доктрину, но когда я вижу этого рассуждающего робота, мне хочется его выключить, потому что его не должно быть. И тогда я внушаю себе, что всегда была человеческая слабость и человеческая корысть, и всегда люди толковали о ценностях, оправдывая свои грехи. Но ценности эти всегда *были*! Человек, для которого нет ничего святого, вызывает у меня ужас. Я не чувствую в нём своего ближнего. И я рад, что время его скоро пройдёт.

Человек может существовать, пока у него есть ценности его культуры, потому что человек, по удачному выражению одного биолога, есть "культурное существо". Ценности эти — понимаемые в *абсолютном* смысле, иначе они *не* ценности — входят в определение человека. Человек *может быть* слаб и подл, как говорил Великий Инквизитор, но и в этом случае он *признаёт* свой закон, обвиняя себя в грехе. Если же у него *нет* закона, то он не человек, и выжить не может.

Но пора уже опуститься с метафизических высот и продолжить исследование нашего героя. Он считает себя рационалистом — посмотрим же, какого качества его рационализм. Мы увидим, что и это название для него незаслуженно лестно, как и прозвище ме-

щанина. В самом деле, в прошлом рационалистами называли себя люди, верившие не в бога, а в человеческий разум, следовательно, — в *человека*. Такая вера возникла из веры в бога, она имеет также другое название: *гуманизм*. Это название лучше, потому что человек не сводится к разуму, и нельзя верить в человеческий разум, не доверяя человеческим чувствам и человеческой воле. И если называть рационализмом последовательный гуманизм, не нуждающийся в боге, то вера эта возникла на рубеже нового времени, достигла высокого развития в девятнадцатом веке и подверглась тяжёлым испытаниям в двадцатом. Учёные нового времени, как правило, верили в человека, но не верили в бога. У них был пафос утверждения человека, освобождения его от мистификации богом, от переноса идеальных свойств человека на фиктивный внешний объект. У них было увлечение процессом познания, была вера в безграничность познания, но настоящие учёные никогда не думали, что вся нужная человеку мудрость может быть найдена в лаборатории, и не подозревали, что наука может убить культуру, если потеряет разум и захочет быть *всем*. Учёные прошлого были плоть от плоти своей культуры, они хотели освободить её от примитивной, пережиточной части её наследия. Оставаясь в своей культуре, учёный оставался человеком. Теперь *наука выпадает из контекста культуры*, и традиционный тип учёного исчезает. На место учёного-человека, учёного-гражданина приходит учёный-техник, учёный-спортсмен. Интересы его ограничиваются его рабочим местом в непостижимом, вышедшем из поля зрения индивида производстве, смысл и цели которого никто не пытается определить. Он попросту изготовляет свою деталь и кладёт её на конвейер, движущийся в никуда. Всё это напоминает огромный завод, где забыли построить сборочный цех.

В таких условиях неизбежно меняется психология учёного и самое понимание науки. В частности, исчезает психологическая основа рационализма — вера в человеческий разум. Там, где никто не видит готовых изделий, может сохраниться лишь смутное представление о важности самого процесса производства. Вы можете услышать от нашего интеллигента рассуждения о развитии науки, о важности её достижений, но никогда не спрашивайте — зачем? Ответом будет лишь обидчивое недоумение. Отношение нашего интеллигента к научному процессу в точности то же, что у любого советского труженика: откуда-то спущен план, стало быть, надо его выполнять.

Итак, вычисляющий рационализм оказывается пустым внутри. И эту пустоту неизбежно заполняет какое-то человеческое содер-

жание, потому что некоторые свойства человека упрямы, как его биологическая природа. Главные из этих свойств — страх смерти, страх одиночества и потребность в чуде. Возвращаясь в высохшую оболочку пустой души, они пытаются как-то приспособиться к обстановке. Наука упорно твердит свою назойливую догму, что все мы умрём, значит, надо успокоить страх смерти каким-нибудь способом, не задевающим её авторитета. Хотелось бы избежать этой неприятности, но в пределах "науки". Можно представить себе, например, кибернетическое бессмертие, когда переписывают на плёнку человеческий мозг. Ещё интереснее, если бессмертие не надо придумывать, а оно уже — каким-то вполне научным способом — существует. Мне рассказывали недавно об опросе людей, выведенных из клинической смерти: врачи интересовались, чтó ощущали умершие на том свете или по дороге туда, записывали и наводили статистику. И вот — что бы вы подумали — *статистически доказано*, что почти все они видели нечто вроде длинного коридора, а в дальнем конце его — свет!

Когда нет уже подлинной веры в науку, потребность в чуде может быть удовлетворена вполне наукообразно. Главную роль здесь играет так называемая научная фантастика. Чудо есть нарушение естественного хода вещей. Но если происходит что-нибудь совсем необычное, хотя бы и допускающее рациональное объяснение, это всё равно воспринимается как чудо. Предки наши верили в бесстыдно необъяснимые чудеса; наш современник, привыкший довольствоваться заменителями, получает некоторое объяснимое приближение. Является целая литература, где самые удивительные вещи происходят на космических кораблях, в будущем и в прошлом, или на планетах других звёздных систем, поскольку планеты нашей собственной системы уже слишком известны и не вызывают доверия. Излюбленная тема этой литературы — так называемые "пришельцы", жители других миров, прилетающие на Землю и устанавливающие дружеские или враждебные отношения с её населением. Но этого мало. Сюжеты фантастических произведений, всё-таки, выдуманы, а людям хотелось бы, чтобы такие вещи в самом деле были. И вот распространяются сведения, что пришельцы и в самом деле уже прилетали. Это они построили храм в Баальбеке (о котором точно известно, кто и когда его строил), они воздвигли чудесно не ржавеющую колонну в Дели (подземная часть которой, оказывается, всё-таки заржавела), наконец, это они изображены на фресках Сахары, где можно увидеть космонавтов с надетыми шлемами (то есть колдунов в ритуальных уборах из выдолбленной тыквы). Ки-

нофильм, изображающий все эти чудеса, пользуется бешеным успехом. Его комментируют — в трогательном содружестве — авторы фантастических сочинений и солидные учёные, а публика, считающая себя интеллигентной, принимает всё это всерьёз. И потом — летающие тарелки. Тут уже всё точно известно: *они* всё время летают вокруг Земли и за нами следят, даже высаживались и брали земных обитателей в качестве образцов, но пока это военная тайна. Точно известно, что ими занимаются военные институты и в Америке, и у нас (представьте себе научную любознательность генералов!). Там же, в военных лабораториях, занимаются телепатией и телекинезом, и это тоже — военная тайна. Обвинили же недавно одного инакомыслящего в том, что он выдал секретную работу по телепатии (и в самом деле, обвинили!). Самое замечательное — это отношение к таким вещам профессиональных учёных. Можно было бы подумать, что они должны отбрасывать такие разговоры с холодным презрением, но давно прошли уже времена, когда учёный имел какое-то научное мировоззрение или просто уважение к собственному ремеслу. Учреждения, занимающиеся телепатией, легко находят учёных, готовых расходовать таким образом деньги налогоплательщиков, и я читал статью одного американского физика, призывавшего организовать институт для изучения летающих тарелок, американскую НИИТарелку. Надо полагать, он хлопотал о новом институте для себя и своих сотрудников, так как существующие институты с тарелками не справились. Москвичи и провинциалы передают друг другу полусекретные, но вполне достоверные статьи о тарелочной и вообще интересной науке, перепечатывают их на машинке и обсуждают. Мне показывали пластмассовую игрушку под названием "летающая тарелка": она и в самом деле была похожа на тарелку, а в середине выдавлено было окошко с силуэтом пришельца, чем-то вроде козы.

Теперь уже нетрудно понять, каким образом наш интеллигент-рационалист обращается к богу. На первый взгляд это кажется невероятным. Но чем больше высыхает рациональная оболочка его души, тем сильнее ощущается пустота внутри. И нет в этой душе никакой прочной основы, ничего унаследованного от воспитателей, ничего выстраданного собственным опытом — одни обрывки из учебников, случайного чтения и болтовни. Чтобы заполнить эту душевную пустоту или просто приспособиться к тону, уже установившемуся в ближайшем окружении, наш интеллигент принимает какую-нибудь достаточно внушительную доктрину, обычно самую распространённую среди его знакомых: чаще всего это православие или какое-

нибудь околоправославное мудрствование. Совмещение науки с религией для него не трудно: ведь он соединяет всего лишь бессвязные дребезги науки с шелухой угасшей религии. Как мы видели, наука служит ему для отпущения грехов, но вычисление можно заменить умилением, и ещё лучше науки успокоит его какой-нибудь нетребовательный поп.

Конечно, при этом религия ни в коем случае не должна приниматься всерьёз, и такая угроза обычно даже не возникает, поскольку наш герой воспринимает религию лишь в *разговорном* плане. Он слышал, может быть, о более глубоких явлениях веры, но по своей истинно-русской наивности, столь проницательно описанной Бердяевым, полагает, что они бывают только у святых, а на святость наш герой, конечно, не претендует. В самых банальных случаях он даже не подозревает о каких-нибудь религиозных переживаниях, довольствуясь в религии её приятно-общительной стороной: он освящает куличи, потихоньку от начальства крестит детей и вообще чувствует себя членом русского православного коллектива. Конечно, такая религия не требует от него жертв. И он никогда не допустит, чтобы его материальный базис от всего этого пострадал: религия, политика, науки и искусства должны навсегда остаться в разговорной надстройке. Не верьте ему, если он говорит, что любит своего бога. Он никого не может любить, потому что бог не любит его.

Что ещё можно увидеть в нашем интеллигенте? Самая очевидная его черта — это упрямое, непреодолимое стремление ничего не знать. Он может существовать, лишь ничего не зная о себе и окружающем мире, и всякое знание такого рода блокируется его подсознанием. Не случайно он отрезает себе самые средства что-нибудь узнать. Задумывались ли вы, почему у нас никто не знает иностранных языков? Для изучения языков теперь имеются все нужные средства, но наш интеллигент беспомощно возится со словарём, разбирая нужную ему (или ненужную) специальную статью. Обычно он скажет вам, что иностранный язык — очень трудное дело, но мы уже знаем, почему он так говорит. Конечно, он не привык что-нибудь делать без указания начальства, по собственному почину, но я уверен, что здесь работает ещё и защитный механизм: свободное знание языка бессознательно ощущается как выход в опасную свободу. Он будет жаловаться на недоступность литературы, но он лжёт. Запрещены лишь малоинтересные остролитические сочинения. Вся серьёзная литература о человеке и обществе, об экономике, истории и философии легко доходит по почте, лежит нечитанная в библиотеках. Начальство чувствует, что всего этого никто не станет

читать. Да и трудно было бы ему разобраться в этом наводнении информации: ренегаты, умевшие читать и понимать прочитанное, уже вымерли, и мы живём, слава богу, в эпоху *безграмотных* стукачей. Наш интеллигент не знает даже объективных условий материальной жизни, в которых он только и заинтересован; точнее, он знает эти условия лишь в ближайшей окрестности своего места, к которому привязан, как пёс к своей будке. Если вы спросите его, как живут за границей, то обнаружите подсознательное низкопоклонство и сознательное высокомерие. Очень редко он знает зарплату и рыночные цены за рубежом, хотя иностранное радио всё время об этом твердит. Обычно он скажет вам, что они врут; интереснее случай, когда он знает цифры, но не понимает, что они значат. Он умеет подсчитать свою покупательную способность, но не покупательную способность американца, да и вообще заграничная жизнь для него нереальна, как загробный мир. Если вы будете настаивать, он выдаст вам несколько газетных штампов, например, объяснит вам, что у нас бесплатные социальные блага, а в Америке всё надо покупать. Если вы всё-таки предложите ему сосчитать, он рассердится. Ему *надо* всего этого не знать, чтобы сохранить самоуважение. Ведь он потребитель, он из кожи вон лезет, чтобы купить (вернее, достать) разные труднодоступные вещи, и главная радость его жизни — похваляться этими вещами перед соседями и сослуживцами. Полезно ли ему знать, что за границей его великолепие не произвело бы особенного впечатления? Мне приходит на память рассказ, как могущественный вождь принимал путешественника в дебрях Новой Гвинеи. На ногах его сияли новые кеды, и родовая знать угощалась из консервных банок. Чтобы сохранить самоуважение, наш герой должен как можно меньше знать. А если уж он не может чего-нибудь не знать, то он и знает — и не знает.

В некоторых случаях он воображает, что знает всё. Он обрушит на вас статистику и прейскуранты, доллары и центы. Это значит, что он уже приготовился сменить хозяина — настроился на эмиграцию. Ему и хочется, и колется. Он должен доказать себе, что *там* всё хорошо, что там ему будет легко и приятно. Но всё-таки ему страшно расстаться с привычной обстановкой, и он рассчитывает на помощь начальства — ожидает пинка.

Впрочем, и потребитель — слишком лестное для него название. Покупать — вовсе не то же, что потреблять, здесь очевидное злоупотребление словами. Главная функция вещи у современного мещанина — вовсе не потребление, а поддержание престижа. Если он интеллигент, у него должны быть книги, это должны быть модные

и труднодоступные книги: Пастернак, Ахматова, Цветаева и Мандельштам. Потреблять их никто не может, но можно ими владеть. Машина у него не для того, чтобы ездить, а книга — не для того, чтобы читать.

Ему непонятен человек, непосредственно счастливый или несчастный. Средства вытеснили у него понимание цели. У женщин это страшнее всего: посмотрите на них, когда они дерутся в очереди из-за какой-нибудь тряпки. Кто из них интеллигентки, по лицам теперь не разберёшь, но все уроды.

Такой человек не потребитель, а нечто гораздо худшее. Из вещей он создал себе культ, и это поистине самая жалкая из религий.

Понятие правосудия ему недоступно. Если вы скажете ему, что суд может быть в некоторой мере независим, расскажете ему о присяжных и общественном мнении, он ответит, что вы жертва западной пропаганды. Если *им* надо от кого-нибудь избавиться, — скажет он вам, — то *они* это сделают лучше наших, с соблюдением всех форм и приличий. Разница лишь в том, что говорится, а суть дела везде та же. Он верит лишь в ту действительность, которую видит вокруг.

Посмотрите, как он слушает иностранное радио. Он не понимает, о чём можно солгать, и о чём нельзя. Первая истина, которую он усваивает в своей жизни, состоит в том, что *все всегда врут*. Пока он остаётся в своём окружении, среди себе подобных, это правило действует безотказно. У него не возникает надобность отделять факты от комментариев, потому что в обычных для него условиях факты легко игнорировать или отрицать. Он не понимает, что у лжецов тоже могут быть конкуренты. У *них* тоже есть хозяева — объяснит он вам — и если им надо, они скажут вам, что сегодня тридцать второе декабря.

Старые книги для него всё равно, что сказки. В старых книгах описываются люди, каких не бывает, мысли, которые никто не принимает всерьёз, и поступки, не вытекающие из окружающих условий. Всё это, конечно, вранье, но так и должно быть, потому что это — литература. Ещё в школе, где ему навязывали русских классиков, он понял, что это необходимая часть надувательства, докучливая, когда надо сдавать экзамены, но безобидная, потому что этим никого не обманешь. Нет, он не против литературы, более того, поскольку он интеллигент, он приучился читать. Вы можете видеть его в метро или электричке читающим какой-нибудь детектив, фантастику или советский роман. Во всех случаях ему не приходит в голову, что герои и обстановка должны быть чем-то похожи на окружаю-

щую жизнь, на него или его знакомых. Это было бы просто неприлично. Впрочем, в последнее время для него стряпают подделки с прибавлением фрагментов действительности, полуправду хуже прямой лжи. Он охотно верит, что это правда, потому что эта правда для него безопасна. Он может капризничать по поводу масла и колбасы, но духовные его потребности вполне удовлетворяют Трифонов и Шукшин.

Русский интеллигент мог заблуждаться, потому что искал. Советский интеллигент никогда не заблудится, потому что не ищет. Русский интеллигент часто был зависим, он следовал популярному мнению, и мнение это приводило его на каторгу и эшафот. Советский интеллигент тоже зависим, он тоже следует общему мнению, но общее мнение теперь состоит в том, что надо избегать неприятностей с соседями и с начальством.

Русский интеллигент устроил три революции и затопил Россию морями крови. Советский интеллигент смотрит на него с чувством превосходства и нравственного осуждения.

Инакомыслие

Наряду с массовым типом советского интеллигента, есть ещё особая разновидность его, на первый взгляд имеющая с ним мало общего. Это "инакомыслящий" интеллигент или, в терминологии иностранной печати, "советский диссидент". Слово это английское и означает сектантов, отколовшихся от официальной государственной церкви и заявляющих самостоятельные религиозные мнения в границах христианской веры. Таким образом, диссидентами никогда не называли прямых атеистов. Термин этот, в его английской версии, кажется мне удачным, потому что *советские диссиденты* — это люди, вовсе не отвергающие начисто советское мировоззрение и советский образ жизни, а добивающиеся некоторых улучшений в том и другом, и притом, по возможности, без нарушения советских законов. Вопреки распространённому мнению, сюда безусловно относятся и внеаппаратные русские шовинисты, идолом которых является А. И. Солженицын; но к диссидентам не относятся просто верующие, не ищущие компромисса с советской властью, а желающие от неё укрыться до времени, пока бог её покарает.

Гораздо менее удачен термин "инакомыслящие", потому что в нём заложена презумпция *мышления*: правильнее было бы назвать этих людей "инакочувствующими", но это уже совсем не по-русски.

"Инакомыслящие" отличаются от "массового" типа советского интеллигента своими чувствами и поведением, но близки к ним своим образом мыслей. Можно определить "инакомыслящего" как человека, получившего от культурной традиции сильное чувство справедливости и приличия, но не получившего навыков самостоятельного мышления. Чувства толкают его против несправедливой власти, а мысли порабощают его этой власти. Такой человек выше окружающей среды, потому что способен приносить жертвы, но жертвы эти случайны и, большею частью, напрасны. "Массовый" интеллигент жалок и смешон, но "инакомыслящий" — трагичен, потому что принимает некоторые вещи всерьёз и доказывает это своим поведением. Я попытаюсь изложить взгляды некоторых лучших представителей этой среды. Пусть они простят мне, если это изложение покажется им насмешкой. Юмор возникает здесь не от моей воли, а от беспорядка в описываемом мышлении.

Доминирующая установка этого мышления — зависимость от начальства; поведение же реактивно по отношению к действиям власти.

Инакомыслие,
или философия, психология и этика недовольного советского интеллигента

1. *Они* всеведущи и всемогущи. Отдельный представитель власти может быть слаб и жалок, но весь аппарат в целом — страшен и непобедим. *Мы* смотрим на него, как кролик смотрит в глаза анаконды. Начиная что-нибудь делать, мы знаем, что ничего не можем.

2. Мы говорим, что верим в духовную силу человека, но не верим, что она имеет практическое значение. В реальной жизни имеет значение лишь соотношение физических сил. Выступая за изменение жизни в этой стране, мы знаем, что ничего изменить нельзя.

3. Поскольку мы не можем уверовать в бога, у нас нет надежды, что бог заметит наши жертвы и сотворит чудо, и нет надежды на загробное воздаяние. И всё же, мы должны приносить эти жертвы из чувства собственного достоинства. Может быть, со временем наш пример увлечёт большее число людей, и люди станут лучше. Но в это мы, собственно, тоже не верим, потому что это было бы чудо.

4. Таким образом, мы делаем всё это, чтобы облегчить нашу совесть и выразить публично наши чувства.

5. Мы верим в человеческие чувства, но не верим в человеческий разум. Никакое учение мы не принимаем всерьёз. Все идеологии прошлого оказались ложными и привели к чудовищным бедствиям и преступлениям. Значит, так будет и дальше. Незачем заниматься каким-то общественным мышлением. Когда речь идёт о человеке и обществе, нельзя говорить, что одна мысль правильна, а другая нет. У каждого свои мысли, и одна не хуже другой. Надо лишь поступать, как тебе подсказывает чувство.

6. Чувства подсказывают нам, что надо *протестовать*. Если мы не протестуем, то оказываемся соучастниками творимого зла. Таким образом, мы говорим о личной ответственности, но принимаем библейский принцип племенной. Мы виноваты в оккупации Чехословакии и даже, по-видимому, в ужасах революции и террора. Мы несём в себе не гордое чувство праведности, а смиренное чувство вины.

7. Самое главное в жизни — не бояться. Мы не протестуем, потому что боимся. Единственный способ доказать себе, что ты не

боишься, — это протестовать. Тогда и другие увидят, что ты не боишься, и будут тебя уважать. Если кто-нибудь говорит, что протестовать бессмысленно, это значит, он просто боится. Но мы ему так не скажем, это было бы высокомерием. Мы скажем, что у каждого свой путь.

8. Заслуги человека определяются тем, какое он принял страдание. Мы заимствовали эту доктрину у христиан, как и многое другое. Мы никогда не задумывались, насколько нам подходят понятия чужой веры. Чувства подсказывают нам, что быть мучеником — хорошо. Это значит переложить вину на твоих мучителей, а самому уже ни за что не отвечать. Впрочем, даже мучителей надо жалеть и прощать. Ведь мы не можем платить им злом за зло? Они тоже люди, но у них другие взгляды.

9. Поскольку наши страдания зависят от *них*, то *они* и определяют наши заслуги. Достоинство человека определяется тем, сколько *они* дали ему лет. Это вроде ордена или почётного звания. Ты мало стоишь, если начальство тебя не замечает: значит, ты не высовываешься, потому что боишься. Но мы тебе так не скажем, это было бы высокомерием. Мы скажем тебе, что каждый решает за себя.

10. История инакомыслия состоит в том, что *А* протестовал против чего-то, и его посадили; Б протестовал против посадки *А*, и его тоже посадили; *В* протестовал, и т. д., ... ; начали издавать хронику нарушений советской законности, где было сказано, что *А*, *Б*, *В*, ... неправильно посадили; издателей хроники, в свою очередь, посадили и т. д. Таким образом, *мы* не делаем ничего плохого, а *они* причиняют нам зло. Весь мир видит, что мы — хорошие, а они — плохие.

11. Кое-кто говорит, что они — наши враги, что с ними надо бороться: не бояться причинять им зло, не облегчать им их грязное дело, и вообще считать себя в состоянии войны с существующей властью. Не слушайте этих людей, их надо остерегаться. Такая линия прямо ведёт к большевизму. На войне убивают противника, но ведь мы не можем их убивать? На войне прячутся от противника, но ведь мы не станем от них прятаться? Если кто-нибудь из наших выступает под псевдонимом, *они* глумятся. И Исаич тоже глумится. Поэтому протестовать надо с указанием всех данных: фамилии, имени, отчества, подробного адреса, а по возможности и телефона. Как только ты им понадобишься, они тебе могут позвонить. Мы всегда вежливы и любезны.

12. Опаснее всего — ставить себе цели. Поскольку любое учение

о человеческих делах заведомо ложно, человек, предлагающий вам какую-нибудь цель или спрашивающий, какие у вас цели, — это и есть носитель самого страшного зла. Ибо цели, как известно, оправдывают любые средства. Из целей вырастает доктрина, а доктрина имеет приверженцев и врагов, которые неизбежно организуются друг против друга. Где возникает организация, там начинаются интриги и борьба за власть, так что очень скоро сторонники этой доктрины начинают друг друга истреблять. Единственное, что можно делать вместе, — это вместе протестовать и вместе сидеть. Предварительные шаги на этом пути можно даже чуточку прикрыть от начальства, но при непременном условии завершить дело общим протестом и общей посадкой.

13. Мы уважаем советские законы. Некоторые думают, что это лишь тактический приём, чтобы лучше разоблачать начальство. Но мы не признаем никакого притворства. Мы в самом деле уважаем закон, по которому судят и убивают наших друзей. Дело в том, что у человека ведь должен быть какой-нибудь закон, иначе он впадает в самоволие, как об этом предупреждал Достоевский. В собственные нравственные силы мы не верим, нам нужен настоящий закон, записанный параграфами и статьями. Тогда будет точно известно, что можно делать, и чего нельзя: а иначе получается самоволие. И раз уж другого закона у нас нет, то мы уважаем советский. Впрочем, он не так уж плох, этот советский закон, в нём есть статьи против воровства и убийства и вообще много такого, как во всех кодексах мира. Закон в основном хороший, беда только в том, что его не соблюдают. Правда, есть там и плохие статьи, по которым нас сажают, но они противоречат конституции. Если же кто-нибудь станет говорить, что законы противоречат друг другу, и что их вообще невозможно применять, мы скажем ему, что это тоже правда. И поэтому надо протестовать.

14. Прошлое нашей страны вызывает у нас ужас, и особенно большевики. Всё, что мы видим кругом, — это прямой результат большевизма, и наши нынешние хозяева тоже большевики, или очень на них похожи. Большевики делали ужасные вещи, и мы не будем им подражать. Они верили в возможность сознательного изменения жизни, а мы *ни в какие* изменения не верим. Мы протестуем вовсе не потому, что надеемся что-то изменить! Целей и планов у нас нет, потому что от них недалеко уже и до *программы.* Большевики придумали также конспирацию и организацию. Мы всё делаем наоборот: мы не прячемся и ничего не пытаемся организовать. Нет, мы не похожи на большевиков: это *они* похожи, а не мы!

15. Наши протесты должна слышать мировая общественность. Правда, мы не очень знаем, что это такое, не различаем на Западе левых и правых, жуликов и энтузиастов. Но всё равно, надо проводить пресс-конференции. Весь мир должен знать, что *они* с нами делают. Может быть, им станет стыдно, или они устрашатся. Были ведь случаи, когда на Западе поднимался шум, и *они* кого-нибудь выпускали. *Они* боятся всякого шума, и, хотя это стыдно признать, мы пользуемся некоторой защитой, пока о нас шумят. В этом есть, конечно, что-то недостойное, особенно стыдно перед теми, кого сажают втихомолку.

16. Каждый из нас должен протестовать изо всех сил. А если сил уже не хватает, если они совсем уже не дают тебе протестовать, можно подумать об эмиграции. Каждый решает за себя. А там, на Западе, можно опять протестовать в эмигрантской печати. Главное, надо *протестовать*!

Ведь вы не думаете, что можно делать что-нибудь другое?

Виждь и внемли

Должен предупредить, что заглавие этой работы — единственное поэтическое место в ней, а повелительное наклонение заглавия — вовсе не обращение к читателю. Это слова бога, взывающего к своему пророку. Бог велит пророку видеть и слышать. И пророк понимает, что́ он видит и слышит. Но мыслить бог ему не велит, потому что мыслить пророку не надо. Ведь он простое орудие вселившейся в него воли, собственная же воля его, пожалуй, менее свободна, чем воля обыкновенных смертных. Кто верит в своё призвание пророка, может не задумываться, что́ он говорит: в нужное время придут к нему и мысли, и красноречие, и та особенная мудрость, какую завещал Христос своим апостолам в последнем напутствии. Если речь идёт о пророке, никто не задумывается, умный ли он человек в обычном, человеческом смысле слова. Речи обыкновенного смертного подвергаются неумолимому контролю здравого смысла, сопоставляются с известными фактами и одна с другой. Иное дело, если известно, что перед нами пророк господень. А узнать это можно по тому, что он творит чудеса.

В глазах современного общества мужество является чудом. Наш современник сопоставляет жизнь Александра Солженицына со своей собственной жизнью, его поступки со своими собственными возможностями — и приходит к выводу, что для объяснения такого явления, как Солженицын, недостаточно естественных причин. Более того, к такому выводу приходит и сам Александр Исаевич. Значение, которое он придаёт своему мужеству, презрительная снисходительность, с которой он ограничивает возможное мужество своих сограждан, не оставляют сомнения в том, что он воспринимает мужество вообще как редкий, особенный дар свыше, и удивляется этому дару в самом себе. Знание истории могло бы предохранить его от такого заблуждения. Задолго до нас бывали эпохи патологической трусости, но известны и времена, когда мужество было повседневной привычкой, а трусость преследовалась общим презрением. Знание истории могло бы внушить Александру Исаевичу большее уважение к человеческой природе, а чувство юмора — избавить от самолюбования. Но истории Солженицын не знает, а юмора ему трагически недостаёт.

Бесспорно, Александр Исаевич проявил мужество, необычное для его неверующих современников. Среди верующих это свойство

встречается сплошь и рядом, и он это знает. Нынешние неверующие, напротив, почти все трусливы и подсознательно убеждены в своей трусости, чем и объясняется культ Солженицына здесь и за границей. Поклонники Александра Исаевича не вызывают у него иллюзий: он знает им цену.

Люди, не верящие в чудеса и способные думать о чём-нибудь кроме собственного страха, не обязаны признавать Солженицына пророком. Они вправе спросить себя, кто этот человек, чему он учит, и чего он хочет для России. Затем они могут задуматься, не похоже ли его учение на что-нибудь известное, чему уже учили другие, и что́ вышло из этих учений. И, наконец, они должны уяснить себе, чего они хотят сами.

Мне трудно говорить, что́ я думаю об Александре Исаевиче, потому что я его когда-то любил. Но я обязан говорить о нём, потому что перестал любить его, и должен объяснить, почему. Александр Исаевич — высоко одарённый писатель, ему принадлежит бессмертная заслуга возрождения русской литературы. Литература не может существовать вне жизни, и никакое мастерство не способно создать писателя, если он не говорит правду. Сомнительно даже, бывает ли мастерство лжи: во всех известных мне случаях ложь очевидным образом бездарна. Незачем объяснять, насколько невозможна ложь для *русской* литературы. Условия прошлого века давали русскому обществу мало выходов в практическую жизнь, но оставляли почти свободный выход в литературу. Отсюда чудесное правдолюбие русской литературы, но отсюда же её учительная тенденция, столь удивляющая иностранцев. Пророки всегда говорили поэтическим языком, но поэты не всегда ощущали в себе пророческое призвание. Этого не было у Шекспира, не было у Гёте, и чтобы найти что-нибудь подобное духу русской литературы, надо вернуться к Данте, в мир средневекового человека. Наивная природа русского человека, не тронутая новой историей, восприняла её готовые плоды, и так возникла Россия. Так же возникла и русская литература. В откровенности её величие — и её соблазн. Русский писатель не может не говорить правду, всю доступную ему правду. И эту правду, виденную своими глазами, рассказал нам Александр Солженицын.

Помню, как я впервые о нём узнал. Перелистывая иностранную газету, я увидел какую-то беллетристику и хотел было её пропустить, но заметил русские имена, удивился и принялся читать. Это

был перевод “Ивана Денисовича”, часть перевода, попавшая в этот номер. Оказалось, что все уже читали это, говорили об этом, но до меня как-то не дошло. Я разыскал “Роман-газету” и испытал то неизбежное чувство причастности к изображаемой жизни, какое может вызвать лишь *современный* писатель, живущий здесь и сейчас, — чувство необычное, не данное в опыте нашему поколению. Это была *живая* литература, обращённая к нам, и явление её было странно, потому что не могло быть русской литературы, если не было России. Россия была удивительная страна, известная нам по книгам и рассказам стариков. Её не было больше вне нас, но мы знали, что несём её в себе. Каждый нёс в будущее свою долю России и думал, кому передаст свою ношу. Но мы не знали друг друга, не знали, что́ несут другие, что́ удалось спасти и что́ погибло. И вот оказался среди нас человек, не уронивший русское слово.

А потом явился Нержин, положительный герой нашего времени. Нержин, не просто спасавший собственное достоинство, но прятавший в лагерные щели листочки своего труда, где пытался понять, что́ было с Россией, и почему так было. В первом романе автор сохранил ещё мудрую умеренность художника и оставил нас в неведении об этом труде. Конечно же, это были мысли о русской истории, достойные Нержина, достойные Александра Солженицына. Как хорошо, что мы не знали тогда этих мыслей! Я отчётливо помню ощущение, вызванное у меня явлением Нержина. Думаю, то же испытали и другие читатели романа, глотавшие эти страницы, не зная друг друга, каждый в своём углу. Это было ощущение *человека, идущего впереди.* Человек нуждается в героях и вождях, и очень несчастен в такие времена, когда не видит перед собой достойного примера. Нет более тяжкого бремени, чем выработка собственных взглядов и поведения. Человек жаждет свалить это бремя на когонибудь другого. Хуже всего думать, что нет никого впереди, что никто не укажет дорогу. Это ставит человека перед строгой ответственностью, потому что в этом случае ведущим оказывается он сам. Как хорошо было думать, что впереди нас не пусто, что есть Нержин с его спрятанными листками!

А потом стало выясняться, что́ было написано на этих листках. Первым диссонансом были философские эссе, если можно назвать иностранным словом эти очень русские короткие разговоры. Был там разговор об утренней гимнастике, вызвавший у меня изумление своим комически поповским тоном. Я не любитель спорта, а если принять во внимание его зловредную роль в современном мире, то я ему прямо враждебен. Но гнев Александра Исаевича направ-

лен здесь не против советского спорта, а против человеческого тела. “Душу надо спасать, а *не* тело” — вот подлинная мораль этого разговора, восходящая к очень старой и очень вредной христианской традиции. Не думаю, что автор сознает свою мораль в этой её изначальной форме: вряд ли он отдаёт себе отчёт, насколько сильна в нём идея умерщвления плоти. Был там разговор о монастырях и о смерти, с очень сильным напоминанием об этом неприятном предмете. Здесь Александр Исаевич вполне прав: культура, желающая отмахнуться от смерти, долго прожить не может. Вообще, о смерти Солженицын говорит лучше, чем о жизни: вероятно, он больше о ней размышлял. И ещё там был разговор о грузовике, обличение грузовика.

Наконец, появился “Август”. Вряд ли стоит рассказывать, как Солженицын постепенно раскрывал перед публикой свои взгляды. Здесь не было внутреннего развития: однажды сложившись, эти взгляды уже не менялись, и не менялся человек. Я скажу дальше, как понимаю личность Александра Исаевича. То, что я собираюсь сказать, не будет ново для вдумчивого читателя, не связанного с идеологией русского национализма. Но я скажу это откровенно, без вежливых недомолвок. Писатель, выступающий в роли руководителя общественного мнения, активно занимающийся политикой вполне определённого направления, не должен ожидать любезностей от своих политических противников. Он может лишь рассчитывать на объективность. Постараюсь быть объективным, хотя, как я уже сказал, Александра Исаевича не люблю.

Прежде всего, Александр Исаевич человек сильных страстей. Он в высокой степени наделён способностью любить и ненавидеть — по законам психологии, это не две разных способности, а одна и та же. Но способность любить у него ограничена узким кругом его понятий, тем, что он приучился любить с детства. У немногих глубоко верующих людей эта способность драматически расширяется развитием их внутренней жизни, но большинство упрямо любит и ненавидит, как их однажды научили. Лев Толстой пытался любить всех людей и подавлял в себе ненависть к людям. Это не шло к его натуре, но он полагал, что обязан чувствовать, как христианин, как чувствовали немногие глубоко верующие христиане. Александр Исаевич чувствует, как большинство церковно верующих людей, не мучая себя сомнениями, кого он обязан любить и кого не должен

ненавидеть. Он из тех русских людей, кто преклоняется перед святыми, но не думает им подражать, как это проницательно описал Бердяев. Жизнь наложила отпечаток на чувства Александра Исаевича: он суров и, пожалуй, несколько мрачен. Церковь всегда опасалась мучеников — из-за их нелюбви к жизни, а также из-за их высокомерных притязаний. Нечто от этих свойств присуще и Александру Исаевичу, потому что он мученик. Мученик по привычке и убеждению, но не святой. Александр Исаевич находит, что сидеть в тюрьме может быть полезно. Тюрьма для него школа мужества, твёрдости духа и упорства, но не школа смирения и покаяния. Призывам к покаянию, исходящим от Александра Исаевича, я не верю, и дальше объясню, почему. Иначе говоря, Александр Исаевич ценит тюрьму, как средство воспитания характера. Это не христианский подход, а языческий и, в некоторой степени, спортивный.

Александр Исаевич любит Русь, но не любит Россию. Он любит всё архаическое и вообще всё старое, что ещё можно найти на Руси, но не потому, что его интересует история. Истории он не понимает, людей прошлого не видит, не способен написать никакого исторического романа, даже из нынешнего века. Привязанность Александра Исаевича к русской старине означает совсем другое: его неразрывную связь с племенной массой, с тем, что Ницше презрительно называл “стадом”, и что лучше понимали мудрецы прошлого, видевшие в человеке общественное животное. Трагедия Солженицына в том, что эта племенная масса, этот коллективный организм русского племени разлагается у него на глазах, и он лихорадочно цепляется за все дребезги прошлого, какие может заметить, заклиная время остановиться, вернуться вспять, чтобы никогда не было Возрождения, революций и отвратительного, но, увы, до мозга костей русского Петра Алексеевича, заварившего всю эту кашу.

Отсюда — из его любви — следует его ненависть: Александр Исаевич великий ненавистник. Он ненавидит всё, что подрывает, размывает, расшатывает русскую племенную массу, устоявшийся уклад русской жизни, русскую “культуру” в *этнографическом* смысле этого слова. Защита этой “культуры” от разрушающих её инородных элементов и составляет главное дело его жизни. И здесь мы видим корни не только русского, но любого национализма.

Немецкий национализм завершил уже тот путь, на который ныне вступает русский. Германия отстала от европейской истории и поздно включилась в концерт европейских держав. Столкнувшись с развитой и утонченной культурой своих соседей, особенно французов, немцы впали в состояние подавленности, неверия в свои силы, в

комплекс национальной неполноценности. Проникновение инородных элементов расшатывало немецкий быт, разрушало "культуру" немецкой отсталости, немецкого захолустья. Эту "культуру" поглощала многоязычная ярмарка больших городов, ей угрожала непостижимая универсальность науки и техники, её угнетала власть международных банков. Всё это воспринималось как гибель исконно немецкого, растворение немецкого человека в космополитической стихии. Наибольшей же опасностью казался красный Интернационал, прямо враждебный всякой национальной идее и обращавшийся к *простому человеку*: здесь подрывались уже самые корни национальной жизни.

Немецкий национализм был реакцией в защиту немецкой "культуры", в этнографическом смысле этого слова. Известно (и подробно изучено социологами), каким образом южногерманский, местечковый тип этой реакции породил немецкий фашизм. Всё это надо иметь в виду, чтобы понять, что́ любит Александр Исаевич, что́ он ненавидит, и что́ из этих вещей может выйти.

Аналогию можно проследить до мелких деталей, и все эти детали не случайны. Выражаясь научным языком, здесь глубокое совпадение психологических и социальных механизмов. Но прежде чем осудить всё это, постараемся понять. Подумаем, нет ли в этой отсталой и опасной идеологии некой человеческой правды и тем самым — исторического смысла. И тогда "реакция" может оказаться не просто бранным словом, а реакцией в прямом смысле этого слова, естественным противодействием некоторой части человеческого существа подавляющей её силе — противодействием, законным по происхождению, но впавшим в отчаяние и вступившим на ложный путь.

Для этого надо оценить совокупность явлений, обычно называемых шаблонным термином "прогресс". Слово это принимается некритически. Для большинства людей оно означало — и продолжает означать — нечто очень хорошее и желательное: продвижение к лучшему будущему, когда все будут сыты и довольны, когда все потребности человека будут удовлетворяться нажатием кнопки, когда будут побеждены болезни, исчезнут страдания, а может быть — от улучшения человеческой природы или с помощью кибернетики — даже не станет смерти. Всех этих благ люди ожидали от совершенствования человека и развития человеческих учреждений; теперь же, когда вера в то и другое почти исчезла, а сохранилась лишь

вера в непосредственно ощутимые материальные вещи, этих благ ожидают от развития науки и техники. “Прогресс” обзавёлся двумя обязательными прилагательными и теперь именуется “научно-техническим прогрессом”.

Реакция против этой “религии прогресса” вдохновлялась, прежде всего, традиционной религией, имевшей совсем иную концепцию человека. Религия учит, что человек слаб и порочен по своей природе, потому что испорчен первородным грехом; что страдания и смерть неизбежны, потому что человек согрешил против бога; что лучшее будущее для отдельной личности находится по ту сторону гроба, а всему человечеству в целом предстоит страшный суд, после чего для немногих праведных устроится Тысячелетнее царство на земле, и править им будет Христос; а потом, под водительством Христа, праведники пойдут в рай.

При всей видимой несовместимости этих мировоззрений, они вовсе не отделены непроходимой пропастью, а теснейшим образом связаны между собой. Более того, известно, что первое из них прямо произошло от второго. Если взять марксистскую версию прогресса, то коммунизм оказывается при ближайшем рассмотрении трансформацией Тысячелетнего царства, праведники превращаются в сознательных пролетариев, а первородный грех становится частной собственностью на средства производства. Каждый историк знает, что эти черты сходства не случайны, а объясняются генетически, через последовательность хорошо изученных переходов: “утопический коммунизм” представляет в этой истории вымершую промежуточную форму, а разные течения христианского социализма подобны реликтовым видам, сохранившим атавистические черты своих предков. Даже самая концепция прогресса зародилась в лоне иудео-христианской религиозной мысли. Языческим культурам древности было чуждо представление о поступательном ходе истории, об историческом развитии. Достаточно вспомнить неподвижный космос египтян или греческую философию вечного повторения. Первые зародыши “религии прогресса” можно найти у еврейских пророков: это будущий мир, где люди перекуют мечи на орала, где хищники и их жертвы будут жить в мирном сосуществовании. Здесь Золотой век помещается уже не в начале истории, как это было у язычников, а в её конце. Затем является идея Тысячелетнего царства, идеал подражания Христу, то есть совершенствования человека с приложением его сознательных усилий, и идеал монастырской жизни, уже содержащий в себе Телемское аббатство. Всё это нетрудно проследить. Почему же нынешние верующие, а также нынешние

неверующие, смехотворно подражающие мёртвым для них формам мышления, столь яростно ополчились на идею прогресса? В чём причина столь очевидной *реакции*?

Чтобы понять это, надо прежде всего видеть, что история человечества есть *процесс изменения*: меняются тип человека и условия его общественной жизни. Последнее не оспаривается никем, а в отношении человеческого типа можно, конечно, услышать возражения, поскольку верующие и все, кто им подражает, склонны преуменьшать культурное наследие человека и подчёркивать биологическое. В каждом из нас сидит, конечно, ветхий Адам, со всеми свойствами, какие он получил от дьявола в роковой день грехопадения, или, по другой теории, унаследовал от обезьяны. Но если даже признать неизменность биологической природы человека, что вызывает в последнее время серьёзные возражения, то невозможно оспаривать различия между современным человеком и прошлым. Нынешнего русского человека трудно представить себе православным мужиком, хранящим свою сермяжную правду; для этого надо быть очень старым, прожив всю жизнь в Париже, или впасть в благочестивый обман, как это делают Солженицын и его друзья. Мы можем ещё представить себе русского человека православным, и даже непременно представляем его православным, когда ещё можно было назвать его русским. Но можем ли мы вообразить новгородцев, сбегавшихся на звук набата, чтобы не дать в обиду старых богов? Русские не всегда были православными, и уже перестали быть, понимает это Исаич или нет. Можно, конечно, не настаивать на религии, ссылаясь на "мистическое тело нации"; мистики этого рода, и с теми же аргументами, некогда распяли Христа.

Но я отвлёкся от моего предмета. Так вот, история состоит в том, что времена меняются, и с ними меняется человек. Конечно, при этом не вся масса людей меняется одинаково быстро: впереди идут, если так можно выразиться, энтузиасты и разносчики прогресса, а за ними поспевает, как может, инертная масса обыкновенных людей. Трубадуров прогресса не так уж много; естественно, они считают себя элитой, солью земли, а отстающих собратьев презирают. Между тем, эти отстающие собратья тоже хранят некую правду: они хранят святое недоверие своей культуры к опасным новшествам, могущим её расшатать. В них здоровье культуры, её устойчивая норма, и масса эта инстинктивно боится не испытанных на опыте идей, лихорадящих передовую элиту. Трагедия массы в том, что она не может выразить и развить свою правду: люди, способные производить и формулировать идеи, фатальным образом оказыва-

ются в партии прогресса, забегают вперёд и доводят до последней крайности модную доктрину, между тем как идеологи компактного большинства, консерваторы и ретрограды, разделяют со своей публикой посредственные способности к мышлению и нехитрый набор ходячих идей.

Я не собираюсь развивать здесь подробнее философию истории, а выбрал из неё лишь несколько очевидных наблюдений, слишком часто упускаемых из виду. Культура, о которой идёт речь, справедливо называется *христианской.* От неё происходит наша совесть — понимание долга перед людьми и собой, наша способность к глубоким психическим состояниям греха и благодати, даже самое понятие *Человека* — не раба и не воина, не еллина и не иудея, а Человека вообще. Здесь не важно, был или не был человек Иисус: это символ глубочайшей перемены в истории, а перемена эта бесспорно была — иначе не было бы нас. Надо быть очень глупым рационалистом, чтобы всё это отрицать, и я не предполагаю моего читателя рационалистом этого рода. Христианской культуре две тысячи лет, и теперь она рушится у нас на глазах. Рушатся самые основы той Западной цивилизации, о которой болтают все глупцы Америки и Европы. Вместе с христианской моралью, с христианским складом души исчезает самая основа трудолюбия и приличного поведения, основа отношений между мужчиной и женщиной, между отцом и сыном. Всё это вынужден признать и неверующий — если он видит и слышит. Он видит, что рушится не только Западная цивилизация, но и все другие. Но если сам он вышел из христианской традиции, то невольно повторит строки поэта:

Eh bien! Qu'il soit permis d'en baiser la poussière
Au moins crédule enfant de ce siècle sans foi,
Et de pleurer, ô Christ, sur cette froide terre
Qui vivait de ta mort, et qui mourra sans toi!

(Что ж, да будет позволено облобызать этот прах / самому неверующему сыну этого века, лишённого веры, / и плакать, о Христос, на этой холодной земле, / которая жила твоей смертью и умрёт без тебя!)

По-видимому, мы зашли в тупик с нашим прогрессом. Марксизм, последняя ересь христианской религии, продержался недолго и опорочен кровавыми экспериментами. Последняя вспышка пламенной веры сменилась общим равнодушием к какой бы то ни было идеологии, да и вообще ко всем сложным и высоким идеям. На смену им вполне закономерно выступили совсем простые идеи, *низменные* с

точки зрения наших предков. Психологи, наблюдая такое явление в жизни индивида, назвали это *регрессией*: человек, испытавший глубокое потрясение, теряет приобретения зрелого возраста и возвращается к привычкам своего детства. История двадцатого века есть история двух великих регрессий: возвращения к культу вещей и культу крови.

Опаснее культ вещей, потому что он всем доступен и не требует жертв. Я назвал бы его Опасностью номер один. Наш враг номер один — американизация жизни. Но нельзя говорить обо всем сразу. Я буду говорить дальше о культе крови: это Опасность номер два.

Масса, отстававшая от прогресса, всегда держалась традиционных взглядов. Это было возможно до тех пор, пока традиция была жива и могла воспроизводиться в новых поколениях. В этих условиях инерция массы была полезна для человечества, подобно балласту, нужному для устойчивости корабля. Можно сказать, что голос народа был в общественной жизни голосом здравого смысла, и воспринимался он, естественно, как глас божий. Всё это возможно было, пока традиция была жива. Но вот традиция умерла, вместе с христианской культурой. Её убила, в конечном счёте, наука, закономерно порождённая этой же культурой, а затем спущенная в народные массы в виде нескольких очень банальных мифов. Тогда народная культура стала быстро разлагаться; продукт этого разложения мы назовём, следуя Герцену, *мещанством*. Конечно, у мещанства есть общие признаки, и не обязательно связывать это понятие с особыми русскими чертами, как это сделал впоследствии Максим Горький; но для нашей цели важно как раз горьковское мещанство, взятое в следующей, советской стадии его разложения. Потому что Александр Солженицын — идеолог современного русского мещанства.

Он представитель мещанской массы по своим идеям, но, конечно, не типичен для неё своей личностью и поведением. Масса эта может найти себе идеологию только в прошлом, и доставить ей нужную идеологию могут лишь наиболее сильные её представители, то есть люди, крепче всего укоренившиеся в этом прошлом. Таким человеком и является Александр Солженицын, идеология же его, как мы увидим, изготовлена из некоторой дореволюционной философии.

Затрудняюсь придумать ей название: "культ крови" звучит очень уж торжественно и подходит скорее для переходных явлений вроде немецкого фашизма, когда от традиции сохранялось ещё достаточно много, и мещанин был ещё достаточно крепок, чтобы всё это натворить. Я буду называть идеологию Александра Солженицына,

как он назвал бы её сам — русским национализмом. Как я раньше сказал, русский национализм вступает теперь на путь, уже пройденный немецким, но не думаю, чтобы ему удалось этот путь пройти. К истории приложима старая мудрость: что в первый раз было трагедией, во второй раз оказывается фарсом. Это не значит, конечно, что русский национализм не способен вредить.

Поскольку мещанство несёт в себе остатки христианской культуры, хотя бы в разрозненном и примитивном виде, вполне естественно, что мещанская реакция на распад этой культуры кое в чём заслуживает уважения. Прежде всего здесь надо сказать об отношении к так называемой "сексуальной революции". Конечно, в этом Александр Исаевич особенно расходится с *нынешней* разновидностью русского мещанства: он принадлежит по своему эмоциональному складу к самой "отсталой" его части и, следовательно, к самой лучшей.

В основе всякой культуры лежит система ограничений, задерживающих удовлетворение инстинктов. Развитие культуры состоит не в освобождении от этих ограничений, а в их усложнении; различие дозволенного от запретного углубляется, органически связываясь с первичными ценностями культуры. Если ограничения просто снимаются, то культура гибнет.

Христианская культура ограничивала поведение человека системой жёстких запретов. Особенно сильно отразились эти запреты на положении женщины: христианство завершило её порабощение, надолго укрепив господство мужчины — патриархат. Этой ценой утвердилась христианская семья, строго моногамная и подчинённая власти мужа. Невозможно оспаривать историческое значение семьи: она была основной ячейкой культуры, в ней передавалось культурное наследие, в ней воспитывалось человеческое поведение: способность любить, способность переносить лишения, мужество и трудолюбие. Мы не придумали другого механизма для выполнения этих функций, взамен разрушенной семьи; впрочем, такие механизмы и не придумываются, а возникают эволюционным путём, как и все механизмы жизни.

Христианская семья была основой культуры и наложила на эту культуру свой отпечаток. Умерщвление плоти, бегство в монастыри, психические эпидемии — в том числе охота на ведьм — все эти виды отчуждения женщины прямо связаны с её новым историческим

поражением. Христианство принесло в Европу ближневосточные взгляды на женщину, и даже не ветхозаветные, а гораздо худшие, с неподражаемой поповской ограниченностью выраженные апостолом Павлом: женщина воспринималась как полезное животное, наделённое разумом, насколько это нужно для работы, и способностью любить, но только мужа и детей. В этом было грубое непонимание человеческой природы, потому что человек — и мужчина, и женщина — наделён разумом, не знающим границ, и способностью любить, не поддающейся регламентации.

Вначале богословы сомневались даже, есть ли у женщины душа. Можно себе представить, что получилось бы из отрицательного решения этого вопроса; к счастью, отцы Маконского собора, большинством в два голоса, всё же оставили женщине душу. Мы не отдаём себе отчёта, насколько глубоко порабощение женщины в западной культуре, и склонны обличительно кивать в сторону восточной. Рабство женщины хуже рабства негров. По-видимому, главная беда негров не в том, что белые считают их хуже себя, а в том, что они в это уверовали сами. Всего несколько веков отделяет чёрного человека от встречи с его белым собратом, между тем как женщина верит в свою неполноценность уже много тысячелетий. Она верит в свою "женственность", то есть слабость и умственную незрелость, нуждается в руководстве, претендует на инвалидные льготы. Не только в общественной функции, но и в подсознательном самопонимании она совмещает роли человеческого существа и товара. Исторические черты, присущие её положению в *патриархальной* культуре, воспринимаются как биологически неизбежные законы: из того, что мужчина не может рожать детей, выводится, что женщина должна мыть посуду.

К счастью, положение женщины в западной культуре не вполне зависело от апостола Павла. Была ещё варварская традиция, отводившая женщине более важное место, и из этой традиции вышло рыцарство с культом Прекрасной Дамы, менестрелями и любовными турнирами. Это был патриархат, ограниченный красотой: он навязал самому христианству культ святой девы. Отсюда произошла любовь между мужчиной и женщиной, или, если надо ещё раз подчеркнуть, о какой культуре идёт речь, — *романтическая* любовь. Девятнадцатый век видел высший расцвет романтической любви и начало её упадка, а наш двадцатый уже с трудом понимает, что значат эти слова.

Идеал новой семьи, основанной на равенстве и любви, не мог быть осуществлён в одно поколение: для этого нужен был новый

тип женщины и новый тип мужчины. Новая семья могла возникнуть лишь путём развития, а не разрушения старой. Но в начале двадцатого века западная культура стала стремительно разрушаться, а с нею и семья, и любовь. Это привело к радикальному упрощению человеческих чувств, известному под именем "сексуальной революции". Поскольку вместе со всей культурой снижался и человеческий тип её идеологов и публицистов, то не удивительно, что модные мыслители Запада усмотрели в "сексуальной революции" великое достижение прогресса, окончательное освобождение Эроса от тысячелетних предрассудков и запретов.

Но *всякая* культура держится на строгой системе ограничений, отсрочивающих выполнение желаний. Нет сомнений в том, что без такой системы просто невозможно биологическое выживание человека. Как показали зоологи, задержки этого рода существуют у всех высших животных и составляют у каждого вида стройную систему поведения. В частности, у каждого вида высших животных существуют весьма сложные, выработанные эволюцией ритуалы "ухаживания" и "брака". В этом смысле культура подобна сложившемуся виду, и это более чем аналогия: в действительности система поведения представляет столь же неотделимую характеристику вида, как и его физическое строение, так что мы имеем здесь частные случаи общего понятия. Распад культуры вполне аналогичен тому упрощению поведения, какое наблюдается при *одомашнении* животных. К сожалению, это сравнение — не полемическая крайность, а результат тщательного исследования действующих в обоих случаях механизмов, обнаружившего далеко идущий параллелизм между приручением животных и идущим теперь превращением человека в нечто вроде домашнего скота. Пожалуй, "положение человека" в наше время ещё хуже положения скота, поскольку половое влечение действует у человека круглый год и повсюду используется как средство "разрядки" нервной системы, а это доводит распад личности до уровня автомата.

Естественно, такое развитие нравов вызывает не только одобрение, но и некоторую оппозицию. Поскольку передовые мыслители эпохи восторженно поощряют все виды освободительного движения, то оппозиция исходит преимущественно от так называемых "консервативных слоев", то есть от "отсталых" групп современного мещанства. Такая *мещанская* оппозиция современному образу жизни неизбежно принимает вид ностальгии о прошлом, стремления вернуться в прошлое, со всеми его хорошими и дурными чертами, и прежде всего — с патриархальным взглядом на женщину и семью.

Романтическая любовь мещанина не увлекает: он видит в женщине не Прекрасную Даму, а *хозяйку.*

Александр Исаевич яростно не приемлет "сексуальную революцию". Он видит её повсюду, проникшую во все слои общества и отравляющую все источники жизни, он ощущает её как порчу, разложение естественного порядка вещей. Этим естественным порядком оказывается, конечно, патриархальная семья. Мещане нападают на "эмансипацию" женщины с помощью аргументов, издавна применяемых для обоснования сегрегации негров. Нам говорят, что каждый пол по своему хорош, но сама природа сделала их разными, и каждому должна быть отведена отдельная сфера. Если женщина проявляет страстную любознательность, дорожит своей работой, добивается экономической независимости — всё это объявляется сексуальной патологией. Мещане бывают разные, это не только простые обыватели, но, равным образом, джентльмены и поэты, они могут выражать свои чувства прозой и стихами. Джентльмены хотели бы видеть женщин в гостиной, но для подавляющего числа женщин популярный лозунг означает: назад, на кухню! Сторонники этого взгляда не затрудняют себя вопросом, какие гены в самом деле сцеплены с полом. Рассуждения их выражают совсем иную биологию: неумение справиться с женщиной и возникающий отсюда комплекс неполноценности мужчины.

Для Александра Исаевича всё это, пожалуй, не так просто. На него всё же повлияла романтическая концепция любви. Но в своей семейной философии он не романтик, а натуралист. И я удивляюсь, увидев в числе его почитателей женщин — работающих женщин, нередко любящих своё дело. Ведь согласно этой философии их место — на кухне. Иные женщины говорят на это, что не желают ничего другого и охотно бросили бы работу. Я заметил поразительное совпадение: это в точности те дамы, которые прочно держат своих мужей под каблуком.

С философской точки зрения, кухонная работа одинаково доступна обоим полам; но говорят, что лучшие повара, всё-таки, мужчины.

Другая важная сторона в мировоззрении Александра Исаевича — его отношение к труду. В этом он очень консервативен, представляя почти исчезнувшую установку. У нынешнего русского мещанина традиционное отношение к труду почти исчезло, хотя и одобряется на словах. Если у человека недостаёт ловкости устроиться в какую-

нибудь канцелярию, если он слишком инертен и следует родительскому примеру, то ему приходится “вкалывать”, идти по утрам на работу и выполнять тем самым неизбежные телодвижения, но он этой работы не любит, да и вообще не любит уже никакого труда. Если же он смолоду попал в канцелярию, то никакого труда и не знает: у него вырабатывается психология паразита и вора. От такой психологии вовсе не свободен и труженик, рассматривающий государственную собственность как лежащее без присмотра бесхозяйное имущество. Растаскивается всё, что можно стащить, и кража так называемого общественного достояния не рассматривается как воровство. Явление это не ново. Положение собственности всегда было двусмысленным в такие времена, как наше. Когда вся страна объявляется собственностью государства, племени завоевателей или царя, то управление землёй, промыслами и торговлей поручается назначаемым для этого военачальникам или чиновникам. Формальное право собственности за ними не признается, но молчаливо предполагается, что каждый будет грабить и красть в пределах своей власти. Со временем кражу освящает обычай, а право управления становится наследственным: так возникает феодализм. Так было в Египте Птолемеев, в средневековой Европе.

Если и в самом деле нет никакого прогресса, если верно, что история вечно повторяется, то наше начальство должно превратиться в аристократию: потомки наших директоров и завхозов, проникнувшись собственным достоинством и укрепившись в своём праве, превратятся в графов и баронов. Но при виде их родоначальников, завладевших этой страной, приходит на память древняя эпиграмма:

> ...Худшие люди над лучшими здесь одержали победу.

У нашего времени есть, однако, и особенные черты, не имеющие исторических аналогий. После самых кровавых завоеваний и переворотов сохранялась первоначальная ячейка общества: семья, деревенская община, прямая связь человека с землёй и ремеслом. Сверху менялись господа, но снизу оставался труд, необходимый для пропитания семьи, — следовательно, осмысленный труд. Никогда не было так, чтобы *каждый* труженик превратился в чиновника, исполняющего назначенную ему функцию в государственном аппарате и получающего установленное жалованье. Никогда не было так, чтобы распределение благ вовсе не зависело от выполненного труда, а определялось бы лишь *статусом*, местом человека в ранговой системе. Мы приближаемся к беспримерному, не известному истории общественному устройству — *абсолютной бюрократии*. На

Западе происходят те же явления, хотя и в менее выраженном виде. Окончательным итогом этих процессов будет, как полагают, вполне механизированное общество, которое Достоевский назвал "муравейником", а Хаксли изобразил в романе "Прекрасный Новый Мир".

Но этого не будет. Не будет потому, что человек не годится для такой машины, не может быть её строительным элементом. Человек — не муравей. Колонии "государственных насекомых" состоят из организмов, не способных к отдельному существованию; муравей — не личность, и вернее было бы считать всю колонию единым организмом. На старинной иллюстрации к Гоббсу можно видеть Левиафана, гиганта, сплетённого из человеческих тел. Есть много причин, почему не может быть Левиафана, но полное обсуждение этого вопроса завело бы нас слишком далеко. Одна из причин в том, что человек, низведённый до положения муравья, не способен к труду. Человеческий труд должен иметь смысл. Простейший вид осмысленного труда — труд для собственного пропитания или пропитания семьи, труд, непосредственно связанный со своим объектом, с собственной землёй, с предметом, возникающим под собственными руками. В этом простейшем смысле труд был доступен большим человеческим массам, и в этом смысле понимает его Солженицын. Одна из сильных сторон Александра Исаевича — понимание глубокой человеческой потребности в труде. Все помнят сцену из "Ивана Денисовича", где эта потребность проявляется в предельно бессмысленной лагерной работе. Лагерное население состояло тогда большею частью из тружеников, оторванных от земли и станка, но сохранивших привычку к работе, рабочие навыки, исстрадавшихся по настоящей работе. Беда в том, что *теперь* таких наберётся немного — хотел было сказать, не хватит и на один лагерь, но всё-таки — больше.

Человеческий труд прекрасен и в этом ограниченном его понимании, но самая ограниченность является характерно мещанской. Нельзя сказать, чтобы Александр Исаевич совсем уж не видел других сторон этого предмета. Как это ни странно, он уважает технику: после обличения автомобиля можно было бы ждать от него последовательного толстовства в отношении всяких машин. Как все русские крестьяне, попавшие за границу (а надо признать в Александре Исаевиче крепкую крестьянскую основу), он поражён был солидной хозяйственностью немецких деревень. У него есть техническая жилка, он любит хорошо слаженные механизмы. Более того, он уважает немецкую организацию: в этом проявляется его любовь к порядку, заслуживающее полного уважения наследие хозяйственного мужика. Беда Александра Исаевича в том, что он не верит в

осмысленный *общественный* труд. Для этого поистине нужна вера, после всего, что мы видели и видим каждый день. Неверие же, как всегда, бессильно, и вот Александр Исаевич, пытаясь соорудить некий трудовой план, забавным образом соскальзывает на советские рельсы. Он хотел бы соединить немецкую деловитость с русским православным размахом. Он хотел бы направить бригады русской молодёжи на освоение Северо-Востока: как видно, его позитивные идеалы не идут дальше того же БАМа, в православном варианте. Всё это не только забавно, но и опасно, потому что — под другой вывеской — подозрительно похоже. Ведь если русские юноши не захотят добровольно осваивать Воркуту и Колыму, то поклонники Солженицына могут, уже не спрашивая его согласия, устроить православный Архипелаг.

Я перейду теперь к самому тяжкому прегрешению Александра Исаевича перед любившим его читателем — к его безудержному шовинизму. Здесь мы имеем случай безусловной регрессии. Самый язык этой идеологии подозрительно знаком. Все эти “национальные цели”, “национальные идеалы”, “национальное возрождение” звучат, как перевод с немецкого. И если даже можно найти для всего этого русский источник, то перед нами, без сомнения, тот же язык.

Люди всегда соединялись в группы, общины, организации, чтобы вместе жить и вместе противостоять другим. Деление людей на партии вовсе не выдумано большевиками, оно древнее человека разумного и практиковалось ещё человеком неразумным. Членов собственной партии нельзя было есть, а представителей враждебной полагалось съедать с соблюдением церемоний. Нельзя, конечно, рассчитывать, что и в самом далёком будущем люди перестанут делиться на группы, но можно надеяться, что способы их обращения друг с другом значительно смягчатся: ведь мы и сейчас уже не едим своих врагов.

Древнейший способ соединения людей был племенной: люди общего происхождения составляли союз, и это помогало им выжить. Естественно, они приписывали своему племени все достоинства, а другим племенам все пороки, и такая установка, конечно, древнее членораздельной речи. Иначе и не могло быть — лишь полное отчуждение от инородного человека могло вызвать необходимый прилив адреналина в момент, когда надо было раскроить ему череп. Древнюю историю заполняют племенные распри, а древние религии

были для людей одного рода. Христианский бог начал своё поприще в качестве племенного бога евреев.

В конце древнего мира возник другой способ соединения людей — универсальная религия. Для неё не было племенных границ, не было "ни еллина, ни иудея". В средние века религия стала силой, связавшей европейские племена: весь христианский мир считался единой семьёй, с духовным руководством в виде единой церкви, и этот христианский мир противостоял миру неверных, рассматриваемых как люди низшего сорта, или почти не люди. Религия не сняла племенные различия, но смягчила конфликты между народами, наложив на прежнее деление людей другое, считавшееся более важным.

В конце средних веков этот способ деления людей стал сменяться новым: люди начали соединяться по своим убеждениям. Этот способ требовал от человека большей личной энергии, чем религия, которой можно было послушно следовать, или племя, в котором достаточно было родиться. В девятнадцатом веке личные убеждения человека стали важнее, чем религия и племя, в которых он явился на свет. Считалось — и особенно в России — что человек должен сам вырабатывать своё мировоззрение, а не брать его готовым. Конечно, это пожелание трудно было исполнить, и человек примыкал обычно к одной из существовавших "идеологий": прошлый век был "веком идеологии". Но каждый должен был сам делать выбор.

Три стадии развития общества, описанные выше, по традиции называются: древность, средние века и новое время. Можно спорить, где они переходят друг в друга, но самое деление истории на три эпохи имеет глубокий смысл. Мы выбрали здесь очевидную характеристику, различающую эти эпохи: способ соединения людей в противостоящие группы. На заре нового времени был еретик, итальянский монах Джоакино дель Фьоре или, иначе, Иоахим из Флориды. Он учил, что вначале было царство Отца, затем царство Сына, а теперь (в тринадцатом веке) наступает третье и последнее — царство Святого Духа. Многим из наших современников слишком трудно жить в этом царстве Святого Духа, их тянет обратно, в ветхозаветное царство Отца. Это и есть "кризис идеологии".

"Идеология" — это система взглядов, пытающаяся объяснить мир и понять человека, а затем, исходя из этого понимания, объяснить человеческое общество и историю, представить себе лучшее будущее человечества и указать к нему путь. Можно спросить себя, чем идеология отличается от философии? По-видимому, у философии тот же предмет, и различие не в содержании, а в качестве

и эмоциональной установке. Можно сказать, что идеология — это прикладная популярная философия, сдобренная намеренным или невольным шарлатанством. Я уже говорил, что наука, спущенная в народные массы, превратилась в несколько примитивных и вредных мифов. То же случилось и с философией: она превратилась в идеологию. При таком превращении по необходимости отбрасывается всякий скепсис, потому что средний человек жаждет не понимания, а спасения. Далее, философия упрощается, чтобы сделать ее общепонятной: выбрасываются все тонкости, доказательная часть заменяется назойливым повторением выводов, а критическая — бранью по адресу любой другой философии, изображаемой в виде карикатуры. Наконец, в этой упрощённой философии резко подчёркивается — или искусственно к ней пристёгивается — оптимистическая панацея от всех бедствий, единственно правильный план общественного спасения. Это объясняется с обезоруживающей откровенностью в подлинном тексте "Интернационала":

> Il n'est pas de sauveurs suprêmes:
> Ni dieu, ni césar, ni tribun;
> Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes!
> Dé crétons le salut commun!

(Нет верховного спасителя,/ни бога, ни цезаря, ни трибуна;/ трудящиеся, спасём себя сами,/*декретируем* общественное спасение!)

В последние сто лет господствующей идеологией был социализм. В своей первоначальной западной форме эта идеология достигла серьёзных успехов в некоторых странах Европы, в особенности в Скандинавии; она зашла в тупик, потому что в ней осталось очень уж мало философии и, достигнув ближайших экономических целей, она попросту не знает, что ей дальше делать. В Италии и Германии возникли гибридные идеологии, пересадившие некоторые догмы социализма на почву регрессивного племенного сознания. В России же, а затем в Китае, идеология социализма, привитая к наивному сознанию народов иной исторической судьбы, более или менее затронутых, но не проникнутых европейской цивилизацией, произвела самые разрушительные воздействия, потерпела поражение в своих интернациональных планах, и теперь ищет спасения в той же племенной регрессии.

Естественно, "кризис" идеологии рассматривается как кризис человеческого разума, дискредитирующий идею прогресса. *Сознательное* вмешательство человека в общественные дела объявляется недопустимым самоволием; рекомендуется вернуться к формам

человеческих отношений, установленным богом. Иначе говоря, законными объявляются лишь те учреждения, происхождение которых теряется в доисторической мгле: племя и племенной вождь, преемниками которых считаются национальное государство и самодержавная монархия.

Так возникает новая идеология — *идеология поражения человека в его исторической борьбе.* Я займусь дальше философией, из которой она произошла: это известная религиозная философия начала века. Конечно, исходная философия никогда не была так примитивна и прямолинейна. Солженицын так относится к Бердяеву, как Ленин к Марксу. С той разницей, что Ленин всегда ссылается на учителя.

Но вернёмся от философии к литературе. Главное течение русской литературы всегда было проникнуто гуманизмом, сочувствием к униженным и оскорблённым. Ему чуждо было национальное высокомерие, национальная исключительность. Иначе и не могло быть, потому что в основе русской литературы было христианское отношение к человеку, унаследованное из двух источников: из русской религиозной традиции и из европейских либеральных и социальных доктрин. Вряд ли надо объяснять, как эти источники слились воедино у Щедрина, с его фурьеризмом, или у Толстого, с его поисками универсальной правды во всех религиях. Человек, к которому обращалась русская литература, был русский интеллигент.

Солженицын к этому главному течению русской литературы не принадлежит, потому что он не интеллигент и не гуманист. Конечно, в манере письма, в технических приёмах Александр Исаевич происходит от классической русской литературы. Иногда он кажется сам себе старомодным и затевает смешные формальные эксперименты, но провал этих затей лишь подчёркивает его техническую традиционность. Есть и более важная зависимость Александра Исаевича от русской литературной традиции: его серьёзное отношение к писательскому ремеслу. Он очень далёк от игрушечной литературы нынешнего Запада, развлекающейся обыгрыванием изолированных фрагментов действительности или любительской психиатрией. Он верит, что литература — серьёзное общественное дело, веру эту он унаследовал у старых русских писателей и воплотил в своих лучших работах. И всё же подлинным наследником русских классиков его считать нельзя. Для этого Солженицыну недостаёт самого главного: ему недоступно духовное содержание русской литературы, потому что он не свободен духовно, порабощён мещанским сознанием. До подлинной любви к ближнему он не дорос. В идейном смысле Сол-

женицын продолжает Достоевского — вернее, худшее, что было у Достоевского, и что не получило до сих пор ясной оценки. Бердяев видел это в Достоевском, но недооценил и не проследил до конца: не удивительно, потому что критическое отношение к предмету предполагает известную подвижность по отношению к этому предмету, возможность посмотреть на него с разных сторон, а это неудобно, если стоишь перед ним на коленях. Дело в том, что Достоевский происходил из мещанской среды и был неизлечимо поражён мещанскими вкусами и предрассудками. Отсюда его столь редкое в русской литературе залихватское презрение к инородцам, всюду пробивающееся в его романах и составляющее юмористическое сопровождение к основной мелодии — к его истерически неуверенному, претенциозно вымученному христианству. Были у русских литераторов и вещи похуже, на грани литературы и доноса. Я имею в виду не "Бесов", а другое, неохотно вспоминаемое дело. Начал это дело известный русский писатель и автор знаменитого словаря Владимир Даль. Датчанин по происхождению, он был крупный чиновник и неистовый русский националист. Чувство это шло иногда вразрез со службой, поскольку самодержавие подозрительно косилось в ту пору на такую слишком уж крикливую народность. Легко догадаться, что Даль был антисемит. Он собрал всевозможные свидетельства о ритуальном употреблении христианской крови, не брезгуя мифами средневековья и отдав должное реликтовым процессам восемнадцатого века; сочинение это было напечатано в небольшом числе экземпляров, как теперь сказали бы, для служебного пользования. Брошюра была вручена государю, членам царской фамилии и Государственного совета. Николай Павлович не счёл эту инициативу заслуживающей внимания, но сочинение Даля не осталось неизвестным русской публике: впоследствии оно было дважды перепечатано, в первый раз в журнале "Гражданин" в конце семидесятых годов, незадолго до первой в России волны еврейских погромов. Достоевский был сотрудником и одно время редактором этого журнала, а о направлении его можно узнать по "Дневнику писателя", где при всякой возможности прорывается свойственный этому автору неудержимый, как теперь сказали бы, зоологический антисемитизм. Конечно, нельзя усмотреть здесь прямую связь с погромами, но, как всегда думали русские интеллигенты, вопрос об ответственности писателя этим не снимается. Я позволю себе присоединиться к их мнению.

Мы видим, что русская литература не всегда была на стороне униженных и оскорблённых. Были в ней и другие тенденции, во-

все не христианские, и даже не гуманные, а близко подходившие к тому, что русские интеллигенты называли впоследствии “кровавым наветом”. Усилия Даля и Достоевского, в конечном счёте, едва не увенчались успехом: в начале двадцатого века Россия увидела ритуальный процесс средневекового типа, и если бы не сопротивление тех же русских интеллигентов, то увидела бы и средневековый приговор. Было в русской литературе такое, почти забытое течение. И вот является Солженицын со своей версией русской революции, которая оказывается вовсе не русской, а еврейской.

Если верить описанному в “Цюрихе”, то непонятно, почему Александр Исаевич призывает Россию к покаянию: ей отводится роль беззащитной жертвы некоего зловещего заговора. История представляется в виде жуткого детективного романа, имитирующего известные образцы этого жанра. Я имею в виду “Протоколы сионских мудрецов”, состряпанные в русской полиции из иностранной бульварной литературы.

Упорное, мстительное недоброжелательство Солженицына ко всем инородцам — евреям, полякам, латышам, мадьярам — объясняется вовсе не историей революции, да и вообще не связано с идейными причинами. Инородцев этих он просто не любит, как не любят их миллионы людей вокруг нас, и дело тут совсем не в революции, а в социальной психологии мещанства. Пиетет перед Солженицыным, созданный его бесспорным мужеством и заслугами, ореол святости, гораздо менее ему подходящий, — всё это мешает увидеть в нём самые простые вещи, которые сам он не умеет как следует скрыть.

Получается, что Солженицын расист и антисемит? Да, расист, и в особенности антисемит. При всём остальном. И потому не христианин, а всего лишь православный.

Часто забывают, что “православный” — всего лишь прилагательное к существительному “христианин”. Те, в ком нет этого существительного, изо всей силы цепляются за прилагательное и сооружают себе удобное бытовое православие без Христа. Сказано, что для Христа “нет ни еллина, ни иудея”. Но для православия этого толка отношение к евреям всегда было камнем преткновения. Желательно иметь национальную церковь и освятить этой церковью национальные идеалы. А тогда еврейство Христа и апостолов представляется невыносимым скандалом. Это и есть “всего лишь православие”. Если

же принимать христианство всерьёз, то отношение русского народа к евреям, причинённые им обиды и унижения дают первейший повод для всенародного покаяния, о котором хлопочет Александр Исаевич. Лютеране в Германии каялись после войны, католики не сочли нужным. Верно и то, что вина России не столь ещё велика, так что с покаянием можно ещё повременить.

Должен сознаться, что чувство вины перед еврейским народом тревожит меня гораздо больше, чем это должно быть по моим убеждениям. Я признаю только личную ответственность человека, но не ветхозаветный племенной грех. По-видимому, Александра Исаевича такое чувство вины не тревожит. Во всяком случае, он неизменно проводит мысль, что надо разделить людей по национальным куриям, и пусть каждая нация решает *свои* дела, не вмешиваясь в дела *чужих*. Потому что люди других наций для него и в самом деле чужие. Никто не вправе навязывать Александру Исаевичу любовь к ближним в недоступных ему пределах, и мы не требуем от него никакого притворства. Мы добиваемся только ясности: перед нами то самое, что на Западе называется расовой сегрегацией. Далее, Александр Исаевич полагает, что русская нация пострадала больше всех других, и потому имеет право на преимущественное внимание. И хотя он прямо не говорит, от кого русские так пострадали, но ясно, что не столько от собственной простоты, сколько от хитрой и злой воли чужих. Поэтому Александр Исаевич не склонен входить в обиды других наций. Пусть они заботятся о себе сами.

Трудно представить себе что-нибудь более вредное для России, какой мы хотим её видеть. Понимает ли Александр Исаевич, что он творит? Пожалуй, нет: о *сознательных* позициях Солженицына мы ещё дальше поговорим. Думаю, что девятый круг ада предназначен для *сознательных* сеятелей раздора, да и вообще грешников судят, вероятно, не по возможным последствиям их поступков. Если здесь нет богословской ошибки, то Александр Исаевич останется в *первом* круге.

Как я уже говорил, источником всей идеологии А. И. Солженицына является русский философ Бердяев. К сожалению, общественные и политические взгляды Бердяева у нас мало известны, а статьи его, где они высказаны с полной ясностью, надо искать, главным образом, в журналах, выходивших в годы первой мировой войны. Я позволю себе выписать из статей Бердяева некоторые характерные места. Читатель, знакомый с сочинениями А. И. Солженицына,

легко узнает его излюбленные идеи. В первоисточнике они представлены лучше, чем в “Августе” или в совсем уже слабой публицистике Александра Исаевича, написанной вычурным, искусственным языком.

Итак, обратимся к истокам русского национализма.

“Русская национальная мысль, — пишет Бердяев, — чувствует потребность и долг разгадать загадку России... Русская национальная мысль питалась чувством богоизбранности и богоносности России. Идет это от старой идеи Москвы, как Третьего Рима, через славянофильство — к Достоевскому, Владимиру Соловьёву и к современным неославянофилам”.

“Душа России”.

Национальное самоутверждение хочет опереться на культурные достижения нации. Если другие нации их не признают, придётся им эти ценности навязать:

“На Западе ещё не почувствовали, что духовные силы России могут определять и преображать духовную жизнь Запада, что Толстой и Достоевский идут на смену властителям дум Запада для самого Запада и внутри его. Русское государство давно уже признано великой державой, с которой должны считаться все государства мира. Но духовная культура России, — то ядро жизни, по отношению к которому сама государственность есть лишь поверхностная оболочка и орудие, не занимает ещё великодержавного положения в мире. Дух России не может ещё диктовать народам тех условий, которые может диктовать русская дипломатия. Славянская раса не заняла ещё в мире того положения, которое заняла раса латинская или германская. Вот что должно в корне измениться после нынешней великой войны... Творческий дух России займёт, наконец, великодержавное положение в мировом духовном концерте. Бьёт тот час мировой истории, когда славянская раса во главе с Россией призывается к определяющей роли в жизни человечества”.

“Душа России”.

Национальные связи важнее всех других. Вот подлинное кредо всякого национализма:

“Можно и должно мыслить исчезновение классов и принудительных государств в совершенном человечестве, но невозможно мыслить исчезновение национальностей. Нация есть динамическая субстанция, а не преходящая историческая функция, она корнями своими врастает в таинственную глубину жизни. Национальность есть положительное обогащение бытия и за нее должно бороться, как за

ценность. Национальное единство глубже единства классов, партий и всех других преходящих исторических образований в жизни народов. Каждый народ борется за свою культуру и за высшую жизнь в атмосфере национальной круговой поруки".

"Национальность и человечество".

Надо полагать, в число этих "преходящих исторических образований в жизни человечества" Бердяев не включает религию. Христианства во всем этом нет, это имитация язычества, стоящая ниже Ветхого Завета. Во всяком случае ясно, что в бердяевском расписании приоритетов Евангелие должно уступить место национальным задачам. Оказывается, "*Евангелие не есть закон жизни*". Вот полный набор софизмов, позволяющих отделаться от этого неудобного закона:

"В историческом теле, в материальной ограниченности невозможна абсолютная божественная жизнь. Мы живём в насилии, поскольку живём в физическом теле. Законы материального мира — законы насилия. Абсолютное отрицание насилия и войны возможно лишь, как явление глубоко индивидуальное, а не как норма жизни и закон. Это предполагает одухотворение, побеждающее «мир», и его родовой закон, просветление тела человеческого нездешним светом. Но к жизни в материи этого мира нельзя применить абсолютного, как закон и норму. Законническое применение абсолютного к относительному есть субботничество, заклеймённое Христом... Нельзя достаточно сильно подчёркивать, что абсолютная Христова любовь есть новая благодатная жизнь духа, а не закон для относительной материальной жизни".

"Психология войны и смысл войны. Мысли о природе войны".

Гуманизм уже погиб, и не стоит о нём жалеть:

"Частно-общественное, гуманистическое миросозерцание расслабляет человека, отнимает у него ту глубину, в которой он всегда связан со всем «историческим», сверхличным, всемирным, делает его отвлечённо-пустым человеком. Так погибает и немая великая правда гуманизма. Поистине всякий человек есть конкретный человек, человек исторический, национальный, принадлежащий к тому или иному типу культуры, а не отвлечённая машина, подсчитывающая свои блага и несчастья. Всё историческое и мировое в человеке принимает форму глубоко-индивидуальных инстинктов, индивидуальной любви к своей национальности, к национальному типу культуры, к конкретным историческим задачам".

"О частном и историческом взгляде на жизнь".

Справедливости нет места в человеческих конфликтах. Может быть, её и можно требовать от индивида, но всякий голос справедливости должен умолкнуть, когда дело касается нации:

“Можно допустить, что сам Бог предоставляет своим народам свободу в постановке динамических исторических задач и в их выполнении, не насилует их, когда они борются за творчество более высоких ценностей. И духовное преобладание в мире России, а не Германии, есть дело творческого произвола, а не отвлечённой справедливости...

Существуют народы и страны, огромная роль которых в истории определяется не положительным, творческим призванием, а той карой, которую несут они другим народам за свои грехи. И всего более это можно сказать о Турции”.

Здесь невольно вспоминается предсказание городничего: “Нам плохо будет, а не туркам”.

В политике всякие принципы неуместны, абстрактное морализирование мешает. Нужны сильные люди, бесстрашные перед словом:

“Наша принципиально-отвлечённая политика была лишь формой ухода от политики. В политике всё бывает «в частности», ничто не бывает «вообще». В политике ничего нельзя повторять автоматически в силу принципа. Что хорошо в одно историческое время, то плохо в другое, что хорошо в одном историческом месте, то плохо в другом. Каждый день имеет свои неповторимые и единственные задачи и требует искусства... России больше всего недостает людей с дарованием власти, и такие люди должны явиться... Бесстрашие перед словами — великая добродетель”.

“Слова и реальности в общественной жизни”.

Законным средством политики является война — совсем не обязательно оборонительная война. Следующий отрывок вполне объясняет уважение, с которым относились к Бердяеву нацисты (видевшие в нём лишь одну сторону, но существенную и неотделимую от его мышления!):

“Элементарно-простое отрицание войны базировалось на разных отвлечённых учениях, как гуманитарный пасифизм, международный социализм, толстовское непротивление и т. д. Подход к проблеме войны всегда был отвлечённо-моралистический, отвлечённо-социологический или отвлечённо-религиозный... Творческие исторические задачи выпадали из поля зрения исключительно моралистического сознания. В результате наших поспешных оправданий войны, или точнее наших самооправданий, получился один вывод:

мы лучше немцев, нравственная правда на нашей стороне, мы защищаемся и защищаем, немцы же в нравственном отношении очень плохи, они — насильники, в них — дух антихристов. Вывод этот не очень богатый и не очень глубокий. Но лишь в силу этого нравственного суждения мы признали возможным воевать... Мало кто стал на точку зрения борьбы рас...

В поединке необходимо уважение к противнику, с которым стало тесно жить на свете. Должно это быть и в поединке народов... Мировая борьба народов в истории определяется не моральными прерогативами. Это — борьба за достойное бытие и исторические задачи, за историческое творчество. Справедливость есть великая ценность, но не единственная ценность. И нельзя оценивать историческую борьбу народов исключительно с точки зрения справедливости, — существуют и другие оценки. Национальные тела в истории образуются длительной, мучительной и сложной борьбой, историческая борьба есть борьба за бытие, а не за прямолинейную справедливость, и осуществляется она совокупностью духовных сил народов. Это борьба за национальное бытие — не утилитарная борьба, она всегда есть борьба за ценность, за творческую силу, а не за элементарный факт жизни, не за простые интересы. Можно сказать, что борьба народов за историческое бытие имеет глубокий моральный и религиозный смысл, что она нужна для высших целей мирового процесса. Но нельзя сказать, что в этой борьбе один народ целиком представляет добро, а другой народ целиком представляет зло. Один народ может быть лишь относительно более прав, чем другой. Борьба за историческое бытие каждого народа имеет внутреннее оправдание. Я могу признавать правоту своего народа в мировой войне, но это не есть правота исключительных нравственных преимуществ, это — правда творимых исторических ценностей и красота избирающего Эроса...

Дело идёт о мировом духовном преобладании славянской расы. Мне неприятен весь нравственный склад германца, противен его формалистический пафос долга, его обоготворение государства, и я склонен думать, что славянская душа с трудом может перенести самые нравственные качества германцев, их нравственную идею устроения жизни. И я хотел бы бороться с германцами за наш нравственный склад, за наш духовный тип. Но это менее всего значит, что война подлежит расценке с точки зрения моральных прерогатив противников. Война апеллирует не к моральной справедливости, а к онтологической силе. Преобладание славянского нравственного склада над германским нравственным складом со-

всем не есть проблема справедливости. Это скорее проблема исторической эстетики".

"О правде и справедливости в борьбе народов".

Теперь мы можем лучше понять идеологию "Августа". Казалось бы, зачем воевать с немцами, если нет к ним особенной ненависти, если у них можно даже многому поучиться? Идеология, с которой мы здесь имеем дело, как будто не требует ненависти в войне. На первый взгляд это выглядит возвращением к рыцарскому восприятию войны. Но в рыцарские времена не было *наций* в нынешнем смысле слова, и феодальные войны не были национальными конфликтами, о которых здесь идёт речь. *Национальная* идеология возвращает нас не к рыцарству, а к более древней традиции племенных распрей, когда *необходимо* было считать противника человеком худшей породы: это даёт силу убивать.

Конечно, некоторые люди способны убивать и без ненависти, деловито исполняя своё ремесло. Но это совсем не похоже на рыцарские поединки. Двадцатый век научил нас, что получается из этой национально-рыцарской болтовни.

Но вернёмся к Бердяеву, чтобы понять всё это до конца. Хотите ли знать, отчего возникают войны? Потому что война есть закон мироздания, любимое развлечение творца:

"И на небе, и в иерархии ангелов, есть война. Войны могут быть духовными, войнами духов. Духи добрые сражаются с духами злыми, но вооружения их более тонкие и совершенные".

"Движение и неподвижность в жизни народов".

"Можно сказать, что война происходит в небесах, в иных планах бытия, в глубинах духа, а на плоскости материальной видны лишь внешние знаки того, что совершается в глубине... Война есть имманентная кара и имманентное искупление. В войне ненависть переливается в любовь, а любовь в ненависть. В войне соприкасаются предельные крайности и диавольская тьма переплетается с божественным светом. Война есть материальное выявление исконных противоречий бытия, обнажение иррациональности жизни. Пасифизм есть рационалистическое отрицание иррационально-темного в жизни. И невозможно верить в вечный рациональный мир. Недаром Апокалипсис пророчествует о войнах. И не предвидит христианского мирного и безболезненного окончания мировой истории. Внизу отражается то же, что и наверху, на земле то же, что и на небе. Наверху, на небе, ангелы Божьи борются с ангелами сатаны. Во всех

сферах космоса бушует огненная яростная стихия и ведётся война. И на землю Христос принёс не мир, а меч".

"Психология войны и смысл войны. Мысли о природе войны".

Перед нами версия христианства, о которой стоит призадуматься нашим новообращенным христианам. Может быть, они найдут в этой теме — и в "Августе", представляющем ее вариации — слишком уж много воинственного задора.

Теперь посмотрим, как решается пресловутый вопрос о слезинке ребенка:

..."Ценности исторические предполагают жертву людским благом и людскими поколениями во имя того, что выше блага и счастья людей и их эмпирической жизни. История, творящая ценности, по существу трагична и не допускает никакой остановки на благополучии людей. Ценность национальности в истории, как и всякую ценность, приходится утверждать жертвенно, поверх блага людей, и она сталкивается с исключительным утверждением блага людей, как высшего критерия. Достоинство нации становится выше благополучия людей...

Сущность кризиса, совершающегося у нас под влиянием войны, можно формулировать так: нарождается новое сознание, обращённое к историческому, и конкретному, преодолевается сознание отвлечённое и доктринёрское, исключительный социологизм и морализм нашего мышления и оценок. Сознание нашей интеллигенции не хотело знать истории, как конкретной метафизической реальности и ценности. Оно всегда оперировало отвлечёнными категориями социологии, этики или догматики, подчиняло историческую конкретность отвлечённо-социологическим, моральным или догматическим схемам. Для такого сознания не существовало национальности и расы, исторической судьбы и исторического многообразия и сложности, для него существовали лишь социологические классы или отвлечённые идеи добра и справедливости...

Русское сознание имеет исключительную склонность морализировать над историей, т. е. применять к истории моральные критерии, взятые из личной жизни".

"Война и кризис интеллигентского сознания".

Мы видим, что на место абстрактных социологических построений, направленных на благо отдельной личности, ставится конкретное национальное мировоззрение, которое этим благом жертвует и пренебрегает. Критика марксизма с этих позиций, по-видимому, не сулит лучшего будущего отдельному человеку: он по по-прежнему

останется орудием в политической игре. Что это игра — политическая, можно не сомневаться:

“Русский империализм имеет национальную основу, но по своим заданиям он превышает все чисто национальные задания, перед ним стоят задачи широких объединений, быть может невиданных ещё объединений Запада и Востока, Европы и Азии”.

“Национализм и империализм”.

Не следует думать, что русский империализм ставит себе целью спасение Европы:

“Конец Европы будет выступлением России на арену всемирной истории, как определяющей духовной силы”.

“Конец Европы”.

“Начинаются сумерки Европы”.

“Задачи творческой исторической мысли”.

Поскольку мировая война России не удалась, надо было найти виновных. За этим дело не стало:

“Вина лежит не на одних крайних революционно-социалистических течениях. Эти течения лишь закончили разложение русской армии и русского государства. Но начали это разложение более умеренные либеральные течения. Все мы приложили к этому руку. Нельзя было расшатывать исторические основы русского государства во время страшной мировой войны, нельзя было отравлять вооружённый народ подозрениями, что власть изменяет ему и предаёт его. Это было безумие, подрывавшее возможность вести войну... Целое столетие русской интеллигенции жило отрицанием и подрывало основы существования России”.

“Мировая опасность”.

Читатель узнаёт здесь излюбленный мотив Александра Исаевича, его главную историческую идею.

Впрочем, и весь русский народ не может избежать осуждения:

“Русский народ не выдержал великого испытания войны. Он потерял свою идею”.

“Мировая опасность”.

Почти теми же словами Адольф Гитлер выразил свои чувства к немецкому народу в последние недели войны. Я ценю Бердяева как философа, уважаю его как человека, но не могу избежать этого сравнения.

Читатель, без сомнения, убедился, что философия Солженицына не нова и не оригинальна. Впрочем, это не философия, а идеология:

Александр Исаевич изготовил её из философии Бердяева, взяв у него лишь то, что ему было понятно и удобно.

Вот ещё несколько мыслей Бердяева, для этой идеологии непонятных и неудобных:

“Обращение к элементарному органическому прошлому, идеализация его, боязнь страдальческого развития есть малодушие и любовь к покою, леность духа. Только тот достигает свободы духа, кто покупает её дорогой ценой бесстрашного и страдальческого развития, мукой прохождения через дробление и расщепление организма, который казался вечным и таким уютно-отрадным. В старый рай под старый дуб нет возврата”.

“Дух и машина”.

“У нас не было здорового национального сознания и национального чувства, всегда был какой-то надрыв, всегда эксцессы самоутверждения или самоотрицания. Наш национализм слишком часто претендовал быть мессианизмом древне-еврейского типа, яростного, исключительного и презрительного”.

“Национализм и мессианизм”.

“Старая националистическая политика была труслива и бессильна, она насиловала от страха и в основе её лежало неверие в великорусское племя. Но если в великорусском племени нет настоящей силы и настоящего духа, то оно не может претендовать на мировое значение. Насилие не может заменить силы. Отсутствие духа не может быть компенсировано никаким устрашением. Поразительно, до чего неверующими в Россию были всегда наши националисты. Их жесты были жестами бессилия”.

“Национализм и империализм”.

До сих пор я говорил о личности и взглядах Александра Исаевича, как они представляются по его литературным работам и журнальным статьям. Он написал еще часть своей биографии, под названием “Бодался телёнок с дубом”. Это история опубликования “Ивана Денисовича”, с дополнениями об аресте и высылке за границу. В книге рассказывается, как автор старался перехитрить разных чиновников и напечатать свой рассказ. Название вряд ли удачно: наш бюрократический аппарат не заслуживает сравнения с могучим деревом и, конечно, победа над ним одного решительного человека вызывает совсем иные заключения. История, описанная в “Телёнке”, помогает понять не только характер, но и склад ума Александра Исаевича. Склад ума у него, в общем, крестьянский,

со всеми сильными и слабыми сторонами этого уже вымирающего типа: упрямым здравым смыслом, наивной хитростью и беспомощностью в сопоставлении понятий. Главная задача была обмануть Твардовского, редактора “Нового мира”. Для этого надо было притвориться *советским* писателем, потому что малейшее проявление несоветского подхода было бы для Твардовского неприемлемо, а других бы попросту испугало. Как правило, люди предпочитают о своих хитростях не рассказывать, но Александр Исаевич не без удовольствия описывает свои приёмы. Наивность Александра Исаевича лучше всего видна, когда он рассказывает о себе. Можно оставить в стороне вопрос, насколько допустимо в наших условиях хитрить для хорошей цели: надо думать, что для нашего автора такая возможность вообще исключается, поскольку он рекомендует “жить не по лжи”. Книга эта очень наивная. Когда Александр Исаевич принимается хитрить, всё сразу видно, и если ему удалось перехитрить Твардовского, то лишь по той причине, что тот был ещё наивнее и просто не мог представить себе несоветски настроенного человека даже в бывшем зэке. Что касается других, не столь наивных членов редакции, то вся эта история нагнала на них страх, да и вообще печатание “Ивана Денисовича” оказалось возможным лишь при особом стечении обстоятельств.

Хитрость Александра Исаевича была в том, что он раскрывал себя постепенно. Если не считать некоторых детских воспоминаний, он вырос советским человеком. Казалось бы, он должен был знать, что бывали и всё ещё встречаются люди, не согласные с советской властью. И всё же он воспринял освобождение от советской системы взглядов как открытие некой страшной тайны. Труднее понять, почему он придал столь важное значение своим позитивным достижениям: чтобы прийти к православию и монархизму, надо было попросту переменить все знаки на обратные, в том числе знак времени, а такая процедура к особенно глубоким результатом привести не может. Александр Исаевич, учившийся на математическом факультете, должен был это знать. Так или иначе, он стал православным и монархистом, но вначале скрывал то и другое, притворяясь советским человеком, критикующим отдельные недостатки. Потом, когда уже не было шансов напечатать “Корпус”, он раскрыл своё православие. Монархизм его до сих пор остаётся эзотерическим учением, но хитрость эта довольно прозрачна, как и все другие. Конечно, не обязательно приписывать автору всё, что говорит генерал Нечволодов или ещё какой-нибудь персонаж, сам же Александр Исаевич не считает пока своевременным предложить России определённого

кандидата на престол. В некотором смысле он реалист. Он видит, что русский народ не готов к самоуправлению и не понимает демократии, и это его не огорчает, потому что он не любит свободы и хочет для России попечительной власти. В парижском "письме вождям" он выразился вполне определённо, назвав желательную для него власть "авторитарной". Само по себе выражение это бессмысленно (означает просто "властная власть"), но приобрело весьма зловещий смысл в тридцатые годы, когда оно применялось к фашистским диктатурам разного оттенка. Вероятнее всего, Александр Исаевич не знал, откуда происходит эта мрачная тавтология, и неосторожно употребил услышанные где-то слова. Так вот, он полагает, что Россия нуждается в твёрдой власти, и что власть эта может возникнуть лишь в результате эволюции нынешнего режима. Откладывая на будущее свои монархические откровения, Александр Исаевич хотел бы заключить с московским правительством временное соглашение, некий "исторический компромисс". Для этого московские правители должны вспомнить, что они тоже русские люди, отбросить набившую оскомину марксистскую идеологию и откровенно признать в качестве идеологии русский национализм. Поскольку практика шовинизма уже существует и ею проникнут весь аппарат, Солженицын полагает, что не так уж трудно будет сменить словесный репертуар. Неясно, правда, каким образом смена лозунгов выведет Россию из экономического тупика. Здесь потребуется частная инициатива, а уж этого-то московские правители никак допустить не могут, потому что частная инициатива их немедленно сметёт. Всё это было очень наивно, и вожди на компромисс не пошли, хотя в аппарате имеется сильная струя внутреннего шовинизма, не так уж враждебно воспринимающего внешний. Когда частную инициативу придётся в какой-то мере допустить, оба течения могут слиться, так что "письмо вождям" содержит некую, пока преждевременную политическую идею. Впрочем, когда эта идея созреет, аппарат может измениться в сторону западного прагматизма, а тогда частная инициатива потребует демократического оформления. Поскольку из компромисса ничего не вышло, Александр Исаевич возложил свои надежды на внешнюю политику Запада, добиваясь поддержки "ястребов" и вообще крайне правых. Как мне кажется, он понимает, что политика "разрядки" означает верхушечный сговор над головами народов, конечная цель которого — экономическая колонизация России. Если он и не понимает этой конечной цели, то во всяком случае видит, что Запад поддерживает шатающийся режим займами, технической помощью и лицемерной пропа-

гандой. Он чувствует, что публику надувают, и в этом прав. Если режим не идёт на компромисс с православным шовинизмом, Солженицын желает ему скорейшего краха. Но, вероятно, он уже убедился, что и правые никуда не годятся. Он пытался воздействовать на американские профсоюзы и, взяв у кого-то уроки американской демагогии, пробовал говорить с профсоюзными боссами на понятном им языке. Теперь он выступает редко; за границей думают, что он не умеет говорить публично.

Политический реализм Солженицына не идёт, впрочем, дальше сегодняшнего дня. Он хочет ослабить советский режим, чтобы вынудить его измениться, ищет для этого средства. Кажется, он понимает, что если просто распустить колхозы и раздать колхозникам землю, то из этого ничего не выйдет. Может быть, он возлагает надежду на православную "соборность". Насколько можно понять, слово это означает примерно то же, что отношения в русской сельской общине, то есть невыделенность личности из крестьянской массы. Если это и было преимуществом во время "Вех" (в чём тоже можно сомневаться), то *теперь* надеяться на православную соборность всё равно, что запрягать в телегу призраки лошадей.

Не очень понятно, чего хочет Солженицын в национальном вопросе. Он напоминает полякам, что предки их нехорошо вели себя при Минине и Пожарском, и не может простить латышам, что латышские стрелки спасли советскую власть. Поскольку инородцы не хотят жить в России, он готов их отпустить, но в это я не верю. Шовинисты будут вести себя, как во все времена: они будут удерживать каждый кусок России, населённый каким угодно народом, будут удерживать любой кровью, и особенно — чужой. Недаром друзья его говорят уже не только о "национальном возрождении", но всё более сладострастно повторяют заветное слово "империя"!

И в покаяние я тоже не верю. Покаяние для Солженицына — формальная процедура отпущения грехов, и притом не другим, а самому себе, иначе говоря, ритуальное очищение: в этом он человек вполне церковный. Что касается прощения других, то кто же в это поверит? Все разговоры его об инородцах, о людях других вкусов и мнений насыщены нетерпимостью, трудно сдерживаемым гневом. Вероятно, он видит мысленным взором эту Великую Церемонию, чинное и благолепное Всероссийское Покаяние, с молебнами, крестными ходами, колокольным звоном... И горе тому, кто не снимет шапку!

Новой историей он недоволен. Надо повернуть историю вспять, устроить новое средневековье, но желательно без татар. И если до-

петровская Русь не была так хороша, как хотелось бы, то почему бы не сделать её совсем хорошей, подлинно допетровской? То есть взять тот же прогресс, но повернуть его назад?

Он не верит в будущее, мечтатель, проживающий в штате Вермонт. Он пытается переиграть былое. Живые люди, населяющие Россию, его раздражают. Иные ходят в церковь, но он не видит в них веры. Говорят они так же, как он, но он знает, что они лгут. Другие в церковь не ходят, и он не видит их веры. Он не слышит их правды, никакой правды, кроме своей.

Пророческого дара в нём нет. Он не видит, не внемлет и не живёт грядущим. Он утопает в прошлом. И я думаю, что ему очень плохо.

Что такое "перестройка"?

Так называемая "перестройка" вызвала в нашем обществе некоторые иллюзии, но, главным образом, среди интеллигенции. Народ к ней равнодушен. Поскольку в ближайшем окружении рабочего и крестьянина ничего не меняется, народ справедливо считает, что всё это — ещё один способ болтать.

Всё же разговоры о "перестройке" не лишены интереса. От хорошей жизни таких вещей не говорят. Что же значат все эти разговоры? Кому они нужны, и что может из этого получиться?

Чтобы в этом разобраться, надо знать, что собираются перестраивать: кто и каким образом соорудил эту перестройку и в каком состоянии она находится сейчас. С этого мы и начнём.

Семьдесят лет назад произошла Октябрьская революция. Её устроила небольшая партия большевиков, о которых теперь очень мало знают. Эта партия имела вначале такую же программу, как европейские социал-демократы. По учению социалистов, всё зло на свете происходит от частной собственности. Социалисты учили, что если отнять заводы и фабрики у капиталистов и отдать их в управление рабочим, отнять землю у помещиков и отдать её крестьянам, то исчезнет эксплуатация человека человеком, и на земле возникнет счастливое общество свободных людей. У социалистов была прекрасная мечта об этом будущем обществе, но не было практических предложений, как его устроить.

В конце прошлого века в Европе возникли партии социал-демократов марксистского направления, веривших, что их мечты должны осуществиться неизбежно и в близком будущем. Они думали, что это следует из законов истории, которые научно доказал немецкий экономист Маркс.

Большевики отличались от европейских социал-демократов тем, что не слишком полагались на законы истории и на свою пропаганду, а в качестве главного орудия политики избрали *власть*. В царской России было мало свободы и много произвольной власти. Поэтому у русских социал-демократов была другая психология, чем у европейских. Из них выделилась часть, не верившая в демократию и возлагавшая особые надежды на революционное насилие. Это и были большевики.

Марксу казалось, что развитие капитализма само собой приведёт к победе социализма мирным, парламентским путём. Он никогда не думал, что социализм может посягнуть на политическую свободу, особенно на свободу печати. Но в конце жизни он иногда задумывался, что будет, если капиталисты и помещики не захотят добровольно отдать своё имущество. В одном письме он упомянул, что в этом случае "может быть, придётся прибегнуть к чему-то вроде диктатуры пролетариата". На этой единственной фразе Маркса, оброненной в частном письме, Ленин построил всё своё учение.

Ленин и большевики плохо понимали, как действует человеческое общество. Общественная жизнь людей, её экономические и государственные механизмы никем не изобретены, не устроены людьми по плану. Они возникли в ходе истории так же, как живые организмы возникли в ходе биологической эволюции. Экономическая жизнь и общественные отношения между людьми основаны на исторически сложившемся равновесии сил. Эти силы ограничивают друг друга таким образом, что каждая из них наталкивается в своём действии на сопротивление других сил, возрастающее по мере отклонения от положения равновесия. Это видно на примере равновесия в системе соединённых пружин: чем больше сжата одна из них, тем больше она сопротивляется сжатию, возвращая всю систему к положению равновесия. Этот механизм, понятый ещё мыслителями восемнадцатого века, в наше время называется обратной связью. Обратная связь обеспечивает *устойчивость* системы.

В экономической жизни механизмом равновесия является рынок. Если производство какого-нибудь товара чрезмерно возрастает, спрос на него падает и рыночная цена его убывает. Это делает невыгодным дальнейшее производство товара, и предложение его убывает. Когда оно становится меньше спроса, цена снова начинает расти, стимулируя производство. В конечном счёте рыночный механизм приводит к тому, что каждый товар производится примерно в таком количестве, сколько нужно для потребления, с небольшим колебанием вокруг равновесия. Рыночное хозяйство — это единственный известный механизм, способный создавать изобилие товаров и предотвратить их излишек, то есть обеспечить устойчивость производства и потребления.

Точно так же, в государственной жизни равновесие держится на взаимодействии противоположных интересов. Различные группы населения взаимодействуют таким образом, что нарушение интересов каждой из них вызывает реакцию, тем более сильную, чем

сильнее они нарушены. Устойчивость государственного строя обеспечивается игрой этих взаимодействующих сил. В современном обществе такие силы организуются в политические партии, так что многопартийная система — это единственный известный механизм, способный обеспечить безопасность общественной жизни и своевременное принятие необходимых решений.

Нарушение обратных связей всегда приводило к катастрофам. В политической жизни такие нарушения производили диктаторы и завоеватели, такие как Александр Македонский, Чингисхан, Наполеон или Гитлер. Когда какой-нибудь действующей силе удавалось подавить и уничтожить носителей противодействующих сил, возникала неустойчивая ситуация — бесконечные войны, раздоры и преследования, лихорадочная борьба за власть.

В новое время такие попытки диктатуры и завоевания всё чаще совершались по идеологическим мотивам. Мотивы эти сводятся к стремлению осчастливить собственный народ, как это было у немецких нацистов, или всё человечество, как это было в случае большевиков. Но только большевики, впервые в истории, попытались перенести диктатуру в экономическую жизнь.

Маркс понимал значение рыночного хозяйства, но считал этот способ регулирования производства и потребления устаревшим и примитивным. Он считал, что можно добиться лучших результатов путём сознательного планирования: исследовать, сколько требуется каждого товара, и производить, сколько надо. По мнению Маркса, рыночное хозяйство было “анархией производства”, бессмысленной растратой производительных сил на конкуренцию производителей. Плановое хозяйство должно было работать лучше, поскольку производители работали бы в полной гармонии между собой, заранее зная, что и в каком количестве им надо произвести.

Маркс не понимал, что экономические механизмы несравненно сложнее изготовляемых человеком машин и лишь в небольшой степени поддаются планированию. Эти механизмы не выдуманы людьми, а возникли в ходе истории, как животные и растения: можно рассчитать заранее машину, но нельзя спроектировать животное. Маркс не видел этой разницы, полагая, что машина всегда будет работать лучше, чем естественно сложившийся организм. Большевики соединили эту “плановую” установку Маркса со своей, специально русской, национально обусловленной верой в абсолютную власть. Они твёрдо верили, что, захватив в свои руки власть, смогут ввести в России, а потом и во всём мире, плановое хозяйство. А поскольку, по Марксу, вся общественная жизнь определяет-

ся экономической деятельностью (“бытие определяет сознание”), то и вся жизнь человеческого общества должна была принять планомерный, разумный характер. Человеческая энергия, — думали большевики, — не будет больше растрачиваться на политические раздоры: вместе с анархией производства исчезнет и анархия партийной борьбы. Отсюда неизбежно следовала однопартийная система правления.

Таким образом, большевики, и больше всего Ленин, последовательно стремились уничтожить обратные связи, на которых держится *устойчивость* экономической и государственной жизни. Они действовали на основании принятой ими теории, которую считали научной. Но эта теория была ложна, и последствия начали проявляться очень скоро. Прежде всего они проявились внутри самой партии. В 1921 году Ленин провёл фатальное для партии решение о запрете фракционной деятельности. Он стремился усилить партию, уничтожить конкуренцию групп и направлений и установить в партии гармоническое сотрудничество. Но запрещение фракций положило конец “внутрипартийной демократии”, сделало невозможным открытую защиту личных и групповых мнений и интересов. Открытая политика постепенно исчезала из партийной жизни и сменилась политикой интриг. Так партия большевиков перестала быть политической партией.

В самом конце жизни Ленин заметил крайнюю неустойчивость в работе центрального партийного аппарата и предложил ввести в ЦК сто рабочих “от станка”, чтобы помешать раздорам руководства. По-видимому, до того ему никогда не приходило в голову, для чего могут быть полезны парламентские механизмы. Но было поздно, да и вообще ленинская партия была неисправима.

Каким же образом такая партия могла захватить власть в России? Успех большевиков объясняется именно тем, что их партия была исключительно ориентирована на захват власти и готова была принести в жертву этой цели любые другие принципы и интересы. Летом 1917 года Россия, терпевшая тяжёлое поражение в мировой войне, потеряла веру в своих правителей. Армия устала от войны и быстро разлагалась. Но все политические партии, поддерживающие временное правительство, не хотели и слышать о сепаратном мире с Германией. Их страшили неизбежные потери территории, измена делу союзников, они надеялись, что немцев разобьют на западном фронте, и это избавит их от необходимости заключать позорный мир. Только одна пария — партия большевиков — готова была заключить мир немедленно, на любых условиях, лишь бы захватить

власть. Это дало ей поддержку солдат и матросов и позволило совершить в Петрограде почти не встретивший сопротивления военный переворот.

Ленин плохо понимал экономику и государственное управление, но он был гениальный политический заговорщик. Его способности были разрушительные, а не созидательные: он был лучше всех способен бороться за власть в условиях политической смуты, но имел фантастические представления, как употребить захваченную власть.

Придя к власти, большевики не хотели её ни с кем делить. Они разогнали Учредительное собрание, отрезав России путь к мирному демократическому развитию. Потом они уничтожили партию левых эсеров, помогавшую им в Октябрьской революции. Они выиграли долгую и кровавую гражданскую войну, потому что значительная часть русских рабочих и интеллигентов поверила их учению и шла за большевиками. Большевики проявили героизм и самоотверженность, но в политике остались беспочвенными фанатиками, плохо понимавшими общественную и хозяйственную жизнь. Когда эта жизнь им не давалась, они применяли единственное средство — власть. Так родился “красный террор”.

После гражданской войны хозяйственная разруха и голод поставили большевиков перед катастрофой. Более гибкие элементы их партии поняли, что без политических уступок будет потеряна власть. Троцкий предложил Новую экономическую политику — НЭП — и Ленин, после упорного сопротивления, принял её. По этой политике крестьянам разрешалось продавать на рынке продукты (которые у них раньше просто отбирали), разрешалась мелкая торговля, ремесло и небольшие частные предприятия. Прививка частной инициативы оживила русскую экономику. Крестьяне сохраняли свои наделы и работали на своей земле. Голод прекратился. Таким образом, большевики, сами не умевшие хозяйничать, допустили “элементы капитализма”. Пока они были у власти, сохранялся НЭП.

Чтобы управлять Россией, большевики создали государственный аппарат. Старый аппарат власти был уничтожен, и старых чиновников изгнали. Требовались сотни тысяч новых государственных служащих. Старых большевиков было на всю Россию несколько тысяч. Аппарат заполнили люди, примкнувшие к большевикам уже после захвата власти. Старые большевики боролись с царским правительством и не имели личной выгоды от своей партийной работы. Поэтому старые большевики были люди, действовавшие не в личных интересах, и большинство их после захвата власти сохранило

эту бескорыстную установку. Новые коммунисты пришли в готовый аппарат власти и могли получить от неё личные выгоды. Они создавали себе преимущества и пользовались ими. Так возник новый правящий класс — советская бюрократия.

Новые партийные чиновники происходили из всех слоев общества, но больше всего из мещанства. Они прикрывались рабочим и крестьянским происхождением, но очень скоро приучились жить и вести себя по-барски. Возник конфликт между старыми большевиками и их новым бюрократическим аппаратом. Ленин отчаянно боролся с бюрократизацией и видел, что терпит поражение.

Партийный аппарат превратился в новый правящий класс, не имевший себе подобных в истории. Он вынужден был сохранить большевистскую идеологию и не мог снова ввести частную собственность. Поэтому бюрократия стала владеть всем государством, как своей *коллективной собственностью*. Народы России попали в зависимость от этого нового правящего класса, не имевшего никакого опыта государственной власти, состоявшего из невежественных, малограмотных людей, без воспитания, чувства чести и моральных правил. Этот правящий класс был гораздо хуже правящего класса старой России. Его возглавил малоизвестный до революции Джугашвили (псевдоним — И. Сталин), авантюрист с тёмным прошлым и, по весьма убедительным данным, бывший агент царской охранки.

Большевики мешали новому правящему классу. Они всё ещё занимали ключевые посты в партии и принимали всерьёз все пункты партийной программы: преследовали личное обогащение, воровство и взятки, мешали подбирать местные клики, и вдобавок сохраняли влияние среди части заводских рабочих и в Красной Армии. Их было мало, но за ними была история революции и гражданской войны, они способны были на решительные меры и представляли личную опасность для каждого из новых бар, заполнивших партийный аппарат. Конфликт был неизбежен.

В двадцатые годы большевики перессорились между собой. После смерти Ленина у них не было признанного вождя. Идейные расхождения между ними сопровождались яростной борьбой за власть. Так лидеры большевиков — Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев, Рыков — ослабляли друг друга, облегчая интригану Сталину его собственную борьбу за власть.

Сталин подбирал себе кадры и готовил переворот против большевиков. Он опирался на новых коммунистов, которых можно было подкупить и соблазнить посулами карьеры. Вступая поочерёдно в сделки с большевистскими лидерами, Сталин извлекал выгоды из

их раздоров. В 1927–28 годах он был уже достаточно силен, чтобы удалить старых большевиков из партийного руководства. Они слишком поздно поняли, что их перехитрил человек, не имевший никаких правил. Все диктаторы достигают своей цели, потому что их не стесняют никакие принципы и программы.

Наш нынешний правящий класс происходит не от большевиков, а от их убийц. Это не значит, что большевики были чисты и невинны. Они начали систему беззаконной расправы с политическим врагом — террор.

"Сталинский режим", установившийся с 1928 года, был во многих отношениях беспримерным явлением в истории. Октябрьская революция, в отличие от всех прежних революций, уничтожила частную собственность и передала всю экономику в управление государственному аппарату. Это дало новому правящему классу абсолютную власть над жизнью и смертью всех жителей страны. Считалось, что все решения принимаются партией коллективно — её съездами и выборными органами. Но после сталинского переворота "внутрипартийная демократия" прекратилась: Сталин использовал запрещение фракций для удушения партийной жизни. С этих пор коммунистическая партия была партией лишь по названию. Прекратились споры, исчезли личные мнения, и все должны были повиноваться решениям руководства. Очень скоро оказалось, что решения принимает один человек: началась сталинская диктатура.

Диктатор должен был, конечно, пользоваться услугами людей. Те, кто ему служил, интриговали и боролись за влияние, демонстрируя свою преданность диктатору и готовность выполнить его волю. Это была борьба без правил и ограничений, поскольку в партии исчезло всякое организованное сопротивление, а вне партии сопротивление было уничтожено гражданской войной. Такая система власти была крайне неустойчива. Политика диктатора, спускаясь по каналам управления, не встречала ограничений, а, напротив, безудержно усиливалась, превращаясь в лавинообразный процесс. Сам диктатор узнавал о том, что происходит, когда уже наступала катастрофа. К несчастью, и в этом случае его реакции были случайны и бессмысленны: Сталин был панически труслив перед прямой опасностью и психически болен — в нём постепенно развивалась паранойя.

Первой катастрофой была "коллективизация". Большевики не решились посягнуть на крестьянскую землю. У Ленина был "кооперативный план": он рассчитывал постепенно вовлечь крестьян в кооперацию и приучить их сообща пользоваться машинами. Это

должно было со временем уничтожить крестьянскую частную собственность, оставшуюся опасным чужеродным телом в советской системе. Конечно, ленинский план не мог привести к успеху, потому что крестьяне добровольно не отдали бы свою землю ни за какие посулы властей. Но Ленин боялся применить насилие к самому многочисленному классу страны. Он помнил, что такие методы во время гражданской войны вызвали голод.

Сталин не извлёк уроков из прошлого и не предвидел возможных последствий. Он боялся крестьян и решил разгромить русское крестьянство, применив единственно понятное ему средство — террор. Уже через год после установления диктатуры, в 1929 году, он начал всеобщую принудительную коллективизацию. С хитростью провокатора он бросил против крестьян 25000 рабочих-партийцев, рассчитывая, что мало кто из них вернётся из деревни, и ему не придётся искоренять на заводах последышей большевиков. Вряд ли надо объяснять, чем была для русского крестьянства коллективизация: уже и сейчас можно прочесть в газетах, что это был "погром". Десять миллионов самых трудолюбивых, самых хозяйственных крестьян погибли в сибирской тайге. Это число подтвердил в разговоре с Черчиллем сам диктатор. В деревне установился всем известный колхозный строй. По существу это было худшим вариантом крепостного права. Формальным выражением порабощения крестьян был запрет выезжать из своего колхоза: до шестидесятых годов крестьяне не имели паспортов. Коллективизация отучила крестьян самостоятельно работать на земле. Несмотря на применение машин производительность сельского хозяйства резко упала. Принудительные поставки продуктов обрекали крестьян на полуголодную жизнь.

Второй катастрофой была "индустриализация". Чтобы сделать Советский Союз современной промышленной державой и укрепить его военную мощь, Сталин начал строить тяжёлую промышленность. Он закупил за границей, главным образом в Америке, оборудование автомобильных, тракторных, подшипниковых и других заводов, которое монтировалось под руководством американских инженеров. Чтобы добыть для этих покупок валюту, отнимали продовольствие у крестьян и продавали его за границу по ценам ниже уровня мирового рынка ("демпинг"). От этого миллионы крестьян умерли с голоду: на Украине число жертв оценивается в 6 миллионов. Были проданы из Эрмитажа ценнейшие картины, украшающие теперь Вашингтонскую национальную галерею. На стройки первых пятилеток были направлены комсомольцы-энтузиасты и

первые эшелоны заключённых. Для руководства индустриализацией Сталин использовал энергию большевиков, которых потом расстрелял.

Курс на "преимущественное развитие тяжёлой промышленности" означал полное невнимание к потреблению. В стране не хватало одежды, обуви, простейших товаров повседневного спроса. Безудержное строительство тяжёлой промышленности стало самоцелью: таким образом зародилась система, которую иностранцы называют "производство без потребления".

Коллективизация и индустриализация совершались без учёта экономических потребностей и возможностей. Результаты формально оценивались по валовому производству металла, топлива, энергии, зерна и т. п., и по процентам приращения этого производства. Когда продукт был не очень важен, приращение достигалось совсем просто: так, Сталин распорядился уменьшить ширину тканей, от чего сразу же повысилось их производство в метрах длины. Такова была система "планового хозяйства", которую теперь неуважительно называют "административно-командной". Конечно, она продолжается и по сей день.

Третьей катастрофой был "Великий террор". Сталин панически боялся уцелевших большевиков, хотя все сколько-нибудь видные партийные вожди были уже изгнаны из аппарата, деморализованы и не опасны. Но среднее звено партийного аппарата ему не доверяло и хотело его устранить. На XVII съезде партии, в 1934 году, большевики собирались заменить Сталина Кировым, более уравновешенным и лояльным по отношению к партии. Зная Сталина, большевики хотели сделать это внезапно, поставив его перед свершившимся фактом. Но Киров, веривший Сталину, выдал ему этот план. 1 декабря того же года Киров был убит по приказу Сталина, видевшего в нём опасного соперника. После XVII съезда Сталин был охвачен страхом перед большевиками и стал готовить расправу над ними.

Сталин особенно боялся большевиков, командовавших Красной Армией. Есть сведения, что они готовились его устранить, но не успели ничего сделать. К 1937 году Сталину удалось преодолеть сопротивление политбюро, не согласного на расстрелы членов партии. Для этого он велел тайно убить своих главных оппонентов, Куйбышева и Орджоникидзе. В 1937 году Сталин начал полное истребление старых большевиков. Они уничтожались под названием "врагов народа". Было расстреляно 80% делегатов XVII съезда, и было полностью истреблено всё командование армии. "Репрессии", прово-

димые безответственными угодниками Сталина, приняли характер психической эпидемии. Больше половины членов партии пошло в лагеря уничтожения, а за ними — миллионы людей, не имеющих никакого отношения к политике. Палачи Сталина выбирали тех, кто чем-нибудь выделялся, чтобы стряпать мнимые "заговоры" и "организации" с участием видных людей. После массовых посадок в 1937—38 годах лагеря постоянно пополнялись, так что их живое население всё время составляло около 15 миллионов. Общее число погибших оценивается в 30—40 миллионов (не считая жертв коллективизации и войны). Поскольку в качестве "врагов народа" выбирались наиболее видные люди, от террора больше всего пострадали интеллигенция и культурный слой городского населения. Можно предполагать, что "Великий террор" нанёс тяжёлый ущерб генетическому фонду нашего народа, что уже сказалось и ещё скажется на будущих поколениях.

Четвёртой катастрофой была мировая война. Несмотря на "индустриализацию", проведённую ценой голода, расстрелов и принудительного труда, вторая мировая война застала Красную Армию в слабом состоянии. Начатое техническое перевооружение армии не было завершено, граница не была укреплена, а командование было полностью истреблено и заменено кем попало. Сталин пытался отвести от себя опасность, заключив союз с Гитлером. Немецкий диктатор купил его, уступив ему восточную часть Польши и Прибалтику. Сталин усердно снабжал Германию военными материалами и продовольствием. Но Гитлер недооценил трусость Сталина. Он готовился к вторжению в Англию и боялся удара в спину. Поэтому он решил сначала устранить "русскую опасность", на что, по расчётам его генералов, требовалось от 4 до 6 недель. Война затянулась вследствие неожиданного упорства русских солдат, обширности территории и ошибок самого Гитлера. Прямые военные потери Советского Союза составили не менее 20 миллионов. Во время войны Сталин, спасая свою власть, меньше расстреливал генералов. Они были неопытны и учились в ходе войны — нетрудно понять, какой ценой.

После войны, оставившей нашу страну в развалинах, наступил голод. Работающие получали по карточкам 400–600 граммов хлеба, иждивенцы — 200 граммов. Деревня, уже опустошённая войной, вымирала. В эти годы Сталин, получив в свои руки атомную бомбу, задумал начать третью мировую войну. Он спровоцировал войну в Корее, где советскую агрессию остановили американцы. Дальше он планировал расширение войны, нападение на Западную Европу. Этому должна была предшествовать новая кампания террора

внутри страны, первыми жертвами которой были намечены евреи и интеллигенция. В ходе кампании Сталин хотел отделаться от своих “соратников”, старых членов политбюро, научившихся контролировать аппарат власти и, по-видимому, блокировавших его в последние годы. К тому времени он был уже почти невменяем и месяцами не показывался, запершись в своих убежищах. Это облегчало задачу “соратников”, пытавшихся спасти свою шкуру.

В конце февраля или в начале марта 1953 года Сталин умер. Официальная дата (5 марта) и обстоятельства его смерти недостоверны. По наиболее вероятной версии, на заседании политбюро, где Сталин предлагал начало нового террора и мировой войны, он впервые натолкнулся на открытое сопротивление своих “соратников”, после чего с ним произошёл удар, и его оставили умирать без медицинской помощи. Пятая катастрофа не состоялась.

Такова история нашей страны до 1953 года. Она может показаться невероятной, но каждый этап её запечатлён кровью миллионов. Та же история повторилась в общих чертах в Китае, где был свой Сталин по имени Мао. Недоверие будущих историков рассеют документы. Что касается людей, искренне веривших в партию и Сталина и не желающих пересматривать свою жизнь, то им уже нельзя помочь.

Соратники Сталина, придя к власти, устранили самые скандальные затеи диктатора, но никак не могли поделить между собой власть. Больше всех им был страшен Берия, контролировавший аппарат МВД (нынешнее КГБ). Этот человек хотел стать диктатором и готовился уничтожить всех других “соратников”. Членам политбюро удалось обмануть его и убить. Затем был снят с должности Маленков, носивший сталинский френч и оседлавший аппарат ЦК. Больше всего члены политбюро боялись, как бы кто-нибудь из них не стал диктатором и не принялся уничтожать остальных. Они выбрали самого безобидного и глупого из них, Хрущёва, и посадили его на место первого секретаря. Но Хрущёв оказался не так прост, как они думали. Он воспользовался тем, что старые “соратники” были запятнаны террором больше него, и разоблачил сталинские преступления, чтобы их ослабить. На двадцатом съезде он произнёс “секретный” доклад, на следующий день опубликованный во всём мире. В нашей стране его только читали на собраниях, но до сих пор не решаются напечатать. В этом докладе Хрущёв признал самые известные преступления Сталина и привёл подтверждающие их

факты. Он освободил также уцелевших политзаключенных. Вскоре Хрущёв изгнал соратников и стал чем-то вроде диктатора (1957 г.).

Настоящий диктатор из него не вышел, потому что коллеги по политбюро, отдавая ему почести, контролировали его и, в конце концов, в 1964 году сумели его снять. Смысл двадцатого съезда был в том, что партийная верхушка — члены политбюро, ЦК, секретари обкомов, министры — получили гарантии, что их не будут расстреливать и, без крайней надобности, не будут снимать с их постов. Эти господа не хотели больше дрожать по ночам, ожидая, что за ними приедут; они хотели мирно наслаждаться своими привилегиями. "Хрущёвский договор" соблюдается и до сих пор. Но Хрущёв, получивший власть на этих условиях, не мог убивать, а кто не может убивать, тот не диктатор.

Хрущёв пытался провести реформы, главной из которых была децентрализация промышленности и уменьшение власти министерств, но его убрали, и министерское управление было восстановлено. Главным результатом эпохи Хрущёва было ослабление страха и некоторое оживление культурной жизни: в это время не было массовых репрессий.

С 1964 по 1981 год нашей страной правила клика "младших соратников Сталина", убравших Хрущёва. Они выбрали генеральным секретарём самого безобидного и глупого из них Брежнева. В отличие от Хрущёва, Брежнев не проявлял энергии и довольствовался внешними признаками власти. Главным закулисным заправилой был при нём — по крайней мере, до последних его лет — некий Суслов, один из последних кровавых приспешников Сталина. Брежнев, давший имя этой эпохе, был пьяница, как и Хрущёв, но лишённый всякой индивидуальности и ещё более невежественный. Хрущёв мог импровизировать пьяный бред, но Брежнев всегда читал, что ему написали на бумажке.

Брежневская эпоха, когда сложился нынешний государственный строй, была временем застоя — окаменения общественных структур. Всякое движение в государстве прекратилось. Наши правители потихоньку грызлись между собой и изредка кого-нибудь выгоняли, но в общем все чиновники сидели на своих местах, стараясь не мешать другим. Практически это означало "китаизацию" страны: члены политбюро, министры, первые секретари обкомов превращались, как в Китае, в нечто вроде удельных князей, несменяемых и безнаказанных, пока не происходил какой-нибудь междоусобный скандал. В Ленинграде некий Толстиков, даже не член политбюро, но первый секретарь обкома, не пускал на экраны фильмы, шед-

шие в Москве: отсебятина, неслыханная до тех пор. Партийные кадры поняли сложившееся положение, как право красть в меру служебного положения, а эта мера менялась в сторону того, что теперь стыдливо называется “вседозволенностью”. Брежнев крал больше всех.

Выполнение планов всё больше превращалось в бумажное надувательство. Положение чиновника зависело не от работы его ведомства, а от его личных связей. Главной особенностью хозяйственного развала в брежневскую эпоху было обособление отдельных ведомств и отмирание связей между ними. Постепенно деятельность всех отраслей государственной жизни принимала механически бессмысленный характер. На международных встречах Брежнева высмеивали за спиной. Его коллеги, по-видимому, были этим довольны.

Средний возраст членов политбюро подходил к восьмидесяти годам. Многие из них превратились в беспомощных старцев, потеряв даже бывшие у них прежде скромные способности. По стране ходили анекдоты о “реанимации в Кремле”.

Трудно сказать, кто и зачем затеял афганскую авантюру, начатую в то время. Скорее всего, члены политбюро даже не могли найти на карте Афганистан и впутались в это дело, вообразив, что Афганистан уже входит в советский блок. Нетрудно понять, какую консультацию могли им дать генералы, возглавлявшие их военный аппарат. Брежневскую эпоху проще всего описать медицинским словом —*маразм*.

Брежнев умер, трудно сказать, своей смертью или нет. Может быть, его не стали в очередной раз реанимировать. За ним пришёл к власти Андропов, председатель КГБ. Это был первый случай, когда генеральным секретарём стал человек из ведомства, внушающего страх партийному руководству и потому мало подходящий для дальнейшей карьеры. По-видимому, “автором” Андропова был Суслов, под конец не ладивший с Брежневым и устроивший против него интригу. Суслов умер, а Андропов всё же стал генеральным секретарём. Его программа заключалась в замене скомпрометированных партийных кадров чистыми, незапятнанными кадрами КГБ. Вообще, Андропов знал только один метод, применяемый в его учреждении “тащить и не пущать”. Но ему не дали развернуться. Он был опасен для партийных кадров, и его пришлось убрать. Скорее всего, это сделал назначенный им в КГБ Чебриков, его бывший кадровик, который был за эту услугу щедро награждён.

Преемником Андропова стал Черненко, полный тупица, бывший собутыльник Брежнева в Молдавии. Он никому не был опасен, и

поэтому стал генеральным секретарём. При Черненко брежневские кадры снова спокойно вздохнули. Можно было ничего не делать и красть. Вместо Суслова за спиной генерального секретаря стоял Громыко, всегда занимавшийся не иностранными делами, а внутренними делами политбюро. Громыко подавал знаки Черненко, когда говорить и куда повернуться. Брежневский маразм мог продлиться ещё долго, но Черненко умер, и пришлось снова выбирать генерального секретаря. Выбрали Горбачёва, который казался достаточно безопасным. Но к тому времени в партийном аппарате образовался уже серьёзный раскол.

В сущности, после Брежнева в нашей системе почти ничего не изменилось. Здание, которое теперь хотят перестраивать, это постройка брежневских лет; казалось бы, она слишком хорошо известна, чтобы надо было её описывать: ведь мы всё ещё в ней живём. Всё же будет полезно перечислить основные черты этой системы, хотя бы для того, чтобы уяснить себе, насколько она зашла в тупик. Могло бы показаться, что эта система, в отличие от сталинской, устойчива: в ней как будто бы нет массовых репрессий, и вообще не происходит никаких катастроф. Как мы увидим, катастрофа происходит как раз сейчас, и мы все в ней участвуем.

Народное хозяйство нашей страны оторвано от потребностей народа и, по существу, перестало быть народным, а превратилось в бюрократическое хозяйство. Потребности населения стоят в этом хозяйстве на втором плане и удовлетворяются из остатков предприятий первого плана, которым во всём предоставляется приоритет. Все имеющиеся ресурсы — материалы, транспорт, валюта и рабочая сила — предоставляются прежде всего на строительство и эксплуатацию военной промышленности, о чём стыдливо умалчивают крикливые журналисты "перестройки". В этой области производства не действуют никакие экономические соображения: чтобы догнать далеко ушедшую вперёд военную технику Запада, допускаются любые затраты, и брак может быть во много раз больше исправной продукции. В военное производство направляют всех наиболее способных инженеров, почти всю одарённую молодёжь. Но все эти лихорадочные усилия ни к чему не ведут: соревнование с Западом мы проиграли. Никакие угрозы, никакое надувательство не могут изменить того факта, что мы безнадёжно отстали во всех видах промышленности, от которых в особенности зависит военная мощь: в машиностроении, строительстве, электронике, радио-

технике, и больше всего в вычислительной технике, справедливо рассматриваемой как мозг современной техники. Чтобы могли летать наши ракеты и военные самолёты, покупают за бешеные деньги у посредников устаревшие компьютеры, снимают компактные вычислительные узлы со стиральных машин и с детских игрушек. Но никакие ухищрения не помогают, когда речь идёт о новейших видах военной техники. У нас нет крылатых ракет, нейтронных бомб, современных космических кораблей многократного пользования. Точно так же, как прежде победу в войне давало превосходство в воздухе, в будущей войне победит тот, кому принадлежит космос. В этом соревновании у нас нет шансов. Дело даже не в том, что на такие программы у нас неоткуда взять средства: у нас нет *технического умения*, потому что наша техника отстала на целый исторический период.

Во всех случаях, когда советская военная техника сталкивалась с западной, она оказывалась битой. Во время боёв во Вьетнаме и на Ближнем Востоке советское оружие было полностью скомпрометировано. Мы перестали быть великой державой, и в этом одна из причин, толкающих партийный аппарат к "перестройке".

Бессмысленное военное соревнование с Западом высасывает все соки из нашего хозяйства. Но не менее важна установка на "преимущественное развитие тяжёлой промышленности", сохранившаяся в неизменном виде со сталинских времён. Предполагается, что тяжёлая промышленность должна быть основой военного производства, и в то же время лёгкой промышленности, работающей на народное потребление. Но строительство тяжёлой промышленности у нас не связывается с реальными потребностями в её продукции, а представляется некоей чуть ли не религиозной догмой. Например, планируется как можно большее производство металла, который затем бессмысленно гибнет в громоздких конструкциях, а чаще просто ржавеет под открытым небом. Предприятия тяжёлой промышленности строятся десятилетиями и очень часто бросаются недостроенными, когда же их достраивают, то оказывается, что их продукция годится лишь в музей по истории техники. Деятельность наших планировщиков и строителей, не меняющаяся со времён первых пятилеток, носит тот же отпечаток массовой психической эпидемии.

Средства, оставшиеся от военных и престижных предприятий, вкладываются в лёгкую промышленность. Но и здесь сплошь и рядом получается "производство без потребления". Поскольку рынок не имеет обратной связи с промышленностью, чиновники из госплана произвольно решают, что и как производить. Образуется де-

фицит самых необходимых, иногда простейших товаров, и в то же время продолжается безумное производство вещей, не находящих сбыта. Так как советских товаров не берут, приходится импортировать иностранные, затрачивая на это валюту; покупают по бросовым ценам, а продают по произвольным. Иностранные товары часто превращаются в привилегию для начальства.

Сельское хозяйство у нас намертво связано с колхозной системой, исключающей материальную заинтересованность и давно отучившей людей серьёзно работать на земле. Вообще, специфика сельского хозяйства требует непосредственной связи крестьянина с определённым участком земли: лишь в этом случае он может изучить и использовать особенности почвы, меняющиеся от места к месту, и лишь в этом случае он заинтересован в улучшении земли. Поэтому во всех развитых странах сохранилось индивидуальное фермерское хозяйство, хотя, разумеется, с новым техническим оснащением. Другим типом сельского хозяйства является плантационная система, в которой большие земельные площади, принадлежащие крупному землевладельцу, обрабатываются коллективным трудом работников, получающих за это какое-нибудь вознаграждение. Как показал опыт, плантационная система окупается лишь при условии использования рабского труда, да и то лишь для некоторых культур и в особо выгодных климатических условиях. В настоящее время этот способ земледелия в развитых странах практически исчез. Колхозное земледелие представляет собой попытку возродить плантационную систему. Ясно, что колхозники не более заинтересованы в своей работе, чем были когда-то чернокожие рабы. Но, в отличие от плантаторов, коллективный собственник земли, партийный аппарат — также не особенно заинтересован в сельском хозяйстве, поскольку положение бюрократа зависит преимущественно от его связей и от выполнения принятых формальностей. Какие при этом получаются результаты, нетрудно понять. Серьёзные усилия деревенского населения направлены на личное хозяйство и так называемые “приусадебные участки”, за счёт которых ещё могут существовать базары. Что касается полевого хозяйства, то оно ведётся таким образом, что приходится ежегодно покупать по контрактам зерно в Соединённых Штатах и Канаде. Таким образом, Россия, прежде *вывозившая* зерно и кормившая своим хлебом Европу, теперь зависит в поставках хлеба от американских фермеров, а в случае политических осложнений нас может оставить без хлеба американский президент.

Чтобы не оказаться без хлеба, мы тратим на импорт зерна боль-

шую часть наших скудных валютных поступлений. И очень важно отметить, что у нас нет хлебных резервов, без которых нельзя вести длительную войну. Сталин накопил в своё время хлебные резервы — известно, какой ценой, — и этим хлебом страна жила во время войны. Теперь мы зависим от хлебных поставок нашего потенциального противника, который всё это хорошо знает.

Вряд ли надо напоминать, как у нас работает транспорт. Достаточно заметить, что скорые поезда идут теперь вдвое медленнее, чем до революции, так что у нас есть теперь только медленные поезда, а почта идёт в 3–4 раза дольше, чем шла до революции.

Через 70 лет после Октябрьской революции рабочий может купить на свой заработок в 1,5–2 раза меньше одноимённых продовольственных и промышленных товаров, чем до первой мировой войны. Но это сравнение может ввести в заблуждение, поскольку в то время не было химической фальсификации пищевых продуктов и синтетических изделий. По существу уровень жизни рабочего снизился ещё больше, поскольку произошло резкое ухудшение "качества жизни" за счёт самых важных предметов потребления, вплоть до таких, как вода и воздух.

Страна живёт на грани голода. Искусственно поддерживается снабжение Москвы, в некоторых местах введена под новым названием карточная система на масло и мясо. Предстоит резкое повышение цен, которое сразу же вызовет рост цен на базарах. Доброкачественные продукты почти невозможно достать даже по рыночным ценам.

Следствием этой системы хозяйства является социальная катастрофа, размеры которой мы плохо осознаем. Состояние здоровья народа начало беспокоить уже даже наших бюрократов, потому что до 50% новобранцев оказываются негодными к военной службе (при крайне облегчённых медицинских требованиях), и потому что болезни простых людей, оказывается, снижают производительность труда. Наше начальство постепенно усваивает, что поддержание здоровья населения стоило бы меньше этих потерь, но до практических выводов ещё далеко: на практике продолжается лагерный подход, предполагающий, что зэков всегда хватит.

Медицинское обслуживание населения, кроме привилегированной верхушки, превратилось в видимость. Нет знающих врачей, нет современных лекарств и медицинской техники. Тяжёлые болезни у нас не лечат, а всем не занимающим положения в аппарате попросту предоставляют умирать. В итоге катастрофически выросла заболеваемость и смертность, особенно среди взрослых муж-

чин. Детская смертность резко повысилась из-за преступного гигиенического состояния родильных домов, превратившихся в рассадники заразы. В стране практически отсутствует квалифицированная помощь психически больным при непрерывном росте психических болезней. Трудно даже оценить, насколько отстала наша медицина от мирового уровня; для простого человека медицины у нас просто нет.

В течение десятилетий от народа скрывают состояние "окружающей среды". Лагерная установка нашего начальства привела к превышению в десятки и сотни раз предельных норм загрязнения воздуха и воды. Среди отравленных веществ, спускаемых в реки и озера, находится множество химических и радиоактивных соединений, не воспринимаемых на вид и на вкус. Начальство приучилось к тому, что народ можно безнаказанно травить. Попытки некоторых учёных разоблачить эту практику привели к их политическому преследованию. Чернобыльская катастрофа — не первая: она стала известна, поскольку её последствия сказались за рубежом. Она служит предостережением. Наши безумные планировщики расположили атомные электростанции возле больших городов, а техника безопасности на этих станциях работает так же, как всякая другая техника в этой стране.

Чтобы страна могла выжить в нынешнем сложном мире, нам нужны образованные люди — знающие и добросовестные врачи, инженеры, агрономы, учителя. Но система образования полностью развалилась. Среднее и высшее образование превратилось в бюрократические процедуры, не дающие серьёзных знаний, и ещё меньше умения их применять. Моральное развитие молодёжи подорвано системой надувательства и коррупции, рабским унижением учителей. Наконец, престиж образованного человека подорван его нищенской зарплатой. Мы единственная в мире страна, где специалист с высшим образованием получает в 2–3 раза меньше рабочего. Может ли он быть командиром производства? Иностранцы находят это смешным.

Наука в нашей стране также превратилась в бюрократический аппарат. Академиками выбирают чиновников, назначаемых директорами институтов. Мы не производим современных научных приборов, и очень мало ввозим из-за границы. Впрочем, лучшие и новейшие приборы вообще не продают — на них выполняют исследования. Наша экспериментальная наука может лишь заполнять щели в строящемся здании мировой науки. Небольшое число теоретиков, всё ещё успешно работающих, ориентируются на иностранные жур-

налы. В общем, в мировом научном процессе мало что изменилось бы, если бы у нас вовсе не было науки. Благодаря *старым* учёным и инженерам у нас были достижения в атомной и космической технике, но теперь мы далеко позади.

Само собой разумеется, что у нас нет наук о человеке и обществе — гуманитарных наук. Нам запрещают знать прошлое, особенно близкое прошлое нашей страны. Нам запрещают знать какую-нибудь философию, кроме карикатуры на философию Маркса. Нам запрещают знать, что такое право и закон. От нас скрывают важнейшие книги зарубежных авторов, запирая их в секретные фонды библиотек. Поэтому у нас уже почти нет людей, понимающих, как действует современное государство, знакомых с конституциями развитых стран и даже попросту хорошо владеющих иностранными языками. Нами правят малограмотные люди, читающие речи по бумажке — чего иного можно от них ожидать, кроме принудительной малограмотности для всех?

Такова картина нынешней жизни нашей страны. Так видит её гражданин не равнодушный к судьбе своего отечества, своего народа, своей культуры. Но почему встревожились наши аппаратчики-рабовладельцы?

Им не спится потому, что шатается их власть. Численность нашего управленческого аппарата оценивается в семнадцать миллионов. Это люди, не занятые ни в каком производстве и ничего не умеющие делать, кроме выполнения установленных бюрократических процедур. Всякий бюрократический аппарат подчиняется общим социологическим законам, и главный из них — это так называемый "закон Паркинсона", нередко служащий темой для юмористических разговоров, но выражающий очень серьёзную, в наших условиях трагическую действительность. По закону Паркинсона, бюрократический аппарат имеет тенденцию к безудержному росту, а по мере роста всё меньше взаимодействует с окружающей средой, сосредоточиваясь на своих внутренних проблемах. В наших условиях это означает, что партийный аппарат власти, разросшийся до невиданных в истории размеров, почти потерял контакт с человеческим обществом, которым он пытается управлять, и весь погрузился в свои внутренние распри. В особенности это относится к центральным учреждениям — политбюро, аппарату ЦК и министерствам, способным взаимодействовать лишь с низшими звеньями собственной бюрократической машины.

Но действительность окружающего мира настойчиво заявляет о своём существовании, и её невозможно дальше игнорировать. Ни

один бюрократический аппарат не вечен. Все они рано или поздно рушатся под давлением внешнего окружения, и наша “партократия” не может быть исключением. Ей угрожают опасности и вне, и внутри страны.

Существует большая часть Земного шара, не подчинённая политбюро. В этом независимом внешнем мире главную роль играют западные страны, возглавляемые Соединёнными Штатами. По традиции — или, лучше сказать, по инерции, сохранившейся со сталинских времён, — наше руководство продолжает безнадёжное “соревнование” с Западом за военное и политическое преобладание на Земле. Сталин, стремившийся к внешним завоеваниям, был остановлен твёрдым сопротивлением американцев и их союзников, сначала в 1948 году при попытке захватить Западный Берлин, а затем в корейской войне. После этого не осталось никаких шансов на мировое господство, и наши партийные господа не предпринимали уже серьёзных попыток в этом направлении. Но у них осталась установка на “конфронтацию” с Западом и высокая самооценка: они привыкли думать, что возглавляют “сверхдержаву”, и считают себя обязанными поддерживать этот сверхдержавный престиж. Учёные дали им в руки атомное оружие, взяв на себя тяжкую моральную ответственность: основные разработки для бомбы хиросимовского типа (1949 г.) выполнили Зельдович и Харитон, а для водородной бомбы (1954 г.) — Тамм и Сахаров. Наши безответственные правители использовали это оружие для шантажа.

В прежние времена государство, столь далеко отстававшее в экономике, технике и организации, было бы очень скоро разгромлено в войне, от чего разрушился бы его общественный строй. Причина, позволяющая нашим хозяевам мирно управлять страной и даже устраивать некоторые внешние авантюры — ядерный чемоданчик в их руках. От атомной бомбы *в принципе* не может быть защиты. Защита от всякого оружия не гарантирует безопасность каждого отдельного человека, но уменьшает число попаданий. При эффективной защите число убитых будет невелико, и уцелевшие смогут продолжать войну. Но при атомной бомбе *одно* попадание — например, в Нью-Йорк — может сделать продолжение войны бессмысленным, потому что никакие победы уже не исправят случившегося. Особый характер атомного оружия в том, что опасность одного-единственного попадания гораздо страшнее любого поражения в традиционной войне. Самая совершенная защита (которой пока нет и неизвестно, когда она будет) не может гарантировать от единственного попадания — это физически невозможно. Если из

2000 устаревших, плохо сделанных советских ракет одна попадёт в Нью-Йорк, это будет означать для Запада катастрофу. Вот почему Советское правительство, не способное соревноваться с Западом в производстве современного оружия, может шантажировать Запад.

На Западе знают, что советское руководство трусливо и лишено инициативы, но все ещё опасаются, что оно может начать атомную войну по глупости, в припадке страха, или просто по неисправности контрольных механизмов, как в чернобыльской катастрофе. Реальная опасность не столь велика, потому что запуск ракет, и особенно заряжение атомных боеголовок, делится на последовательные операции, недоступные непосредственным исполнителям без особой процедуры, запускаемой сверху: в этом случае её вряд ли запустят, поскольку в атомной войне даже начальству не удалось бы спасти свою шкуру. Поэтому страх перед советской атомной бомбой значительно больше в широкой публике, чем в осведомлённых правительственных кругах. В общем, в настоящее время возникновение большой атомной войны весьма маловероятно, и шантаж советского начальства перестал действовать на правительства западных стран, но сохранил своё действие на западное общественное мнение. Этим пользуется теперь советская пропаганда.

Содержание советской внешней политики после смерти Сталина состояло не в угрозе мировой войны, а в постепенном проникновении в страны "третьего мира", с использованием местных конфликтов. "Третий мир" — это страны Азии, Африки и Латинской Америки, со слабой экономикой и сильными пережитками первобытно-племенного и феодального строя. Эти страны, бывшие колонии или полуколонии западных стран, после второй мировой воины получили независимость и, как правило, не могут достичь экономической и политической устойчивости. В них часто происходят перевороты, и приходящие к власти группировки, обычно военные клики, провозглашают какой-нибудь местный социализм — африканский или исламский, афганский или никарагуанский, начиная повторять в своих условиях ошибки и преступления большевиков. Москва, давно потерявшая инициативу во внешней политике и плохо знающая, что делается в этих странах, механически реагирует на эти местные революции и мятежи, посылая своих советников, оружие и военный персонал. Процесс втягивания в иностранные авантюры объясняется особым способом действий нашего руководства, по-прежнему лишённого обратных связей. Активность американцев и других наций в "третьем мире", где они имеют обширные экономические интересы, провоцирует советское руководство вмешиваться в ситуации, где у

него нет никаких интересов, только унаследованные им великодержавные установки. Однажды втянувшись, политбюро не способно прекратить авантюру, потому что никто не решается оспаривать официально принятую политику, опасаясь обвинения в антипартийной деятельности, фракционной деятельности и т. п. Но тогда Москва не может регулировать свою политику, ставить условия, а вынуждена удовлетворять всё возрастающие требования своих клиентов и всё больше втягиваться в безнадёжные ситуации. Классическими примерами этого процесса стали Вьетнам, Ближний Восток и, в последние годы, Афганистан. Это в точности то, о чём говорит поговорка: "Коготок увяз — всей птичке пропасть".

В этих условиях Москва связала себя с гнилыми, безнадёжными режимами в разных частях света; вот неполный перечень этих бессмысленных авантюр: Вьетнам, Кампучия, Лаос, Эфиопия, Ангола, Мозамбик, Палестина, Сирия, Ливия, Куба, Никарагуа, Сальвадор и особенно Афганистан. Каждая из этих авантюр годами высасывает наши скудные средства и кровь наших солдат... Когда-то колониальные державы отправляли за море своих людей и вкладывали свои деньги, извлекая из этих предприятий доходы. Москва обзавелась "колониями", приносящими ей только расходы! Поистине эту политику можно назвать "антиколониальной".

Внешняя политика Москвы полностью провалилась. Режимы, поддерживаемые из Москвы, рушатся или выходят из-под контроля московских политиканов. Советское оружие оказалось негодным, на него сваливают всё поражение. И, самое главное, советское правительство не в силах оказать своим подопечным экономическую и финансовую помощь, так что они вынуждены искать её на Западе. Даже эфиопский полусумасшедший диктатор при каждом, почти ежегодном голоде в своей стране должен обращаться к благотворительности западных стран. Отношения с государствами-клиентами превратились для Москвы в источник постоянных унижений.

Так называемые "страны социализма" совсем отбились от рук. В 1980–81 годах с величайшим трудом удалось подавить рабочую революцию в Польше, но это была уже последняя победа. И Польша, и Венгрия, и Румыния, и даже Чехословакия и ГДР всё больше ориентируются на западный рынок, западную технологию и ждут спасительных западных займов.

Наше партийное руководство, со своей малограмотной и убыточной внешней политикой, превратилось в посмешище дипломатических кругов, в том числе своих собственных дипломатов. Члены политбюро знают, что их собственные послы смеются у них за спи-

ной. Смех специалистов — пусть даже плохих, но считающих себя специалистами, — постоянно преследует этих людей, подрывает у них уверенность в себе. *Советская внешняя политика дискредитировала наше руководство в его партийной среде.*

Во внутренней политике дело обстоит ещё хуже. Все видели, как провалились экономические “реформы” Хрущёва и Брежнева. Они и не могли удаться, потому что были бюрократическими реформами, простым пересаживанием чиновников. Даже небольшие допуски независимости предприятий, предполагавшиеся в этих “реформах” были уничтожены сопротивлением госплана и министерств. Политбюро безвольно наблюдало, как сводятся на нет его торжественно объявленные мероприятия. По существу, позиция брежневского руководства по отношению к нашей экономике была унылым фатализмом: против рожна не попрёшь. Это было правление “мертвяков”.

По-видимому, часть аппарата уже тогда поднимала вопрос о технической отсталости. Брежнев (а вернее люди, стоящие за этим безличным персонажем) затеял в начале семидесятых годов “модернизацию”, пытаясь привить к нашей промышленности новейшую западную технологию. Технология стоит денег. Умение делать вещи — машины, приборы, оружие, потребительские товары — достигается десятилетиями напряжённого труда. В то время как наши НИИ не спеша подновляли технику первых пятилеток, т. е. американскую технику тридцатых годов, на Западе возник новый технический мир. Фирмы, обладающие знаниями и навыками, хотят устоять в конъюнктурной борьбе и не всегда согласны продать свою технологию. Военные разработки и с ними связанные технологии нам, конечно, не продадут. Если технологию продадут, за неё надо платить миллиарды, и непременно валютой. Где же взять эту валюту?

Наша внешняя торговля немощна, потому что нечем торговать. Советские машины не берут даже “страны социализма”; советское оружие давно ославлено во всём мире, его берут только те, кто не может достать другое и по бросовым ценам. Наше сырье — древесина, уголь, металлические руды — обходятся слишком дорого и, как правило, не удовлетворяет мировым стандартам, а потому не выдерживают конкуренции. Продовольствие нам приходится ввозить. У нас осталось всего два товара, доставляющих валюту: нефть и золото. Нефть в последние годы подешевела, на мировом рынке предлагается в избытке. Золота добывается не более 400 тонн в год, и увеличить его продукцию не удастся, потому что россыпи истощены, а техника добычи плоха. Почти вся валюта, выручен-

ная за эти два товара, уходит на закупку хлеба: наше начальство хорошо знает, что будет, если исчезнет хлеб.

Брежнев пытался получить займы, но ему не дали, потому что он не предложил обеспечения. Он пытался убедить иностранных капиталистов строить предприятия в нашей стране, с оплатой долга произведёнными товарами. Но строить надо было через наши министерства, и нашлось мало желающих иметь с ними дело. На концессии, т. е. самостоятельную деятельность иностранных предприятий, наше руководство не шло и не идёт по сей день. Они боятся, что рабочие этих предприятий слишком много увидят и многому научатся. Попытки модернизации провалились, и Брежнев больше не делал ничего. Впрочем, к тому времени всё внимание политбюро поглотила борьба за власть.

Тем временем наряду с партийным аппаратом у нас развилась “технократия”, прослойка руководителей с инженерным образованием, служащих в министерствах, на заводах, в сосплане и госснабе, в научных институтах. Эти инженеры — плохие специалисты, но они считают себя специалистами и высмеивают за спиной “партократов”, ничего не знающих и имеющих претензию всем руководить. Они издеваются над этими болтунами, способными только прочесть по бумажке написанную кем-нибудь речь. Партийные руководители знают, что над ними смеются, и это подрывает их уверенность в себе. Таким образом, и *советская внутренняя политика дискредитировала наше руководство в его партийной среде.* Давление “технократов” уже принудило партийную верхушку разделить с ними власть. Естественно, эти “специалисты” делают ставку на научно-технический прогресс и предлагают реформы.

Но реформы внутри системы не могут её спасти. Никакая реорганизация управления и планирования не может заменить свободный рынок, единственный эффективный регулятор экономической жизни. Попытки увеличить самостоятельность предприятий *без* свободного рынка уже были в Югославии и привели эту страну к годовой инфляции в 135%, т. е. к ежегодному росту цен более чем вдвое. Экономическая реформа, способная спасти наше народное хозяйство, должна освободить рынок и производство от оков партократии. Но тогда 17 миллионов паразитов окажутся лишними. *Вот почему на серьёзные реформы они никогда не пойдут. Серьёзные реформы несовместимы с сохранением нашей системы правления*, а несерьёзные ещё раз провалятся. Конечно, наши руководители этого не могут признать. Они хотели бы продлить существование системы и передать её своим детям, наследующим привилегии своих отцов,

и те, кто помоложе, весьма озабочены судьбой этого наследства. Но они не могут сговориться между собой, как это сделать. Впервые с двадцатых годов в партии возник открытый раскол.

Старые брежневские кадры, сплотившиеся вокруг Лигачёва, хотят, чтобы было как можно меньше изменений. Это люди, сделавшие карьеру в условиях застоя, интриг и безнаказанности злоупотреблений. Им около 60 лет. За каждым из них тянется уголовное прошлое: дозволенное и недозволенное обкрадывание государства, взятки, подлоги, а в ряде случаев и убийства для устранения неудобных соперников и свидетелей. Они по сей день занимают ключевые позиции в партийном аппарате: это члены политбюро, чиновники ЦК, министры, секретари обкомов, генералы, судьи, прокуроры и палачи ГБ. Это крайне ограниченные люди, с подсознательной установкой "на наш век хватит". Долгие годы брежневского маразма приучили их к тому, что их система держится, несмотря на очевидные признаки распада, и они бездумно рассчитывают, что можно и дальше обходиться частными реакциями на происшествия: купить на чёрном рынке ещё один компьютер, завалить трупами ещё один Чернобыль. Они вообще не хотят реформ, а предпочитают разговоры о реформах, и в этом проявляется их нехитрая мудрость. Представьте себе, что предлагают устроить уборку в доме, выстроенном из мусора; если всерьёз подметать такой дом, начнут выметаться стены.

Эти люди — назовём их партократами — нехотя приняли компромиссные формулы "перестройки". Слово "перестройка" само является компромиссом: у поляков это называлось более ярким словом "обновление", которое здесь не решились применить. В Польше "обновлялись" уже три раза: в 1956 году, 1970 и 1980 году, и там в эту пропаганду никто не верит. Приняв "перестройку" и несколько других слов из нового жаргона, партократы сразу же принялись саботировать любые перемены. Это и есть "торможение" перестройки, на которое жалуются наши партийные активисты. Другой политики у партократов нет; на одном заседании, в ответ на разглагольствования Ельцина, ему прислали записку: "воровали и будем воровать", но из этого трудно сделать программу.

Партократы делают смешные попытки устроить себе поддержку снизу, насаждая и поддерживая русский шовинизм. Эти их маневры смешны и обречены на неудачу по следующим причинам. Во-первых, партократы, выросшие в канцеляриях, панически боятся

народа, не умеют с ним обращаться и при первом же самостоятельном движении снизу немедленно отрекутся от своих "союзников". Во-вторых, шовинистическое движение нуждается в недвусмысленных, черно-белых лозунгах, бесстыдно провозглашаемых на улицах, как это делал когда-то Геббельс; наши доморощенные фашисты ничего не добьются, пока им приходится стыдливо намекать на "сионистов" вместо общепринятого слова "жид". В-третьих, наши партократы не в состоянии увязать свою партийную идеологию со своей подспудной черносотенной пропагандой, и это будет использовано против них. И, наконец, у будущего русского фашизма негодный человеческий материал: деятели "Памяти" и "Трезвости" сами чиновники, из которых не выйдет штурмовиков.

Между партократами и "горбачёвцами" находятся "технократы", такие, как Рыжков, Ельцин или Зайков. Это люди с инженерным образованием, выбравшие партийную карьеру. Естественно, они презирают партократов, ничего не умеющих делать, и воображают, что могут всё сделать лучше. Их преимущество в партийной карьере — инженерный диплом и кое-какие зачатки технических знаний, и это преимущество они пускают в ход. У них есть и нечто вроде программы — "научно-технический прогресс"; они плохие инженеры, не знают, что делать с промышленностью, а тем более с сельским хозяйством, но по своему положению "специалистов" неизбежно должны быть за какие-нибудь "реформы". Критерии подбора, применяемые в партийном аппарате, исключают в них талант и яркую личность: технократы безличны и бесцветны. Те из них, кто проявляет какую-нибудь независимость и отклоняются от серого стандарта, не имеют шансов удержаться.

И партократы, и технократы думают лишь о своём бюрократическом аппарате, т. е. о перестановке чиновников. Те и другие никак не могут объяснить, почему не удались все предыдущие реформы. Тем и другим нечего сказать народу. Поэтому более энергичная фракция партийного аппарата, возглавляемая Горбачёвым, выработала демагогический курс, претендующий на поддержку простого человека и говорящий этому простому человеку *новые слова*. За неимением лучшего названия, мы обозначили этот курс неуклюжим словом "Горбачевизм".

Группа Горбачёва даёт объяснение, почему не удались все предыдущие реформы, и предлагает способ, как провести, наконец, удачную реформу. Оказывается, все прежние попытки реформ предпринимались сверху, бюрократическим путём, без живого участия трудящихся. При этом начальство, проводившее реформы, пренебрега-

ло социальной стороной экономических мероприятий, т. е. не принимало во внимание *человека* как рабочую силу и потребителя. Поэтому, — говорят сторонники Горбачёва, — и не удавались все прежние реформы, поэтому наша экономика отстала и приняла уродливый характер. На вопрос, когда же начались эти бюрократические извращения, горбачёвцы отвечают достаточно решительно: вскоре после смерти Ленина и, во всяком случае, сразу после устранения старых большевиков. Таким образом, весь период с 1928 до 1985 года составлял сплошное бюрократическое извращение, и только теперь в партии явились почему-то силы, способные исправить это извращение и вернуть нашу экономическую и общественную жизнь к высоким ленинским образцам.

Мы помним, что при Ленине было две экономических системы: военный коммунизм и НЭП. Нам объясняют, однако, что не собираются вернуть нас ни к той, ни к другой, а предлагают начать с того места, где остановился Ленин, то есть строить новую систему, какую Ленин хотел построить после НЭПа. Предполагается, что Ленин достаточно ясно представлял себе эту будущую систему, оставил об этом отчётливые указания, и дело лишь в том, чтобы эти указания исполнить.

Оказывается, коренной порок всей экономической политики партии да и вообще её политики после Ленина состоял в том, что в этой политике не было *демократии.* Нам дают понять, что при Сталине всё управление было "командно-административной системой", — то есть, народом просто командовали, — и даже "автократией", то есть командовал один человек. Такой способ построения социализма привёл, правда, к замечательным результатам — к появлению "сверхдержавы" и к победе в войне — но при этом народу отводилась пассивная или, как говорилось на старом русском языке, страдательная роль: исполнять приказы и есть, что дают. Всё это говорится не так прямо, но горбачёвские журналисты доводят до полной ясности то, чего не может сказать сам Горбачёв. Если к этому прибавить, что миллионы людей (извините, пока говорят — тысячи) посылались на смерть в угоду капризам одного человека, которого уже называют в печати *сумасшедшим* — я прочёл это сегодня в газете — то складывается представление, что между Лениным и Горбачёвым был не социализм, а что-то другое, тоже кончающееся на "изм". Этого нам прямо не говорят, но все понимают, что имеется в виду.

Итак, нам предлагают в качестве единственно спасительной ленинской идеи — демократию? Уже одно сопоставление памяти Ле-

нина с демократией наводит на мысль, что это слово означает в устах горбачёвцев нечто совсем другое, чем в политической практике демократических стран. "Демократия", которую нам рекомендуют, должна быть однопартийной, без свободных выборов и парламента, и, по всей вероятности, с сохранением КГБ. Во всяком случае, никто из горбачёвских пропагандистов не предлагал, чтобы советским гражданам было разрешено что-нибудь похожее на права, существующие в демократических странах. Ясно, что слово "демократия" служит у них средством политического надувательства, потому что *серьёзное* развитие демократии сразу же сделает их партию лишней.

У большевиков это слово было не в чести, хотя иногда они и говорили о "рабочей демократии" или "социалистической демократии". Прилагательные служили здесь для того, чтобы отнять всякий смысл у существительного. Но горбачёвцы пустили в обращение ещё более странное слово — "*гласность*", совсем уже чуждое большевикам и взятое из языка кадетов. Кадеты, называвшие себя "партией народной свободы", упорно настаивали на явном, не бюрократическом способе ведения государственных дел, подчёркивая, что единственно возможным условием такой "гласности" является *свобода слова* и *свобода печати.* И вот, нам предлагают "Гласность", или даже предполагают, что мы пользуемся этой "гласностью", когда печать подчиняется произволу партийных клик (и нет никакой другой!), а слово очень быстро приведёт человека в застенки того учреждения, которое при Ленине называлось ЧК, при Сталине ГПУ, а теперь называется КГБ.

Ясно, что все эти разговоры о "демократии" и "гласности" — политическое шарлатанство, *спекуляция* на сознательном или неосознанном стремлении к свободе, живущем в нашем народе. Берётся западное слово "демократия", кадетское слово "гласность", то и другое связываются с Лениным (которому они идут, как кошке шляпа), а затем предлагают нам всю эту словесную чепуху, как гарантию здорового развития общества и успеха хозяйственных реформ!

Чему служит эта демагогия? Кого хотят обмануть? Замысел Горбачёва и его клики очень прост: использовать сохранившиеся в нашем народе остатки политического сознания и политической веры. В самом деле, Лигачёв и его клика пытаются использовать широко распространённый, но политически бесформенный русский шовинизм, который ещё труднее приклеить к Ленину, и который не может существовать без православия и монархии. Они забывают при этом, что русские составляют теперь *меньше половины* насе-

ления страны, а потому русский шовинизм — это курс на распад государства.

Горбачёвцы проявляют в своей демагогии значительно больший политический реализм. Они знают, что в голове советского подданного не сохранилось никакого понятия о монархии, никакой способности к православию, но очень часто в этой голове всё ещё держится представление о Ленине и большевиках, бескорыстно боровшихся за рабочее дело. Ленину можно приписать и демократию, и гласность (благо никто не читает его сочинения), и, тем более, "научно-технический прогресс". Подновлённый таким образом ленинизм может служить вместо идеологии, с подразумеваемым сравнением: "Горбачёв это Ленин сегодня".

Демагогия горбачёвцев — это их *оружие в борьбе за власть*. Если им удастся захватить власть, одержать верх над старыми брежневцами, то не будет у нас *никакой* демократии, а гласность сведётся к разрешению использовать Сталина как козла отпущения за все грехи, вместе с Брежневым, о коем пока говорят глухо, и Лигачёвым, о котором ещё говорить нельзя. Будет создан ещё один "исторический" миф, новая система вранья о прошлом, сдобренная большей долей правдоподобных документов. Но ни в коем случае горбачёвцы не допустят свободной печати и свободного слова, потому что свободной России не нужно будет руководство этих людей.

Это очень жалкие, бездарные люди: других не производит партийный аппарат. Сам Горбачёв — выходец из той же партократии, плоть от плоти партийных кадров, ничего не умеющий делать вне партийной машины. Всякий, кто видел его на экране телевизора и слышал его речь, знает, как мало он похож на сильного лидера, на самостоятельную политическую фигуру. Он попросту один из многих, и его выбрала случайность. Но теперь, по законам партийной машины, у него нет пути назад. Так история использует для своих целей любой подручный материал.

Что же *объективно* делают Горбачёв и горбачёвцы, разумеется не ведающие, что творят? В действительности у нашей партийной бюрократии только один выход: продажа России иностранным дельцам. Страна, безнадёжно отставшая в технике организации и производства, по существу превратившаяся в "слаборазвитую" страну, может выйти из экономического тупика либо путём изменения общественного строя, либо путём иностранной экономической организации. Если общественный строй остаётся неизменным, то единственное спасение для наших правителей — широкое привлечение иностранного капитала, который только и может освежить нашу

экономику. Ясно, что новый вариант НЭПа, даже в широком понимании этого слова, наших трудностей не разрешит. Частная инициатива кустарей и огородников не может влить в нашу промышленность необходимые ей валютные и технические средства. Последняя надежда партийного руководства — это иностранные займы и сотрудничество иностранных компаний.

Но западные дельцы не торопятся с помощью и ставят свои условия. Они хорошо знают возможности России — её огромные, почти не разведанные природные богатства, её ресурсы дешёвой и покорной рабочей силы, её жадный и нетребовательный рынок. По существу, наша страна — последнее белое пятно в экономической географии современного мира. Но западные дельцы видят, что для эксплуатации России пока нет условий. Для этого они должны иметь достаточную свободу действий, не связанную бюрократическими цепями. Историческая задача, стоящая перед нашим руководством, объективно состоит именно в создании этих условий. Лигачёв и его клика не могут понять, что от них требуется, и не умеют или боятся удовлетворить будущих хозяев; горбачёвцы, напротив, готовы проявить в этом большую гибкость.

В наше время *политическая* колонизация невыгодна и вышла из моды. Никто не собирается нас завоёвывать и держать у нас оккупационные войска. Нас будут колонизировать экономически, навязывая нам свою власть таким же образом, как это делается во всех "слаборазвитых" странах. И точно так же, как это происходит во всех "слаборазвитых" странах, наши руководящие кадры возьмут на себя роль посредников и приказчиков иностранного капитала, в частности, полицейские функции, с целью обеспечить покорность и дешевизну рабочей силы. Такие посредники и приказчики известны под названием компрадоров, а типичным примером такой общественной структуры был (и становится снова) Китай.

Было бы наивно думать, что западные дельцы захотят насаждать у нас демократию и будут всерьёз заботиться о "правах человека". Они превосходно вели свои дела — и ведут их по сей день — в странах, где этих вещей нет и в помине; дельцы отлично ладят с самыми кровавыми диктаторами во всех частях света. Но эти диктаторы понимают, что от них требуется, и знают, за что можно получить деньги и поддержку. Наше руководство в этом смысле ещё не созрело. По существу его положение по отношению к Западу — это позиция с протянутой рукой, но при этом оно всё ещё затевает великодержавные выходки, и особенная система руководства хозяйством не даёт с ними договориться о серьёзных делах. Есть ещё и

внешняя, так сказать идеологическая сторона дела. Советский Союз целые десятилетия изображали как опасного, коварного врага, и всячески порицали существующие в нём порядки. В этих условиях трудно даже вести переговоры, поскольку западное общественное мнение болезненно реагирует на самые яркие проявления насилия и произвола, такие как аресты и убийства инакомыслящих, заключение неугодных людей в сумасшедшие дома, запрещение выезда за границу, глушение радиопередач.

Конечно, до серьёзных деловых связей и особенно до займов ещё очень далеко, но уже самая перспектива эксплуатации России вызывает в западных деловых кругах большой интерес. Эта общая тенденция соединяется в последнее время с тактическими интересами обеих сторон — положением американского правительства перед президентскими выборами и положением Горбачёва перед партийной верхушкой. Обеим сторонам нужны хоть какие-нибудь внешнеполитические успехи, чтобы поддержать свой престиж. Отсюда весь этот ажиотаж вокруг ракет среднего радиуса действия, военное значение которых очень невелико. Чтобы можно было вести переговоры с Москвой, не раздражая общественного мнения, Горбачёву дали понять, что он должен провести кое-какие "косметические мероприятия", и он сумел кое-чего добиться от своих коллег в политбюро: выпустили около двухсот наиболее известных политзаключенных и облегчили выезд определённым категориям лиц, особенно недовольных своим положением. Само собой разумеется, вопрос о "правах человека" от этого не сдвинулся с места. На Западе находятся глупые или бессовестные люди, изображающие эти косметические меры горбачёвцев как начало серьёзного изменения наших политических условий.

Бессмысленно рассчитывать, что эти условия изменятся от давления извне. Никто не станет навязывать свободу стране, которая сама её не хочет. Свободу не дают, а берут, она существует лишь для тех, кто умеет за неё бороться. Установка наших "инакомыслящих" на иностранное общественное мнение свидетельствует лишь об отсутствии политического мышления и неверии в живые силы страны. Конечно, необходима информация для иностранцев, и надо заботиться о жертвах преследования, но деятельность этого рода ни к каким изменениям не приведёт. Те, кто верит в будущее нашей страны, должны прежде всего осознать, чего они хотят. Можно заметить общие цели всех отвергающих наш политический режим.

Мы хотим, прежде всего, политической *свободы* — свободы слова, печати и собраний, без чего не может быть *никаких* изменений

в жизни страны, даже в самых простых хозяйственных делах. Это *означает* многопартийную систему.

Мы хотим освобождения производства и рынка. Это не обязательно означает передачу крупных предприятий в частные руки: они могут принадлежать, например, добровольным корпорациям или кооперативам. Но *государство не должно контролировать экономику и управлять ею* — иначе нам суждена вечная нищета.

Мы хотим *подлинного* равноправия всех граждан, независимо от национальной принадлежности, пола, религии и политических убеждений.

Мы хотим видеть нашу страну независимой и сильной, свободной и свободно сотрудничающей с другими странами, не посягающей на свободу других стран.

Надо понять состояние умов в нашей стране после беспросветного рабства сталинских и брежневских времён. Мы не надеемся на *быстрые* успехи дела свободы. Герцен говорил когда-то, что прежде чем утверждать республику, надо иметь хотя бы несколько сот республиканцев. Мы не можем рассчитывать на лучшую жизнь без *демократического просвещения* нашего народа и, прежде всего, интеллигенции.

За этим и вместе с этим — следует организация. Организация нужна уже для насущного, неотложного дела — создания и распространения свободной литературы, политической, научной и художественной. Разумеется, нам не нужны формальности: надо научиться работать вместе со своими друзьями для общей цели. Каждая группа единомышленников сама наметит себе эти цели, и они будут созревать в ходе работы. Мы относимся с недоверием к преждевременным попыткам учреждения формальных организаций, таких как партии и профсоюзы.

Было бы очень вредно подчёркивать на этом этапе нашей общественной жизни то, что нас разделяет. Первый урок из горестной истории последних семидесяти лет — это необходимость сотрудничества людей с разными взглядами.

Как же надо относиться к "перестройке"? Прежде всего, нельзя верить ничему, что говорят и делают Горбачёв и его люди. Те, кто поступают к нему на службу, помогая создавать ему приличный образ для иностранной публики, берут на себя тяжкую ответственность. Они обманывают народ, чем бы ни был заслужен их прежний авторитет. Нельзя говорить людям, что мы верим в перестройку, принимаем её всерьёз (в каком бы то ни было истолковании), намерены её поддерживать (с какими бы то ни было условиями)! Общее

дело нельзя делать с людьми, непримиримо враждебными всякой свободе, с демагогами и интриганами, дурачащими публику обессмысленными лозунгами "гласности" и "демократии". Обманщиков надо разоблачать, внося в умы наших соотечественников не замешательство, а ясность. Надо понять, что Горбачёв и его клика при первом же сопротивлении снизу пойдут на расстрелы точно так же, как это делали Сталин, Хрущёв и Брежнев. Каждый год у нас расстреливают сотни людей, и сейчас, во время "перестройки", больше прежнего — до семисот.

Всё это вовсе не означает, что раскол в партийном аппарате не имеет значения. Прежде всего, он разрушает партийный аппарат, и в этом его положительная сторона. Кроме того, даже самые жалкие инсценировки гласности можно и нужно использовать в качестве прикрытия для более серьёзной деятельности. Если повсюду размножились клубы, надо заботиться о том, чтобы в них занимались тоже чем-нибудь полезным. Если в печать проникает интересный материал, надо его читать, комментировать и критиковать. Вообще, всякая серьёзная деятельность должна быть как можно лучше укрыта от начальства, должна казаться невинной. Тех, кто ищет немедленной конфронтации с начальством, надо рассматривать как провокаторов. Тех, кто устраивает демонстрации в одиночку, вдвоём и втроём, рассчитывая привлечь этим внимание мировой печати, надо рассматривать как глупцов. Если вы хотите произвести на кого-нибудь впечатление, докажите, что можете вывести на улицу несколько тысяч, и хорошо обдумайте, надо ли это делать, а если надо — сумейте это организовать.

Независимо от намерений жалких деятелей "перестройки", она объективно *означает* неизбежность настоящей гласности и демократии, *невозможность без них обойтись*. В этом смысле "перестройка" является историческим сдвигом. Когда наши рабовладельцы соблазняют нас свободой, это значит, что они вынуждены пользоваться нашим языком. *Но это наш язык, и говорить на нём будем мы!*

Письма из России. Письмо 1
“Выборы народных депутатов”

Дорогие друзья,

вы пишете, что происходящие у нас события мало понятны, и справедливо предполагаете, что внешний мир наблюдает лишь поверхностный слой нашей жизни. Чтобы понять, нужен сколько-нибудь похожий опыт: может быть, совсем уж трудно рассказать всё это людям, чей опыт слишком далёк от нашего, например, американцам. Они понимают наши дела почти как марсиане, и столь же мало можно их в этом упрекнуть. То, что я дальше скажу, предназначается для вас, поляков, а вы для нас во всяком случае не марсиане. Во многом у нас общая судьба, и за латинскими буквами мы слышим знакомые слова. Ваш язык не звучал в моем детстве, я выучил его в пятьдесят шестом году, когда Польша вступила на новый путь, и с тех пор внимательно присматриваюсь к вашей истории. Польша не обманула наши надежды, а Россия оправдает ваши.

Боюсь только, что мои письма не дойдут до польских читателей: то, что я напишу, не подойдёт решительно никому. Слушая нестройный хор комментариев, приходящих из свободного мира, можно подумать, что правда никому не нужна: для разных целей фабрикуются удобные версии. Версии лучше вписываются в политические расчёты, чем правда — вечно грязная, бесформенная, мохнатая правда. Трудно обвинить в этом политиков, и тем более журналистов, попросту применяющих элементарную логику всякого познания. Ведь то, что мы считаем первичными данными, подвергается уже бессознательной обработке, зависящей от нашей личной и социальной истории, и нельзя требовать от иностранцев, чтобы они освободились от самих себя. У нас, русских, другие способы обработки, и наши восприятия не искажаются политическим расчётом. К сожалению, политики у нас ещё нет.

Там, где она есть, голая правда представляет нежелательный продукт. Конечно, мне не удалось бы напечатать мои письма в русской эмигрантской печати. Часть её уже приступила к смене вех, поддерживая перестройку, а другая часть сразу же угадала бы во мне социалиста и революционера. Ваш журнал, не проходящий цензуру, должен быть близок кругам Солидарности и КОР-а, но ведь теперь Валенса солидный государственный муж, и политика у вас

уже есть. Валенса знает, что́ он говорит, и зачем он это говорит, но ему приходится говорить то, что́ он говорит. Для удобства этой политики тоже нужна некоторая версия событий в России. Но у меня нет никакой версии. У меня только никому не нужная правда, и я намерен говорить эту правду со всем бесстыдством, на какое способен честный человек. Отсюда почти однозначно вытекает, что этим письмам не суждена никакая литературная жизнь, но я всё равно их напишу.

На автобусной остановке, где я бываю с незапамятных времён, расклеены предвыборные плакаты. Они украшены портретами кандидатов и содержат их программы. Правда, все они члены той самой партии, которой мы обязаны всем этим клубком проблем, но, если верить их обещаниям, они твёрдо решили всё это исправить. Одного волнует судьба неимущих, потому что вдруг оказалось, что треть населения живёт в нищете. Другой беспокоится об инвалидах и сам представляется как инвалид. Третий сражается с бюрократией и объясняет, что сам он не бюрократ, а воин-интернационалист, то есть один из тех, кто без лишних формальностей наводил порядок в соседней стране. На остановке публика равнодушна, но во дворах люди говорят. Они больше не боятся говорить, кроме тех, кто в эту партию вообще не верит и от этих выборов ничего не ждёт. Но даже эти иногда говорят, и если они простые люди, им ничто не грозит: как заметил Оруэлл, тоталитарная власть доставляет народу некоторую распущенность. Но интеллигент не должен забываться, и если у него на уме что-нибудь совсем не партийное, ему лучше молчать.

На остановке давно уже висит плакат, где издали читается одно слово: “Капернаум”. Непонятно, зачем здесь Капернаум, вижу это слово каждый раз и ленюсь подойти. Наконец, подхожу и читаю: “Группа Капернаум предлагает рок-альбом «Совесть»”. Фамилии авторов и больше ничего. Ну вот я и знаю, причём здесь Капернаум. Сегодня сердитый ветер. Ветер несёт сорванные афиши вместе с пылью, задувает пыль в глаза. Какая же нужна буря, чтобы очистить Россию?

Надвигается буря, но крови мы больше не хотим. У нас было немало мучеников, веривших в магическую силу жертвы. Наши предки шли на смерть, повторяя страшные стихи:

Иди и гибни безупрёчно
За убежденье, за любовь.

Иди и гибни: дело прочно,
Когда под ним струится кровь[1].

Понимал ли поэт, что это древний языческий обряд? Задолго до Христа, закладывая здание, убивали человека и муровали в фундамент его труп. На крови построили наш дом, и в этом доме невозможно жить. Христос научил нас, что жертва должна быть добровольной. Но жертва не должна быть глупой: мы не можем повлиять на судьбы мироздания, просто сократив свою службу на земле. Многие надеются приблизить торжество правды, отдав за неё свою жизнь.

Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство[2].

Мы должны быть кротки, как голуби, и мудры, как змии. Иначе мы ничего не сделаем на этом свете, если даже всех нас распнут.

Кто верит в магию крови, тот плохой революционер. Не будем же применять это слово к безумцам, а сохраним его за теми, кто сознательно оценивает окружающую жизнь и знает, что́ в ней надо изменить. Пусть не будет больше кровавых революций, забывающих свою цель. Наша цель — свободная Россия; и всё, что осталось от России, мы должны сохранить. И мы должны сохранить себя, физически и духовно. Может быть, вся мудрость нашего века заключена в словах Экзюпери: “Ты не можешь быть свободен, если тебя нет”.

Чтобы изменить общество, нужен устойчивый государственный механизм. Этот механизм надо осторожно менять, но крайне опасно его разрушить. Даже если бы мы знали, чем его заменить, внезапное крушение государственного аппарата было бы ещё худшей катастрофой, чем в семнадцатом году, потому что теперь в руках государства находится и вся хозяйственная жизнь. Развал государственной власти будет означать, что в городах не станет тока, воды и тепла, и начнётся массовое бегство из зачумлённых городов в разорённые деревни. Это переживут немногие, и притом не лучшие из нас. Мы ненавидим это государство, но хотим, чтобы оно выполняло свои функции, постепенно менялось под действием общественных сил. Научимся терпеть его, чтобы его уничтожить. Эта ржавая машина не раз застрянет в выбоинах перестройки, не раз придётся её подтолкнуть. Я не сторонник подчинения любому произволу, бывают случаи, когда на силу приходится ответить силой. Это последняя

[1] Н. А. Некрасов «Поэт и гражданин», 1856. — (*Прим. ред.)*

[2] О. Э. Мандельштам «Декабрист», 1917. — (*Прим. ред.)*

крайность, и можно надеяться, что в этой крайности войска откажутся стрелять. Как вы заметили, наши господа неохотно пускают в ход обычные воинские части. У них есть ещё специальные части, но при серьёзном сопротивлении они разбегутся, как крысы. И самое главное, никто не введёт в Россию оккупационные войска.

Есть ещё одна причина надеяться, что у нас не будет кровавой борьбы. Надо отдать себе отчёт в том, что наши аппаратчики — особенная порода людей, не способная ни к какой верности, ни к какой лояльности людей, видящих только свой собственный сиюминутный интерес. На первый взгляд это целая армия, но армия, где любой солдат готов предать своих командиров, а любой командир готов заключить сепаратный мир за счёт других.

Чтобы понять какое-нибудь явление, надо его с чем-то сравнить, то есть найти для него модель. Трудно найти в истории модель, напоминающую наш бюрократический аппарат. Впрочем, вам, полякам, можно предложить некоторое приближение — ваш собственный аппарат, сделав некоторые поправки. Наш аппаратчик как правило ещё глупее вашего, ему известны лишь самые примитивные способы красть. В Средней Азии они спали на матрацах, набитых сторублёвками. Они не умеют наслаждаться жизнью, их единственное наслаждение — это власть, или то, что они принимают за власть. Потому что власти управлять у них уже нет.

У них есть власть мешать и не пускать. Эту власть они унаследовали от человека с усами, очистившего страну от всего, что могло быть само по себе. Человек с усами знал, что чистку надо регулярно повторять, иначе вся работа пойдёт насмарку. Но повторять эту работу стало некому. Наши бюрократы, выросшие на очищенной земле, — это импотенты власти. Для репрессий нужен другой человеческий тип, ренегат революции, провокатор охранки или бандит, чтобы спасти свою шкуру в гражданской войне. Чтобы проливать кровь, надо смолоду привыкнуть к запаху крови. Чтобы устроить кровавую баню, кто-то должен отдать приказ, не боясь последствий. В последний раз это было в Новочеркасске, где приказ отдал старый ренегат Микоян. Бюрократ никогда не отдаст приказ, если у него не лежит в столе оправдательный документ. Поэтому больше не будет массовых репрессий.

Поле битвы бюрократа — его канцелярия. Содержание его жизни — борьба за власть, но в канцеляриях власть принимает символический характер: это не власть направлять события, а власть заседать в президиуме. Между тем, события идут своим чередом, в обществе идут подспудные процессы, похожие скорее на геологические,

чем на общественные, потому что в них нет отчётливо выраженных структур. Но всё же общественная жизнь имеет свои законы, очень непохожие на законы физики и потому малопонятные. По-видимому один из этих законов состоит в том, что общество не может жить без формально провозглашённых правил, иначе говоря, обществу нужна власть, опирающаяся на закон. Бюрократия — это безвластие, она ухудшает экономическую жизнь и ведёт за собой нищету, а в сфере управления порождает хаос. Анархия, как мы теперь знаем, вовсе не мать порядка: бюрократы только и делают, что наводят порядок, но не могут добиться его даже в собственном мире бумаг.

Впрочем, и в канцелярии может вырасти некоторый специальный талант. Конечно, он ориентирован на борьбу за власть в данном чиновничьем аппарате и не годен ни на что другое: в этом смысле бюрократ очень специализированное существо. Он ищет средство одолеть своих противников и открывает внешний мир: внешний мир для него именно *средство* карьерной борьбы. Чиновник тоже человек, следовательно он нуждается в приличном обосновании своего поведения, но меня здесь не интересует, чтó он *говорит* о своих мотивах себе и другим. В нашей стране говорят об этом семьдесят лет, и в самом начале, когда у власти были интеллигенты, их речи отражали ещё подлинную веру. Но потом власть захватили чиновники, а что такое чиновник, вы знаете не хуже меня. Он говорит разные вещи себе и другим, но его разговоры нельзя принимать всерьёз: его подлинные мотивы определяются его подсознательной психологией, а она во всех бюрократических системах одна и та же. Чиновник уверен, что мир состоит из подчинённых друг другу канцелярий, между которыми циркулирует бесконечный поток бумаг. Содержанием этих бумаг является некоторая фиктивная действительность, о которой известно лишь написанное в бумагах. Реальны для него лишь подчинённые друг другу канцелярии, а важно, как полагается в них заседать. Содержание жизни чиновника — сохранение и повышение своего ранга, с чем связаны сложные ритуалы и утонченные игры, почти недоступные для непосвящённых.

Вне своей канцелярии чиновник беспомощен и жалок, малейшее изменение обстановки ставит его в тупик. В одном советском романе изображены два важных чиновника, вздумавших совершить прогулку по Москве. Поскольку они привыкли передвигаться только в служебных машинах, они не знали, как проехать в метро, и обнаружили, что у них нет денег на проезд, потому что все их потребности удовлетворялись бесплатно. Читая эту историю, несомненно списанную с натуры, я вспомнил индийского раджу из мемуаров Черчил-

ля, который был приглашён на секретное совещание и требовал, чтобы в гостиницу пропустили его слугу, который должен был его одевать и раздевать. Черчилль был поражён, что этот вельможа не умеет без посторонней помощи надевать штаны. Английские лорды воспитывались в более тесном контакте с действительностью, которой не так легко было управлять. Но чиновник ничем в действительности не управляет и ничего не знает, кроме своих бумаг. Он знает только начальников и подчинённых, и если его первым начальником был начальник-отец, это всё, что ему надо знать.

В истории было лишь две страны, где бюрократия достигла совершенства — Россия и Китай. Китайцы имели бюрократию в течение тысячелетий, они населяли загробный мир духами-чиновниками, проходящими службу точно так же, как их коллеги на земле, с подробной табелью о рангах, с перемещениями по службе, командировками, наградами и наказаниями. В России до этого дело не дошло: у нас чиновники захватили только материальный мир. Но даже в этих двух чудовищных империях бюрократия имела свои границы. В Китае был сын неба — богдыхан, а у нас царь, не имеющий над собой начальства и, следовательно, не бюрократ. Было у нас дворянство, барин тоже был не совсем бюрократ, он мог выйти в отставку и уехать в своё имение или в Париж. Наконец, у нас было духовенство с высшим начальством на небе, творящим своё делопроизводство без бумаг. *Абсолютная бюрократия* есть новое явление в истории, его изобрела Россия в двадцатом веке, и никто не оспаривает у нас эту честь.

Название это не совсем точно, но что поделаешь, совершенство недостижимо в подлунном мире, а может быть и на луне. Две досадные трудности осложняют бюрократический процесс: дело в том, что он конечен. Идеальный бюрократический конвейер должен был бы уходить в бесконечность вверх и вниз, доставляя бумаги из преисподней на небо и обратно. Но человеку доступно лишь конечное, от чего, как известно, и происходят все человеческие несовершенства. И вот, снизу находится нечто неприятное и бесформенное, производящее, по-видимому, не только бумаги и существующее несмотря на все указания, на свой собственный манер: чиновникам так и не удалось устранить внешний мир. А сверху находится высшее начальство, над которым уже нет никакого начальства, и чиновник, добравшийся до вершины своей карьеры, оказывается в положении, к которому его не подготовила вся его предыдущая жизнь. Никто не приказывает ему, что он должен делать, и если у него нет больше соперников, он может сойти с ума. Сталин затратил всю жизнь,

чтобы оказаться в этом завидном положении, но он был не совсем нормальный бюрократ: он уничтожил всех своих конкурентов, и под конец у него осталось единственное занятие — охранять свою жизнь. Нормальный советский бюрократ не уничтожает своих конкурентов физически, а старается изгнать их из политбюро. Это доставляет ему занятия даже в том случае, если он генеральный секретарь. В идеале политбюро должно быть “чёрным ящиком” с недоступной внутренней структурой, поглощающим и испускающим бумаги. Но и этот идеал недостижим. Аппарат имеет достаточные сведения о том, что происходит в политбюро, и может на него влиять, а политбюро, всячески симулируя своё единство, переносит свои распри в аппарат. Но хуже всего для системы, что эти распри не остаются в аппарате, а переносятся во внешний мир.

Если бы внешний мир был только источником бумаг, то можно было бы достигнуть некоторого равновесия, принимая на нижний конец конвейера только бумаги утешительного содержания. Но, кроме того, аппарат существует за счёт внешнего мира, и если успокоительный тон бумаг не сопровождается больше равномерным потоком всевозможных житейских благ, то чиновники начинают суетиться и производят в своём аппарате перестройки. У вас в Польше это было уже несколько раз, но у вас во внешнем мире происходили серьёзные волнения, так что аппарат начинало трясти. У нас до последнего времени снизу всё было спокойно, не было надобности ещё кого-нибудь расстреливать, но поступление благ оскудело, и аппаратчикам пришлось всё-таки перестраиваться. Конечно, они были убеждены, что всё зависит от того, как они сидят. Есть басня Крылова под названием “Квартет”. В квартете заседают, как известно, проказница мартышка, осел, козёл и косолапый Мишка, которые добиваются улучшения своей музыки, меняясь местами. В первый год, когда Мишка возглавил политбюро, мне показали детскую игрушку, изображавшую крыловскую басню. Правда, в этой игрушке музыканты не могли пересаживаться, но, потянув снизу верёвочку, можно было заставить их водить смычками по инструментам, уныло покачивая головой. Я сразу понял, что это политбюро, принялся показывать игрушку знакомым, и кончилось тем, что её кто-то стащил.

Западные наблюдатели строят всевозможные гипотезы о замыслах Кремля, упуская из виду Оккама. Если вы хотите объяснить какое-нибудь явление, — учил этот мудрец, — то начинайте с самого простого из объяснений. Поведение нашего начальства, за редчайшими исключениями, объясняется внутренней грызнёй. Но случа-

ется, что в этой грызне получают преимущества те из чиновников, что догадываются опереться на внешний мир. Не забывайте только, что в нашей стране аппаратные игры первичны, а всё остальное вторично! Так вот, в физике есть закон, по которому внутренние силы не могут сдвинуть центр тяжести системы. Барон Мюнхаузен вытащил себя из болота за волосы, и на первых порах наш аппарат пытался действовать в том же роде; у них ничего не вышло, и тогда более сообразительные чиновники стали искать внешнюю опору для своей перестройки. Оказалось, что если действовать на этот внешний мир, то он, в свою очередь, действует на аппарат, вызывая в нем передвижения, и чиновник-новатор может надеяться, что таким образом устроится, наконец, желательная перестройка, после чего снова начнут поступать требуемые блага, а сам он будет вознаграждён. Разумеется, всё это делается методом проб и ошибок, потому что даже самый сообразительный чиновник понимает только движение бумаг: он рассчитывает сочинить так много постановлений, чтобы изменить этот загадочный внешний мир, и удивляется, что его усилия дают совсем другой результат. Внешний мир идёт своим путём, но начинает разваливаться аппарат. Чиновникам становится неудобно сидеть на своих местах, а некоторых даже прогоняют с насиженных мест, отчего складывается консервативная оппозиция. Консерваторы повторяют свои догмы, руководствуясь простейшим способом мышления — ассоциативным. Поскольку они долго сидели на своих местах и всё время повторяли свои заклинания, они рассчитывают, что повторение этих надёжных формул сохранит за ними их места. Таково мышление всех дикарей и всех консерваторов, и я прошу вас этому не удивляться, потому что первыми консерваторами были именно дикари.

Впрочем, в их позиции есть и некоторая житейская мудрость. В самом деле, реформаторы кричат, что в храме повсюду грязь, и предлагают в нем подмести; но жрецы знают, что из мусора построен весь храм, и требуют не подметать слишком близко от стен. Это выражается и более простым языком. Когда Ельцин, ещё в качестве московского секретаря, проводил борьбу с коррупцией, ему прислали в президиум анонимную записку: “Крали и будем красть”.

Беда в том, что из этого нельзя сделать идеологию, а марксизм-ленинизм не помогает, сколько его не повторяй. Консерваторы оказались в идейном тупике. И дальше я расскажу, как они заготовляют свой идейный корм. Но прежде объясню, что представляет собой Горбачёв.

В так называемую эпоху застоя он был незаметным членом политбюро. Точно так же он не выделялся, когда Брежнева сменил Андропов; говорили, правда, будто он был вначале конкурентом Андропова, но кроме имени о нем не знали ничего. Затем он был незаметен при Черненко. Мне не пришло бы в голову читать его речи, которые ничем не могли отличаться от других. Когда он стал генеральным секретарём, я впервые услышал его голос по радио: он говорил в Ленинграде, и я в несколько минут понял, чем может и чем не может быть Горбачёв. Нельзя сказать, чтобы я в нем разочаровался, это предполагает очарование, а у меня не могло быть такого чувства к члену политбюро. Не скрою, я кое-чего опасался, и как раз по этой причине прислушивался, как он говорит. Я опасался, что во главе партии станет грамотный человек, способный продлить ее жизнь. Горбачёв меня в этом смысле успокоил: он был удручающе неинтеллигентен. Собственно, я не имел причины от этого страдать, но примитивность удручает меня даже в моих врагах. Опасения мои были смешны, ведь я знал, что генеральным секретарём *не может* стать грамотный человек, что грамотность абсолютно противопоказана партийной карьере. Он оказался одним из партийных мужичков, парадоксальным образом демонстрирующих *советский* тип демократии. Это понятие вписывается в терминологию Токвиля: у нас как раз та демократия без свободы, которую он предвидел. Если демократия — правление посредственностей, принижающих всякое превосходство, то нет никого демократичнее наших партийных секретарей. Брежнев был тоже вполне народный тип, но он не умел говорить, а Миша, как говорят в народе, речист. Временами он пытается говорить без бумажки, что представляет уже неслыханное новшество; в таких случаях он говорит не столь уверенно, но быстро, находя какие-нибудь наполняющие слова. Выговор у него южнорусский, масляно-гладкий и торопливый, он “заговаривает зубы”, как мужички на базаре, чтобы всучить вам сомнительный товар. Речи его внутренне пусты, он заранее решает ничего не сказать и подыскивает общие места, вызывающие симпатию. Но симпатию он вызывает больше у иностранцев, не понимающих по-русски, и у наших псевдоинтеллигентов, непременно желающих сотворить себе кумира. Простой народ, как я неоднократно убеждался, считает Мишу болтуном.

Ещё в самом начале его карьеры я оказался в отдалённом районе Москвы, отыскивая в магазинах приличные ботинки. Ничего подходящего я не нашёл, но, выходя из универмага, купил “Правду” с очередной речью генерального секретаря и принялся читать

её на ходу. Вдруг слышу добродушный голос: "Стебанёшься, дорого́й, Горбачёва-дурака читаешь!" Оглянувшись, я увидел человека рабочего вида и вспомнил, что я в рабочем районе Москвы, меня заинтриговал употреблённый им глагол, который мог означать, по моим предположениям, "споткнёшься" или "свихнёшься". В тот же день мне случилось навестить специалиста по русской филологии. Он тоже этого глагола не знал, но вынул словарь Ожегова, где нашёлся глагол "стебать", означавший то же, что стегать; возвратная форма глагола у Ожегова отсутствовала. После этого я слышал много разговоров о Мише в автобусах и у себя во дворе: народ Мишу не жалует, а Раису, его супругу, просто не выносит и награждает эпитетами, неуместными в более утонченном кругу. Полагаю, что Ельцин приобрёл поддержку москвичей не потому, что его принимают всерьёз, а потому что Миша предал его в руки врагов. Такие вещи народ чувствует и не прощает: кто однажды продал, тот продаст и нас.

За границей он чрезвычайно популярен, и можно понять, почему. Между ним и его предшественниками иностранцы видят некоторое различие, и поскольку это различие им приятно, они его преувеличивают. На Западе жива ещё легенда о воинствующем коммунизме: почти семьдесят лет они представляли себе Россию как страну, населённую фанатическими большевиками, готовящими безжалостную войну с капитализмом. Конечно, Брежнев и его коллеги уже мало напоминали большевистских вождей, но они сохранили ту же классовую фразеологию, а главное, вели себя агрессивно, вмешиваясь во все конфликты, где эту словесность можно было применить. Самая внешность наших вождей казалась загадочной, а следовательно, опасной: простой человек не может представить себе, что великой державой правят апатичные глупцы, вяло реагирующие на внешние раздражители; чем непонятнее стоящие перед ним люди, тем более страшным кажутся ему их замыслы. Более искушённые наблюдатели, например, государственные деятели, могли предполагать, что Брежнев попросту спившийся идиот, но и это было совсем неутешительно, поскольку поведение таких лидеров случайно и может привести их в какой угодно Афганистан. На фоне своих предшественников Горби смотрелся неплохо. У него холеное лицо благодушного буржуа, он может улыбаться, передвигается без посторонней помощи и вообще ведёт себя как разумное существо. Можно представить себе, что и в частной жизни он похож на обыкновенного мужчину, а не на описанного выше восточного вельможу, не умевшего надевать штаны. Жена его тоже напоминает обыкновен-

ную женщину, все видели в газетах её фотографии у парижских ювелиров и портных. В общем, Горби кажется понятным, так что его появление может означать избавление от русской угрозы — хотя некоторые упорно твердят, что Горби хитёр и ему нельзя доверять.

Но Горбачёв вовсе не благодушен, он улыбается вовсе не потому, что вы ему нравитесь, а длинные речи произносит не для того, чтобы вам что-нибудь сказать. У нас был уже благодушный человек с усами, предпочитавший не говорить, а слушать, потому что у него был неприятный акцент. Он внимательно выслушивал каждого, кто к нему обращался, подолгу стоял с каким-нибудь провинциалом на площади Кремля, попыхивая трубкой, входил в его заботы и ненавязчиво внушал какую-нибудь нехитрую мысль. Человек долго и отчаянно боролся за власть, как теперь борется Горбачёв; для этого ему надо было выглядеть милым и безобидным. Нет, дорогой читатель, я не собираюсь вас пугать: аналогия заходит не слишком далеко. Сталин имел за собой подполье, царские виселицы и револьверы боевиков, охранку и ленинское цека, а потом — океаны крови, и всё это он прошёл, ни разу не уклонившись от цели. У него был только один талант, в остальном он был невежда, трус и лентяй. Но один талант у него был, в этом ему нельзя отказать. У Горби есть тот же талант и, во всяком случае, у него та же цель: он борется за власть, и для этой борьбы вполне вооружён. Но за ним другое прошлое: тридцать лет партийных канцелярий, обитые кожей двери, улыбчивые секретарши и услужливые секретари. Как и Сталин, он виртуоз аппаратных игр, но вокруг него другой аппарат: проигравшие не идут здесь на пытки и расстрел, а мирно доживают свой век на одной из охраняемых дач. Миша из того поколения советских бюрократов, кому не пришлось уже доказывать свою верность, проливая кровь, и мне кажется, что убийство — не его стиль.

Перед ним аппарат, каким его сделал брежневский застой. Здесь нет видных фигур, это гидра с тысячью безмозглых голов, в чём и состоит главная трудность его борьбы. Допустим, сегодня главный враг называется Лигачёв; допустим, удастся как-нибудь его устранить. Тогда аппарат подсунет вместо него следующего врага, это будет какой-нибудь Зайков или Рыжков, не всё ли равно? Перед ним бесформенная, обволакивающая слизь, она может его втянуть и переварить. Трудно разрушить то, что не имеет структуры, в этом всегда было проклятие разрушителей на Руси. Конечно, Горби сам не понимает своего призвания, вероятно, он думает, что призван созидать. Но ему ничего не дано создать, у него нет никаких соб-

ственных идей, он пуст, как любая его речь. Что поделаешь, человек чаще всего узкий специалист. Горби специалист по разрушению партии, той самой партии, которую он хочет исправить и спасти. Не улыбайтесь, уважаемый читатель: в истории люди чаще всего не ведают, что творят.

Вчерашний вечер я провёл у телевизора, разумеется, не своего. У меня никогда не было этой машины, и однажды мне не поверили, когда оказалось, что я не умею её включить. Как мне объяснили, это была передача из Ленинграда под названием "Пятое колесо"; мне сказали, что ленинградские передачи можно принимать только в некоторых районах Москвы, и привели какие-то научные причины. Во всяком случае, у нас в Средних Черёмушках всё было отлично видно и слышно. Это был неподражаемый цирк, сейчас я вам всё расскажу.

Транслировались предвыборные дебаты тридцати четырёх кандидатов, претендовавших на *одно* место; сейчас объясню, почему их было так много, а место только одно. Надо знать механику этих выборов, которую, по всей вероятности, сконструировал тоже Горбачёв. Задача состояла в том, чтобы обеспечить безопасный от всяких случайностей, предсказуемый парламент. Я одобряю это как философ, хотя и осуждаю как гражданин. Стране нужна устойчивая система правления, и лучше медленно меняющийся партийный парламент, чем случайные люди, хватающие рычаги власти. Кто знает, какой парламент дали бы нам *честные* выборы? В Германии ведь были честные выборы в тридцать третьем году. Горючий материал имеется у нас в изобилии, национальные страсти уже достаточно накалены, в том числе русский шовинизм, а под видом общества "Память" есть уже доморощенный фашизм. Конечно, нашим фашистам далеко до немецких, да и русских у нас всего половина населения, так что при трубных звуках шовинизма вся эта империя зла развалится, как стены Иерихона. Туда ей и дорога, — скажете вы, — но ведь я не хочу кровавых катастроф. Устойчивость с непрерывным изменением нам теперь важнее всего, и Горби, пытаясь только сохранять власть своей партии, действует пока в нужном направлении.

В результате выборов должен возникнуть "съезд народных депутатов" из двух тысяч человек. Разумеется, не способный работать и не предназначенный для работы. Съезд может всё ещё оказаться недостаточно надёжным, но он выберет "верховный совет"

из пятисот человек, разбитый на две палаты, который должен и в самом деле работать, во всяком случае, будет заседать несколько раз в году. Треть депутатов “съезда” вообще не избирают, то есть их назначает цека. Впрочем, уже вышла накладка в Академии наук, где вдруг объявились демократы, устроившие большой скандал. Остальные места заполняются по “территориальным” округам, пропорционально численности населения, и по “национально-территориальным”, выражающим представительство наций. При этом малые нации получают относительно больше округов, в России же они велики, так что, например, в Москве и Ленинграде много малых, “территориальных” округов, но весь город Москва составляет один большой, “национально-территориальный” округ, точно так же, как Ленинград.

Кандидаты на “съезд” пропускаются через целый ряд фильтров, начиная с предприятий до так называемых “окружных предвыборных собраний”. Первый тур уже прошёл, и способ работы этих фильтров известен. Начинается с того, что партийные организации заводов и учреждений выдвигают своих кандидатов, заранее согласованных с обкомом; естественно, казённые кандидаты имеют исключительное право рекламы в печати, по радио и телевидению, и ни для кого не секрет, кто контролирует печатание плакатов и афиш. Но, в отличие от всех прежних выборов, разрешено также выдвижение самодеятельных кандидатов, и в некоторых случаях, особенно в больших городах, было нечто вроде избирательных кампаний. Как правило, нежелательных кандидатов отсеивают на “окружных собраниях”, состав которых предусмотрительно законом не определён. Почти все кандидаты оказались членами партии, так что в большинстве округов соревновались на выборах два или три верных партийца, но во многих случаях усердие “окружных собраний” избавило аппаратчиков от конкуренции, и они баллотировались в одиночку. В очень редких случаях допустили к выборам и подлинно независимых кандидатов, которыми я в дальнейшем ещё займусь.

Чтобы понять смысл этой суеты, напомню, как устроились эти выборы и зачем они нужны. На девятнадцатой партийной конференции[1] Горби не смог добиться своей главной цели — изменения состава цека. Взамен он выторговал себе пост “президента”, вместо Громыко, но с бóльшим объёмом полномочий. Чтобы компенсировать эту уступку, было принято совершенно нелепое решение, что должности председателей облисполкомов (соответствующие ва-

[1] 19 конференция проходила с 28 июня по 1 июля 1988 г. — (*Прим. ред.)*

шим воеводствам) займут по совместительству первые секретари. Всё это грубо противоречило ранее объявленному курсу на разделение функций партии и государственной власти, так что казённые пропагандисты просто не знали уже, как врать. Здесь надо опять напомнить, что все идейные и деловые аргументы, приводимые в нашей печати, служат лишь прикрытием главного содержания событий — аппаратной грызни. Помните, я говорил о бритве Оккама? Ну так вот, аппаратчики полагали, что обстряпали выгодное дело, обеспечив себе удельные княжества в областях, но Миша решил их надуть. Чтобы стать председателем облисполкома, надо сначала быть избранным в областной совет, и это всегда была пустая формальность. Но если у нас будет больше демократии, секретарей могут и не избрать, не правда ли? А тогда они не только не станут удельными князьями, но вряд ли сохранят свой партийный престиж, то есть могут перестать быть секретарями. Но я забегаю вперёд: местные выборы ещё не скоро, их уже перенесли с осени на весну. Пока, напомню, прошёл первый тур выборов на всесоюзный съезд, и на днях будет второй.

Вы уже догадываетесь, почему на этих выборах столько демократии, и почему она остаётся, если так можно выразиться, *внутрипартийной*. Главный враг Горбачёва — это партийный аппарат, спускающий на тормозах все его мероприятия и, следовательно, не отдающий ему власть. Это вовсе не значит, что он хочет *вообще* устранить аппарат: напротив, без аппарата он просто не может существовать, в аппарате он вырос и может что-то делать только через аппарат. Он хочет заменить имеющийся брежневский аппарат своим, послушным его воле, а потом с помощью новых чиновников провести реформы. Какие реформы, он ещё не знает; пока у него нет власти, нет смысла об этом говорить. Вероятно, замыслы его идут не дальше китайского образца, то есть он хотел бы потихоньку распустить колхозы и ввести довольно широкий нэп с привлечением иностранного капитала. Польского или, тем более, венгерского пути он не хочет; его установка — это патернализм, внимательно контролирующий поведение управляющих, а его герой, скорее всего, старый хитрец Дэн Сяопин. Но он ещё не имеет власти что-нибудь *делать* — его изолируют на уровне слов. Грубо ошибаются иностранцы, воображающие, будто Горби *уже* сосредоточил в своих руках огромную власть. В Японии был когда-то церемониальный император, микадо, управлял же вместо него другой человек, сёгун. Нынешняя Россия — это сёгунат, которым не управляет никто, а Горби выполняет церемонии.

Горби задумал свой парламент, чтобы ослабить партийный аппарат, сбросить с себя его ярмо. Он хотел, чтобы с каждым аппаратчиком состязался на выборах другой коммунист, по возможности не связанный с партийной мафией, и чтобы аппаратчики были разбиты на этих выборах и посрамлены. Для этого он давно уже возбуждает партийные низы и околопартийную интеллигенцию. Он захватил со своими людьми популярную печать, и прежде всего цветной еженедельник “Огонёк”, он ведёт ожесточённую войну за радио, телевидение и кино. Он пытается скомпрометировать своих врагов, обвиняя их в коррупции — тоже через своих людей. Сам же он вынужден сохранять фикцию единства политбюро, того самого политбюро, которое связывает его по рукам и ногам.

Я приписываю всё это Горбачёву, но он, конечно, возглавляет в партии “радикальное” крыло, и многие его планы могут принадлежать другим. Например, у него есть Яковлев, бывший “партийный диссидент”, сосланный Брежневым в Канаду на дипломатический пост; в отличие от наших обычных дипломатов, он, кажется, говорит по-английски. Если это верно, то в политбюро впервые проник человек, знающий иностранный язык. Большевики, конечно, не в счёт, а Горби языков не знает: когда вам сообщают, что он говорил наедине с Тэтчер или Рейганом, это значит, что не было советского переводчика (шпиона политбюро), а был переводчик с той стороны.

Первый тур выборов прошёл[1], и хотя некоторые (как раз самые интересные) эпизоды его предстоят, итоги уже можно подвести. Думаю, что в основном Горбачёв своей цели достиг. Аппаратчики понесли в этих выборах большой урон; только в азиатских республиках они смогли провести выборы на старый лад (ещё, кажется, в Грузии и Азербайджане). Но русский народ, спровоцированный на поддельную демократию, проявил настроение, какого и сам Горби не ожидал. Оказалось, что народ аппаратчиков не выносит, и если был хоть какой-нибудь, пусть самый жалкий неаппаратный конкурент, народ выбирал его, чтобы выразить свой протест. Почти все члены политбюро избежали этого испытания, они прошли по списку цека, то есть выбрали сами себя. Это было весьма предусмотрительно с их стороны: Горбачёва, может быть, и выбрали бы в удачно подобранном округе, но всех остальных ждал позорный провал. Многие аппаратчики вышли на выборы без конкурентов, но это им не помогло. В Томской области первый секретарь, ставленник Лигачёва, не решился выставить свою кандидатуру в городе, где студенты

[1]Выборы проходили с 26 марта по 21 мая 1989 г. — (*Прим. ред.)*

университета приготовили ему горячий приём; он предпочёл захолустный северный район, и даже там позаботился избавиться от конкурентов. Но он упустил из виду, что эти места населяют уцелевшие мученики Сталина с их потомством, и парламенту придётся обойтись без этого секретаря.

В Москве, как вы знаете, был устроен единственный “большой” округ, и Ельцин состязался в нем с представителем московского аппарата. Конечно, он сумел стать кандидатом в этом важнейшем округе только с помощью Горбачёва: в политике сбитые фигуры нередко снова вступают в игру. Зачем это понадобилось Горбачёву, я потом объясню. И вот Ельцин получил 89 процентов голосов всей Москвы, теперь он *представитель Москвы*, и это важный политический факт. Но самое сокрушительное поражение нанёс аппаратчикам Ленинград — больше всех истерзанный, но непокорённый Ленинград. Здесь было выставлено шесть человек, возглавлявших местный аппарат, и они провалились все, в том числе первый секретарь обкома, кандидат в члены политбюро Соловьёв. Горби мог быть доволен: в Москве и Ленинграде аппаратом правят его враги.

После первого тура в Ленинграде остался непредставленным “большой” округ, охватывавший весь город. Аппаратчики решили схитрить, допустив к выборам всех без исключения претендентов на этот мандат. Можно предположить, что они хотели разбить голоса, затруднив этим избрание кого-то из них (потом мы увидим, кого). Итак, на одно место было выдвинуто тридцать четыре кандидата, и все они должны были участвовать в программе “Пятого колеса”. Каждому дали две минуты на первый раз, минуту на второй, и это продолжалось три вечера подряд. При всей нелепости этой процедуры, пародирующей избирательный диспут, это было очень интересно, именно потому, что отсутствовал предварительный отбор; можно было их всех послушать и рассмотреть, и (за единственным исключением) все они говорили от себя. Исключением был секретарь райкома, неумный и откровенно злой, с какой-то язвительной усмешкой, выражающей, по-видимому, его неверие в демократический процесс. Конечно, его заставили участвовать в этом спектакле, и он знал, что никто не собирается за него голосовать.

Один из кандидатов, застенчивый и хрупко интеллигентный молодой человек, был инженер по фамилии Толстой. Фамилия эта очень редкая, был всего один род Толстых, делящийся, впрочем, на

много ветвей. Потом мне сказали, что он приходится внуком “третьему Толстому”, который тоже был талантлив, но продал Сталину свой талант. Потомок графов Толстых не сказал ничего особенного, кроме общих гуманных идей, и ясно было, что политической жилки у него нет. Была там спокойная женщина средних лет по фамилии Салье, сотрудница одного из академических институтов, и я задумался. Как много было в Петербурге французов и сколько их осталось теперь. У этой женщины была диссидентская правозащитная программа, Сахаров прислал ей приветственную телеграмму, и несколько других сняли в её пользу свои кандидатуры. У неё был приятный грудной голос, приятная манера себя держать. Конечно, за неё будут голосовать только интеллигенты, и серьёзных шансов у неё нет. Был там молодой врач, который говорил правду о нашей медицине, и это было странно, потому что честь мундира у нас обязывает лгать. Конечно, с него снимут погоны, но из него выйдет гражданин.

Один из кандидатов представился как “временно неработающий”, что в переводе с советского на русский означает “безработный”; это был выгнанный со службы милиционер. Оказалось, что в Ленинграде была перед этим демонстрация милиционеров, предъявивших начальству свои требования. Было их сотни полторы, и всех выгнали — в нашей стране факт совершенно новый. Милиционер тоже был демократ.

Больше всего мне понравились молодые ребята, рабочие и инженеры, не верующие больше в партию, но желающие улучшить советскую власть. Они, конечно, наивны, но если их наберётся достаточно много и они всё-таки устроят советскую власть без коммунистов, я подскажу им, как её переименовать. Один из них, Андреев, особенно отличался юношеской тревожной чистотой; политическая карьера не для него, но не всем же заниматься политикой — мне она так же противна, как ему.

Был среди них и более серьёзный человек. Мужчина с бородой, объяснивший, что он организовал независимый профсоюз, приняв за образец польскую “Солидарность”. Теперь весь город знает его адрес и телефон, и неважно, что его не изберут на съезд. Ему всё равно придётся заниматься политикой — пусть же он будет силен, как Лех, и пусть нашим Гданьском станет Ленинград!

Только один из кандидатов был *хуже* партийного секретаря. Это был истинно русский человек по фамилии Любомудров, в каком-то особенно долгополом пиджаке, с неживым восковым лицом, как будто он пролежал в нафталине сто лет и его только что вытащи-

ли из сундука. Любомудров — это поповская фамилия особой выделки; я объясню вам, откуда эти фамилии взялись. Когда-то при выпуске молодых людей из духовных семинарий им давали новые фамилии, с которыми они принимали сан. Не знаю, откуда пошёл этот обычай; лет двести назад у крестьянских сыновей могло совсем не быть фамилий, а священнику фамилия полагалась, но зачем было менять их, трудно понять. Так или иначе, экзаменаторы имели право давать фамилии по своему усмотрению, в зависимости от репутации учеников: отсюда и пошли все Добролюбовы, Сперанские, Миловидовы, а также носители менее благозвучных фамилий, которые здесь ни при чём. Как видно, первый Любомудров был в своей семинарии философ, а нынешний Любомудров — русофил. Русофилы убеждены, что русских все должны любить, но не объясняют, за что. Когда русских не любят, они называют такое безобразие *русофобией* и ведут с ним яростную борьбу. Нет ничего горше неразделённой любви: как видно, русофилы пылко возлюбили другие народы, принесли им свои щедрые дары, а те отплатили им чёрной неблагодарностью. И тогда их любовь перешла в ненависть, так что теперь они любят только самих себя. Как знакомо это каждому, кто безответно любил!

Любомудров, может быть, и любил, но очень давно, когда у него было румяное лицо и коротенький пиджак. Теперь он только ненавидит. Он преподаёт в ленинградской консерватории, не могу представить, какой предмет. Засунул его туда обком, поощрявший "памятников" устраивать свои шабаши на ленинградских площадях. Любомудрова очень не хотели в консерватории, настолько не хотели, что в знак протеста ушли шесть преподавателей, в том числе и знаменитый дирижёр. У нас такого не было с дореволюционных времён: советский человек не уходит с работы, его надо прогнать. Любомудров не будет избран, точно так же, как районный секретарь. В Ленинграде знают, что к чему, и, как выразился один кандидат, "никаких соловьёв!"

Самым удивительным кандидатом был Иванов. У нас это вездесущая фамилия, как у вас Ковальский, поэтому надо прибавить: *следователь* Иванов, который с Гдляном. Потом я расскажу, кто такой Гдлян, и почему Иванов всегда вместе с ним. Иванов — человек лет сорока с небольшим, с лицом хитрого мужичка, которого на мякине не проведёшь; присмотревшись к нему, начинаешь опасаться, что он запросто проведёт тебя. Этот продувной мужичок говорит настойчиво, будто вбивает гвозди, доводя до последней крайности каждую из своих идей; иначе говоря, это беззастенчивый демагог.

Естественно, он не понравился мне с первого взгляда, он не понравился бы мне, чтó бы он ни говорил.

А говорил он странные вещи. Он говорил, что группа следователей, где он работает с Гдляном, это последний островок правосудия в нашей стране, заливаемый океаном мафии, что побеждает во всесоюзном масштабе организованная преступность. Он говорил, что сейчас разваливают “узбекское дело”, чтобы не открылись связи этого дела с Москвой. Он обещал бороться за правду и просил избирателей его поддержать, но в этот вечер не назвал никаких имён. Только что мне сказали, что сегодня он назвал, наконец, эти имена, но сегодня, говорят, отключили трансляцию, и “Пятое колесо” нельзя было поймать ни у нас, в Средних Черёмушках, ни в других районах Москвы. Передачу увидел только Ленинград, но вся страна тотчас узнала, кого он назвал. Людьми, к которым тянулись нити узбекской коррупции, оказались Романов, Соломенцев, Теребилов и Лигачёв[1].

На этом я мог бы и окончить письмо, поскольку изложение событий доведено до нынешнего дня. Но, мне кажется, надо вам объяснить, что это за люди и почему было так важно их назвать.

Романов ушёл с политической сцены в самом начале перестройки, он давно уже политический труп, то есть живёт, как мы уже говорили, на одной из охраняемых дач. Важность его в том, какие должности он занимал, и какие люди с ним были связаны. Придётся рассказать вам кое-что из отечественной истории. Романов долго был первым секретарём в Ленинграде и членом политбюро; при Брежневе он считался самым опасным претендентом на место генсека, но повредил себе несдержанными выходками и всех насторожил. В городе он хозяйничал, как сатрап, не церемонился с казённым имуществом; на свадьбу дочери он потребовал античные сосуды из Эрмитажа, гости их разбили, и директор музея имел мужество пожаловаться в политбюро. Генеральным секретарём стал Андропов, с помощью шантажа: он доказал (и распустил слух по всей стране), что дочь Брежнева спекулировала валютой. Это был единственный случай, когда генсеком стал начальник КГБ, и всё политбюро, естественно, сплотилось против него. В противовес ему взяли в Москву Романова на ту должность секретаря, которую раньше занимал Суслов, то есть поручили ему контролировать идеологию, армию и КГБ. Пожалуй, это было неосторожно: когда Андропов умер (или,

[1] Н. В. Иванов назвал имена тех, кто был связан с узбекской коррупцией в программе «Пятое колесо» 12 мая 1989 г. — (*Прим. ред.*)

что более вероятно, был убит), Романов стал бесцеремонно претендовать на власть. Товарищи сплотились против него и выбрали маразматика Черненко, а через год безобидного Мишу.

Вообще, генеральных секретарей всегда выбирали за безобидность, из страха перед кем-нибудь другим. Первым был Сталин, потому что все боялись Троцкого, а Коба никому не внушал опасений. Потом боялись Маленкова, демонстративно носившего сталинский френч, и выбрали безобидного Хрущёва. Когда его пришлось убрать, выбрали Брежнева, который был безобиднее всех. Но каждый из генсеков, даже Брежнев, выходил из-под контроля и начинал чудить. Один Черненко оказался и вправду безобидным, при нём можно было жить да поживать. Наконец, выбрали Мишу, кроткого, улыбчивого работягу, умевшего всем нравиться. Выбрали за очевидную безобидность — и вот вам результат! Можно подумать, что политбюро не обладает той коллективной мудростью, на которую претендует, можно даже усомниться в сакральном единстве политбюро в каждый отдельный момент.

Итак, после смерти Черненко Романова опять оттёрли, и он начал дурить. По глупости он облегчил задачу своим соперникам: будучи в Праге, напился и говорил лишнее, после чего нетрудно было его убрать. Всё это хорошо знают в Москве, но, может быть, не знают за рубежом. Мы знаем, что Романов много и успешно крал, но не знаем сколько, каким образом и как он распорядился краденым. Об этом кое-что знают Гдлян и Иванов, но пока хранят свои секреты при себе.

Другим вором, можно сказать, вором по должности был Соломенцев, член политбюро, возглавлявший партийный контроль. Каждый раз, когда узбекские и казахские воры везли в Москву свои сторублёвки, он получал самый большой чемодан. Все это знают, но, вероятно, Гдлян и Иванов могут это доказать. Соломенцев был изгнан из политбюро лишь в сентябре прошлого года вместе с Громыко, и мы до сих пор не знаем, как это произошло. Четыре года он контролировал перестройку — вот уж подлинный вор в законе! А Теребилов был председателем верховного суда. Тут всё ясно, не правда ли? Недавно он, как принято выражаться, вышел на пенсию. Где его чемоданы с деньгами? Где валюта? Ведь московские воры, в отличие от азиатских дилетантов, не спали на сторублёвках, а умели обращать их в конвертируемые ценности. Надо справиться в швейцарских банках.

Но всё это — политические трупы. По этим трупам Гдлян и Иванов идут к своей цели, и эта цель — Егор Кузьмич Лигачёв, главный

противник Горбачёва в политбюро. Мы ещё вернёмся к интересной личности Егора Кузьмича. Пока же я попрошу читателя полюбоваться нашим правосудием. Конечно, есть ещё генеральный прокурор, пока не названный Ивановым, и можно надеяться, что он бдит на своём посту. Но увы, как заметил некогда Собакевич, один прокурор, да и тот свинья.

Много вещей знают Гдлян и Иванов, и дорого заплатили бы аппаратчики из цека и политбюро, чтобы заткнуть им рот. Но Гдлян уже выбран народным депутатом в Москве, а Иванова может выбрать весь Ленинград. Не правда ли, демократия побеждает в России? Не спешите с выводами, друзья, подождите следующего письма.

Письма из России. Письмо 2
"Съезд народных депутатов"

Съезд народных депутатов заседал двенадцать дней: как нас уверяют, он положил начало нашей демократии[1]. Печать, радио и телевидение наперебой объясняют советским гражданам, что до сих пор у нас не было никакой демократии, что верховные советы не выбирались, а назначались и выполняли чисто церемониальные функции. Таким образом, то, что говорили о нас на Западе, оказалось правдой, а советская пропаганда оказалась враньём. Оказалось, что у нас была до сих пор "административно-командная система", которую передовые советские журналисты называют уже тоталитарной. Пока ещё не полагается называть её фашистской: полагается говорить, что у нас был все-таки социализм, но нехороший, "казарменный" социализм.

Теперь всё будет иначе. Лозунг "вся власть советам", семьдесят лет остававшийся безобидной фикцией, будет, наконец, воплощён в жизнь. Больше не будет заранее подготовленных решений и машинально поднимающих руки марионеточных депутатов. Отныне народные представители возьмут всю власть в свои руки. Свободно обсудив положение страны, они проведут необходимые реформы. Чтобы выйти из кризиса, нам нужна подлинная демократия, и такая демократия у нас уже есть.

Перейдём от слов к делу. Система выборов, описанная в предыдущем письме, привела к тому, что 86 процентов депутатов — примерно 1800 из 2100 — оказались членами партии. Накануне открытия съезда Горбачёв прочёл им установочный доклад. Он объяснил депутатам, что партийное руководство утвердило повестку дня съезда и приняло решения по всем вопросам, и что они, как коммунисты, обязаны голосовать за эти решения в порядке партийной дисциплины. Как это ни странно, оказалось, что съезд не должен заниматься принципиальными вопросами. Единственной его задачей оказалось распределение должностей, и кандидаты на все эти должности были заранее утверждены. Были утверждены председатель верховного совета, его заместитель и весь верховный совет, председатель совета министров, генеральный прокурор, председатель верховного суда и государственный арбитр. Всех этих людей

[1] 1 съезд проходил с 25 мая по 9 июня 1989 г. — (*Прим. ред.*)

съезд должен был *избрать*, и он их избрал. Правда, в составе верховного совета съезду разрешили сделать несколько поправок, а утверждённым кандидатам можно было задавать вопросы.

“Только и всего? — спросите вы, уважаемый читатель. Это и есть начало нашего парламентаризма? И значит ли это, что вся власть принадлежит теперь советам?” Разумеется, всё это надувательство. Парламент не может родиться из ничего, в стране, никогда не знавшей никакого самоуправления, а советы с самого начала не имели никакой власти, и никто не собирается им эту власть отдавать. Со стороны *содержания* здесь ничего нового нет, нова была только *форма*, то есть был испробован новый стиль пропаганды. Это прекрасно понимали иностранные журналисты, но сухая информация о результатах съезда теряется в восторженной эйфории. И журналистов можно понять.

Представьте себе, что какое-нибудь животное вдруг заговорит человеческим языком. Вашему изумлению и восторгу не будет границ, и вряд ли вы станете прислушиваться, чтó именно оно говорит. Журналисты были правы, потому что форма в этом случае была несравненно важнее содержания. Этого как раз не предвидели члены политбюро, потому что чиновники думают только о распределении должностей. И самая большая ошибка их была в том, что после четырёх лет “перестройки” они ещё раз недооценили “гласность”, допустив прямую трансляцию по телевидению всех заседаний. Поистине, Юпитер отнимает разум у тех, кого хочет наказать: Горбачёв выторговал у них эту уступку, и его враги не поняли, на что идут.

С их точки зрения, это была выгодная сделка. Правда, Горбачёв был утверждён президентом, как было решено на девятнадцатой партконференции, но они связали его по рукам и ногам. Они попрежнему приставили к нему в качестве заместителя Лукьянова, который учился с ним вместе на юридическом факультете, но вовсе ему не друг. Они оставили во главе правительства того же Рыжкова и, без сомнения, утвердили всех главных министров, которых будет потом “обсуждать” верховный совет. Рыжков — бездарный бюрократ, и его правительство доказало свою неспособность остановить надвигающийся кризис, но это не беспокоит членов политбюро. Для них важно, что Рыжков и его министры не могут перейти на сторону Горбачёва, потому что для сколько-нибудь серьёзных реформ потребуются другие люди. Далее, политбюро утвердило серый и послушный верховный совет, куда не вошли глашатаи перестройки, социологи и экономисты. Конечно, для законодательной работы такой состав не годится, и депутат Афанасьев уже определил его как

“сталинско-брежневский Верховный Совет”. Наконец, юридические должности по-прежнему заняли те же чиновники, прикрывающие коррупцию. Таким образом, Горбачёва блокировали на президентском посту, отделив его от реальной власти несколькими слоями бюрократии. И все эти решения Горбачёв обязан был проводить на съезде, притворяясь, будто он с ними согласен. Между тем, некоторые советологи вообразили, будто он захватил уже непомерную, почти диктаторскую власть. Какая ошибка! Он отчаянно борется за власть, но пока не имеет власти что-нибудь делать, даже власти свободно говорить. Ведь все его речи на съезде были тоже предварительно утверждены. Аппаратчики полагали, что обезопасили себя от всех случайностей.

Но они подставили себя под удар. Телевидение — страшная сила, и может быть впервые в истории нашей страны телевизор сыграл здесь полезную роль. Телевизоры есть у всех, даже самых бедных: были случаи, когда иностранцы отличали по антеннам человеческие жилища от помещений для скота. И во время съезда у телевизоров сидели все, кто только мог. Уже сообщалось, что от этого пострадала производительность труда, и я могу засвидетельствовать это собственным примером: две недели я почти не отходил от проклятого экрана, сидя в чужой квартире. Это был несравненный цирк, со всеми видами дрессированных зверей. Можно было видеть и членов политбюро, но они не сидели больше в президиуме, а в особом закутке, вроде ложи бенуара в театрах старой постройки. Время от времени операторы наводили на них камеру, и можно было видеть их лица, не отмеченные печатью мудрости, как говорил о таких людях Ходжа Насреддин. Кроме Горбачёва и Рыжкова, представившего программу своего правительства, никто из них не выступил на съезде. Они молчали, выражая свои чувства гримасами.

Чиновники, выросшие в канцеляриях, не видят себя со стороны и не понимают, какой у них вид. Они не умеют говорить и не понимают, какое впечатление производит их речь. Выставив себя напоказ, они потеряли весь свой престиж. Тайная власть должна оставаться тайной. Телевизор разоблачает носителя этой власти, делает его тривиальным, подсказывая непочтительные сравнения. Вождей следует показывать издали, на тщательно ретушированных фотографиях, подкладывая им под ноги невидимые скамеечки, чтобы у них был приличный рост. Сталин это хорошо понимал. А тут можно было увидеть всех, как они есть, сидящими в театральной ложе. Но почему в ложе, а не в президиуме, как было до сих пор? И если не в президиуме, то почему не в зале, среди других депутатов?

Без сомнения, это был наихудший вариант. Можно сказать, что их закуток напоминал скамью подсудимых, и им было не по себе на этой скамье.

Президиум, руководивший работой съезда, был составлен из представителей республик — председателей их старых, уже публично осмеянных верховных советов. Председателем президиума был Горбачёв, возглавлявший старый всесоюзный Верховный Совет. Такой состав президиума выражал, в некотором смысле, преемственность власти: ту же комедию предстояло играть на новый лад. Кроме Горбачёва, единственным членом политбюро, сидевшим в президиуме, был Воротников, играющий роль президента российской федерации, — уцелевший ставленник Андропова. В президиуме был также кандидат в члены политбюро Лукьянов, о котором уже была речь. Члены президиума должны были поочерёдно вести заседания, но Горбачёв хотел, по-видимому, всё делать сам, и поначалу вёл себя так же, как привык на всяких совещаниях: вставлял свои замечания, полемизировал с ораторами и отечески наставлял публику. Один из делегатов осмелился обратить внимание на это непарламентское поведение, и Миша изменил свою манеру. Он умолк и стал говорить только в важных случаях; без сомнения, он понял, что мелочной опекой над ходом прений подрывает свой престиж. Всё-таки он говорил на съезде много. Говорил мягким, успокоительным голосом, тщательно избегая эмоций. Тон его речи отталкивающе фальшив: по-видимому он не подозревает, что искренность тона составляет важное преимущество профессионального лжеца. К фальшивому тону прибавляются неправильное строение предложений и грубоватый южнорусский акцент, а поскольку ему в сущности нечего сказать, то на постороннего слушателя Миша производит жалкое впечатление.

Но Миша говорит не для нас с вами, а для своих, для людей той же подготовки и культуры, привыкших выслушивать и произносить такие же пустопорожние речи. Он знает свою публику и знает, чего от неё хочет. Формально Горбачёв был связан решениями партийного аппарата и почти ни в чём от них не отступил. Но, опираясь на своих сторонников, он вёл на съезде драматическую борьбу с враждебным ему большинством. В этой борьбе он добился некоторых успехов и подготовил почву для дальнейших сражений, даже если съезд, выбранный на пять лет, уцелеет и сохранит тот же состав; впрочем, при нынешнем темпе событий этого трудно ожидать. Как мы увидим, Горбачёв сыграл свою роль виртуозно: всякого артиста надо оценивать по законам его жанра. Чтобы понять его в его

естественной среде, надо отбросить интеллигентский снобизм.

Двенадцать дней длилась эта драма борьбы за власть. Но смысл того, что произошло, далеко выходит за рамки аппаратной борьбы. Горбачёву нужна была видимость демократии, и у людей развязались языки. Съезд превратился в вопль ужаса и негодования: партия ужаснулась делу своих рук и принялась обличать самоё себя. Голосами робких депутатов заговорила история. Понял ли Горбачёв, что произошло? Он хитро управлял съездом, полагая, что держит в руках актёров своего спектакля. Но и сам он был лишь актёром этой драмы, и трудно отделаться от впечатления, что его роль назначил ему более искусный драматург.

Горбачёв знал, что не будет иметь на съезде большинства, и принял свои меры. По всем важным вопросам депутаты голосовали почти единогласно, повинуясь партийной дисциплине. Но в некоторых второстепенных случаях они могли выразить свои вкусы, что позволяет сделать оценки. Полагают, что в политическом отношении съезд делится на три примерно равные части. Треть депутатов — отъявленные враги всякой перестройки и Горбачёва, хотя и соблюдают декорум уважения к генеральному секретарю. Бо́льшую часть их составляют депутаты, не проходившие выборов, а выдвинутые "общественными организациями", но многие аппаратчики были выбраны и в округах. Как я уже говорил, Горбачёв хотел, чтобы каждому аппаратчику противостоял другой коммунист, возможно менее связанный с местной партийной мафией. Он развернул широкую кампанию "снизу" по выдвижению таких кандидатов, используя накопившееся негодование населения против своих хозяев. Аппаратчики ответили на это мошенническим отсевом кандидатов с помощью "окружных предвыборных собраний" и фальсификацией голосования. Во многих случаях "перестроечники" мешали этой практике, проникая в избирательные комиссии, так что в больших городах манипуляции, как правило, не удались. Но в сельских округах, где не было такой активности, можно было не стесняться. Поскольку на этот раз не требовалось поголовное участие в выборах, в распоряжении чиновников было сколько угодно чистых бюллетеней. Применялись и простые методы давления. Некоторые из кандидатов рассказали, как председатель колхоза угрожал какой-нибудь старушке, что если она неправильно проголосует, то не получит кормов для коровы или других распределяемых благ.

Несмотря на все эти приёмы, избиратели при малейшей возможности проваливали аппаратчиков, предпочитая им кого угодно. Даже в тех случаях, когда чинушам удавалось отсеять всех своих соперников и выйти на выборы в одиночку, их нередко проваливали: самый факт *отсутствия выбора* оказался сильным отрицательным раздражителем. Стало быть, наш народ сделал первый шаг в демократическом воспитании.

Только в республиках Средней Азии, в Грузии и Азербайджане выборы удалось провести совсем на старый лад: 97 процентов избирателей явились к урнам и дружно выбрали своих партийных секретарей, в сопровождении непременных доярок и чабанов.

Другую треть депутатов составляют сторонники “перестройки”. Многие из них прошли тяжкие мытарства, связанные с выдвижением кандидатур, и одержали верх в “альтернативных” выборах над своими, обычно столь же партийными соперниками. Активность “снизу”, позволившая им пройти, поддерживалась сторонниками Горбачёва в аппарате, но часто проявлялась самочинно — людьми, уверовавшими в “перестройку” или пытавшимися использовать её против бюрократии. Таким образом, “демократизация” выборов, предпринятая как средство внутрипартийной борьбы, привела в ряде случаев к подлинно демократическим настроениям. И хотя почти все беспартийные депутаты оказались столь же послушными, как члены партии, на съезд проникло и несколько подлинно независимых депутатов: таковы издержки игры в демократию. Как мы увидим, один из них нарушил все правила игры и произвёл на съезде скандал.

Сторонники “перестройки” понимали игру своего хозяина и следовали его режиссёрским указаниям. На первый взгляд можно было подумать, что они говорили очень смело, но в этой смелости всегда была система. “Перестроечникам” разрешалось разоблачать прошлое, но нельзя было трогать Ленина и большевиков. В отдельных случаях они отваживались даже слегка критиковать самого Ленина, ссылаясь на то, что и сам он признавал свои ошибки; таким образом Ленин становится более привлекательным и человечным, и в этом виде его можно снова пустить в идеологический оборот. В настоящем времени запрещалось, конечно, высказываться против партии и социализма, но можно было критиковать “бюрократов” в министерствах и даже в партийном аппарате. Нельзя было называть по имени высокопоставленных врагов Горбачёва. Из членов политбюро был назван только главный враг, Лигачёв, но это разыгрывалось по заранее согласованному сценарию. Многие “пере-

строечники” наивно выдавали свою зависимость от Горбачёва, поворачивались к нему лицом (и спиной к залу), ссылались на личные разговоры с ним, в общем, вели себя как послушные школьники. Но другие сохраняли некоторое достоинство, хотя и соблюдали правила игры.

Остальная треть состоит из нерешительных противников Горбачёва. В начале съезда они примкнули к его решительным врагам и составили вместе с ними так называемое “консервативное большинство”. Это “болото” съезда ориентируется на складывающееся соотношение сил, и уже во время первой сессии заметно качнулось “влево”. (Заметим, что “левыми” называют теперь сторонников рыночной экономики, а сталинисты парадоксальным образом превратились в “правых”). Важнейшая задача Горбачёва — завоевание “болота”. Это дало бы ему возможность постепенно вывести съезд из-под контроля политбюро и противопоставить его цека, где у него всё ещё нет большинства. Чтобы отколоть болото от “правых”, надо показать, что у этих “правых” нет будущего, что они всё равно должны уйти и, следовательно, невыгодно с ними связываться. Можно рассчитывать, что многие депутаты, наблюдая за ходом прений и ощущая настроения в стране, со временем переменят курс. Точно так же, послушный Верховный Совет, как и все подобные собрания, будет слушаться того, кто окажется сильнее, и даже в политбюро соотношение сил можно изменить. Ведь те, кого я называю “врагами” Горбачёва, собственной позиции не имеют: это трусливые оппортунисты, готовые переметнуться при малейшем изменении обстановки. Как раз по этой причине Миша не позволил называть их по имени. Он знает, что в политике нет вечных врагов, и если удастся изгнать из политбюро Лигачёва, стоящего на другом полюсе нынешней конфигурации власти, то “болото” в политбюро качнётся в его сторону. Поэтому он щадит этих людей. Но Лигачёв должен быть изгнан, без этого система не сдвинется с мёртвой точки.

Поскольку генеральный секретарь обязан соблюдать фикцию единства политбюро, он поручил травлю Лигачёва своим агентам, действующим как будто бы на свой страх и риск. Лигачёва обвиняют в коррупции, и его главные обвинители — уже известные нам следователи Гдлян и Иванов. Горбачёв постоянно поддерживает с ними связь. Стало известно, что во время избирательной кампании, перед отъездом Иванова в Ленинград, он принял Гдляна и Иванова и долго говорил с ними. Отсюда ясно, почему Иванов проявил гражданское мужество в телевизионной передаче, описанной в моем пер-

вом письме. Ясно также, зачем Горбачёв провёл обоих следователей на съезд. Гдлян был избран в одном из округов Москвы, а Иванова демонстративно выбрал весь Ленинград. И поскольку заседания съезда полностью транслировались по телевидению, их обвинения слышала вся страна.

Замысел состоял в том, чтобы доказать связь Лигачёва с узбекской коррупцией. Вся брежневская система власти была коррупцией, но некоторые её части выглядели особенно бесстыдно. В Средней Азии советская власть превратилась в откровенную власть бандитов, и самой страшной была шайка, захватившая Узбекистан. Её возглавлял член политбюро Рашидов, целовавшийся с Брежневым перед телевидением и сам воспевавший свои достижения: он был ещё и *писатель*. В Узбекистане была чисто феодальная пирамида власти, основанная на семейных связях, личной преданности и взятках. Должности продавались и покупались, и местные начальники обращались с населением, как с рабочим скотом. В газетах рассказывалась история Адылова, возглавлявшего гигантский передовой совхоз: у него были застенки, где пытали и казнили непослушных, и, конечно, гарем, куда брали всех приглянувшихся ему женщин. Такова была в Узбекистане советская власть — не при Сталине, а совсем недавно, и такой она остаётся по сей день.

Андропов, чистый и непорочный чекист, боролся за власть более примитивным способом, чем Горбачёв, но и он додумался искоренять коррупцию. Он принялся за прогнивший Узбекистан: Рашидов попал в немилость и, как утверждают, покончил самоубийством. Узбекистан стал поприщем деятельности следователей из Москвы, а поскольку в роли обвиняемых должно было оказаться всё местное начальство, то понадобилось очень много следователей — несколько сот. Разумеется, от них можно было откупиться, и новый первый секретарь Усманходжаев, возглавивший узбекскую коррупцию после Рашидова, по существу оставил её в том же виде. Чемоданы с деньгами по-прежнему шли в Москву, и Адыловы по-прежнему тиранили своих рабов. Но наступил восемьдесят пятый год, началась “перестройка”, и “борьба с коррупцией” оказалась в более ловких руках.

Одну группу следователей, выполнявшую особо важные функции, возглавлял Тельман Гдлян. Как показывает его фамилия, он армянин, а Тельман — это его имя: в тридцатых годах детям давали такие имена. В группе Гдляна было больше ста следователей, и главным его помощником был Иванов. Хозяином Гдляна стал Горбачёв, которому он верно служит, поскольку нажил уже столь опас-

ных врагов, что другого пути у него нет. Должность его называется “старший следователь по особо важным делам при прокуроре СССР”; это очень высокая должность, до которой никоим образом не может дослужиться честный человек. В нашем правосудии *нет* честных людей, и чем выше должности, тем хуже занимающие их чиновники, так что Гдлян не вызывает сомнений. Впрочем, если эта дедукция не внушает вам доверия, расскажу вам следующую историю.

В 1985 году Гдлян был направлен в Эстонию по так называемому “делу Хинта”. Это дело широко освещалось в эстонской печати, его знает вся республика, а Эстония, всё-таки, не Узбекистан: прибалтийские народы упорно сохраняют буржуазные понятия о правосудии. Так вот, Хинт был выдающийся учёный, даже официально признанный — награждённый Ленинской премией. Он изобрёл эффективные средства для лечения язвы желудка и других болезней, а поскольку наше министерство здравоохранения имеет иные интересы, чем лечение больных, он пытался довести свои открытия до потребителя, организовав для этого кооператив. Законы, относящиеся к кооперативам, были строго соблюдены: как мы ещё увидим, в Прибалтике живут неисправимые законники. Кому-то этот кооператив был неудобен и, как видно из дальнейшего, прокуратура Союза получила задание его уничтожить. Это задание исполнил Гдлян, назначенный следователем по “делу Хинта”. Поскольку никаких корыстных преступлений не оказалось, он пошёл на прямую подтасовку: *кооператив* был обвинён в нарушении формальных правил, обязательных лишь для *государственных предприятий*. По мнимому обвинению в нарушении формальностей Хинт и его коллеги были посажены в тюрьму, хотя для такой “меры пресечения” в отношении подследственных не было никаких оснований. Следствие длилось много месяцев, допросы бесконечно повторялись, а тем временем у Хинта умирала жена. Суд приговорил обвиняемых (при полном отсутствии корыстных мотивов!) к длительным срокам заключения, и Хинт, уже старый человек, умер в тюрьме. Эстония знает и проклинает Гдляна. Что ж, у Горбачёва такие борцы с коррупцией, каких он мог найти.

И вот, этот Гдлян, проводивший в Эстонии сталинскую практику судебных фальсификаций, должен был искоренять коррупцию в Узбекистане, что было куда труднее. В некоторых случаях его попросту пытались убить, и наши журналисты, получившие задание прославить новоявленного Шерлока Холмса, взахлёб рассказывали истории, как эти храбрые следователи сбивали со следа убийц, вы-

бирая неожиданные маршруты и меняя автомобильные номера. Но главная трудность была в том, что Гдляну и его следователям противостояла круговая порука: всё местное начальство и запуганное население, приученное молчать. Местное начальство, как и во время Рашидова, имело крепкую поддержку в Москве. Мы уже знаем, что́ представляют собой прокуратура, верховный суд и партийный контроль, но эти учреждения составляют неотделимую часть главной системы коррупции — московской. Прокуратура, где служил Гдлян, делала всё, чтобы ему помешать, и только поддержка Горбачёва позволила ему продолжать расследование. Против Гдляна и его группы выдвигаются теперь тяжкие обвинения. Они держали подследственных в тюрьме до трёх, и даже до пяти лет, но у нас можно держать их в заключении хоть всю жизнь, если имеются периодически возобновляемые санкции прокурора, утверждённые президиумом верховного совета. Странный порядок, не правда ли? Кстати, все эти годы Горбачёв находился в президиуме, а в конце был его председателем, так что многолетнее заключение подследственных он *официально* одобрял. Далее, условия заключения были такие, как у нас принято: сырые, душные камеры, до отказа набитые всеми видами преступников. На это даже неловко жаловаться, но Гдляна обвиняют в том, что он целые месяцы держал людей в этих камерах *без допросов*, чтобы их сломить. Он предлагал им также выгодные для них сделки, если они дадут требуемые показания на более важных обвиняемых. Конечно, так поступают у нас *все* следователи, и Гдлян мог бы ответить, что применял эти обычные методы к закоренелым преступникам, связанным круговой порукой. И вот, к нему были предъявлены требования, исполненные неслыханного гуманизма, газеты печатали о нем обличительные статьи, а завершавший свой срок верховный совет создал под занавес комиссию, невероятно быстро составившую против Гдляна обвинительное заключение. Среди подписавших его был министр юстиции Кравцов, теперь уже снятый с этого поста; *на следующий день* тот же Кравцов опубликовал статью в противоположном смысле, объявив Гдляна чем-то вроде своего ученика. Шла какая-то тёмная игра, чиновники метались из стороны в сторону, журналисты старались как можно убедительнее сказать некоторую часть правды, скрывая всё остальное.

Впрочем, загадочны были только детали этой игры. Смысл её был ясен из эпизода, происшедшего ещё в прошлом году на девятнадцатой партконференции. Накануне конференции редактор “Огонька” Коротич, доверенный человек Горбачёва, опубликовал в своём

журнале неслыханное утверждение, что в числе делегатов конференции имеются взяточники. Он не назвал никаких имён и не привёл никаких доказательств; неудивительно, что у собравшихся на конференцию аппаратчиков эта инсинуация вызвала возмущение. Коротича призвали к ответу: только этого ему и надо было. Он подошёл к столу президиума и выложил папку с документами, сказав небольшую речь. В отчёте об этом закрытом заседании было сказано только, что его обвинения касались четырёх делегатов (теперь уже сидящих в тюрьме), но не были названы их имена. Он предъявил также копии обращений Гдляна и его товарищей в цека партии, представлявшие особенный интерес. В ряде случаев следователи хотели возбудить дела против важных партийных деятелей Узбекистана, но для этого требовалась (по *обычаю*, а не по закону!) санкция цека. И вот, все эти обращения остались без ответа. Попытки добраться до высшего уровня узбекской коррупции жёстко блокировались в цека.

Кто же осмеливался это делать? Известно, что борьбу с коррупцией ведёт Горбачёв, что он долго и упорно добивался кадровых перемен в Средней Азии. Его журналисты, записные сторонники "перестройки", печатали душераздирающие статьи о системе рабства и насилия в этой части страны. Они же всячески рекламировали подвиги Гдляна и Иванова. Мешать этим рыцарям правосудия мог только человек, имевший для этого достаточную власть и не боявшийся Горбачёва. Это мог делать только один человек — Егор Кузьмич Лигачёв.

Чтобы это понять, надо кое-что знать о сложившейся у нас структуре власти — какой она была до недавних пор. Сталин перенёс власть из цека в секретариат, который он возглавил в 1921 году. Секретариат превратился в аппарат для подготовки решений и оперативного руководства, а "ленинский" цека принял церемониальный характер, как впоследствии верховный совет. Хрущёв усилил роль цека, воспользовавшись этим собранием, чтобы избавиться от "соратников" Сталина — Молотова, Ворошилова и других. Усиленный таким образом цека впоследствии помог разделаться с самим Хрущёвым, и понятно, что Брежнев, не желавший дальнейших драматических перемен, опять перенёс всю власть в секретариат. Но он не вполне контролировал это учреждение, потому что Суслов, заведовавший идеологией, армией и КГБ, по существу играл роль "второго секретаря". В начале брежневской эпохи Суслов был чем-то вроде "серого преосвященства" при Брежневе, инспирировавшего все решения, но под конец его влияние ослабело. Как мы уже зна-

ем, главная забота политбюро всегда состояла в том, чтобы никто не захватил слишком много власти. Андропову был противопоставлен Романов, занявший место Суслова, а Горбачёва должен был опекать Лигачёв. Он унаследовал от Суслова руководство идеологией; по-видимому, у него не было формальной власти над армией и КГБ, но председатель КГБ Чебриков, всё ещё входящий в политбюро, был и остаётся его сторонником, как и министр обороны Язов.

Как только выяснилось, что Миша — опасный новатор, его решили обезвредить, подчинив Лигачёву весь секретариат. Замысел состоял в том, чтобы сделать Мишу церемониальным председателем политбюро и штатным оратором, сосредоточив реальную власть в секретариате под контролем другого лица. Эта власть была, естественно, ограничена разными предосторожностями, но Егор Кузьмич почувствовал себя хозяином и самодовольно давал понять, что все дела идут через него. Он поторопился раскрыть свои желания: Горбачёв должен был стать чем-то вроде японского микадо, а сам он — сёгуном. Во всяком случае, до девятнадцатой конференции он был единственным человеком, который мог задерживать без ответа обращения Гдляна и Иванова: все важные документы, направленные в цека, оказывались на его столе.

Конечно, он понимал, что рискует. Эти документы содержали в себе взрывчатый материал: он ставил себя в положение сообщника разоблачённых преступников. Но у него не было выхода. Отчаянное сопротивление Лигачёва расследованию узбекского дела могло означать только одно: нити этого дела тянулись к нему самому. Задерживая документы, Лигачёв рассчитывал на преимущества своего положения. Жаловаться на него можно было в цека, поскольку секретариат считается исполнительным органом этого собрания, или партийному съезду. Но до следующего съезда было далеко, а жалобы в цека всё равно попадали ему на стол. От секретариата зависело также, какие вопросы вынести на пленумы цека, и он мог прийти к выводу, что узбекские бумаги — но столь уж важный вопрос. Но партийная конференция, затеянная Горбачёвым, по уставу стоит выше цека и не подчиняется секретариату. Жалобы, предъявленные конференции, не направляются в секретариат, а поскольку жалобы были на самый секретариат, то их следовало передать в отдельную комиссию. Вот зачем понадобился Коротич.

Противно распутывать весь этот клубок интриг, но теперь мы знаем, что Лигачёв намертво связан с узбекским делом. Мы понимаем теперь, почему Гдлян и Иванов стали героями съезда: через них Горбачёв добирается до своего врага!

Егор Кузьмич потерял контроль над секретариатом в загадочную неделю 23–30 сентября. По-видимому, во время поездки Горбачёва в Красноярск готовился государственный переворот, и Миша, своевременно раскрывший игру своих врагов, заставил их уплатить проигрыш. Ему удалось, наконец, убрать Громыко, Соломенцава и других малопочтенных старцев, а главное — переделать всю структуру секретариата. Егор Кузьмич потерял контроль над ним, потерял руководство идеологией и должен был довольствоваться председательством в одной из шести вновь образованных комиссий — по сельскому хозяйству. Вы можете удивиться, что Горбачёв доверил ему этот пост, когда продовольственный дефицит угрожает превратиться в голод. Но вспомним, что существо дела у нас *всегда* подчинено аппаратной грызне. Именно по той причине, что сельское хозяйство безнадёжно, Горбачёв и поставил туда Егора Кузьмича — чтобы потом свалить на него вину. Но Лигачёв не потерял своего влияния в политбюро: он нужен там, как противовес Горбачёву. Конечно, его тоже не хотели бы видеть генеральным секретарём, но без него нарушилось бы равновесие сил, позволявшее партийному руководству оставаться в статическом состоянии. Никакой динамики им не нужно, а надо сохранить свои места. Если бы они умели откровенно выражать свои мысли, то повторили бы славное изречение: “Après moi le deluge”[1].

Итак, на съезде была устроена травля Лигачёва, с двойной целью: выставить Егора Кузьмича перед всей страной как покровителя взяточников и воров, и в то же время ослабить на съезде влияние “правых”, показав, в каком положении находится их лидер. Примечательно, что Гдлян и Иванов вовсе не спешат выложить свой “компромат”. (Простите мне это выражение, но об этой публике трудно говорить литературным языком: “компромат” означает “компрометирующий материал”). Когда шёл процесс Чурбанова, зятя Брежнева и бывшего заместителя министра внутренних дел, самые важные материалы, связанные с Москвой, были намеренно скрыты. Думаю, они хранятся вовсе не в сейфе Гдляна, а в более надёжном месте у Горбачёва. Травля идёт в виде намёков и каверзных вопросов. Это в мишином стиле: вспомним, что ни один из выгнанных им членов политбюро так и не был отдан под суд. Нам говорят, что Романов, Гришин, Алиев, Соломенцев совершали злоупотребления, но они спокойно живут на своих дачах. Миша по натуре шантажист: ему нужен выкуп, реальная доля власти, и он не доро-

[1]“После меня хоть потоп” (фр.) — (*Прим. ред.*)

жит торжеством над поверженным врагом. Впрочем, ему ещё рано торжествовать.

Травля началась, когда обсуждалась кандидатура Лукьянова на пост “вице-президента”. Конечно, Миша уверял, что это его ближайший сотрудник, и усиленно его рекомендовал, но мы ведь знаем, что кандидатуры были заранее утверждены. Гораздо больше говорит о Лукьянове допрос, который учинили ему Гдлян и Иванов. Их тезис, как известно, состоит в том, что в стране побеждает организованная преступность, и что наши правовые органы образуют часть системы коррупции. Лукьянов был выбран в качестве мишени, потому что он в течение полутора лет занимался в цека правовыми вопросами. Следователи утверждали, что он не боролся с коррупцией в органах правосудия, а Лукьянов неуклюже оправдывался. Главный довод его оправдания заслуживает интереса: Лукьянов сказал, что за полтора года его управления советским правосудием были сняты главные прокуроры всех пятнадцати республик, уволена *половина* всех работников прокуратуры и *несколько сот тысяч* сотрудников милиции. Вряд ли можно сказать что-нибудь худшее о нашей юридической системе, и ясно, что систему, заслуживающую такой чистки в столь короткое время, исправить нельзя. Одних воров сменят другие. Конечно, все эти увольнения свидетельствуют об отчаянной борьбе с коррупцией самого Горбачёва, а его “первый заместитель” тут был ни при чём и мешал этому, как только мог. Наша система правосудия — одна из главных помех для Горбачёва, поскольку нельзя добраться до воров-аппаратчиков через таких же судей и прокуроров. Только не забывайте, что борьба с коррупцией — это средство, а не цель!

Один из ответов Лукьянова меня поразил. Конечно, он не обладает умом юриста, и мало сто́ит его юридический диплом, но даже не умный человек с его опытом должен иметь какой-то здравый смысл. И вот, Гдлян возражал против решения верховного суда, посмертно оправдавшего Хинта, чтобы скомпрометировать самого Гдляна. Как видно, Лукьянов сыграл в этом некую роль. Последовал поразительный ответ: “Ведь вы мне звонили, Тельман Хоренович, что не хотите, чтобы Теребилов председательствовал на суде, и он ушёл на пенсию”. Таким образом был снят с должности председатель верховного суда! Не правда ли, влиятельная особа этот Гдлян? А чего сто́ит наш вице-президент?

Прямо связать Лукьянова с Лигачёвым не удалось, но это не остановило Иванова. Сей современный Катон оканчивает все свои речи одним и тем же именем врага, и он спросил Лукьянова, как тот

относится к Лигачёву, на что будущий вице-президент неуверенно ответил, что ко всем членам политбюро он относится хорошо...

Но главная баталия развернулась при утверждении Сухарева генеральным прокурором. Этот Сухарев — обыкновенный прокурор-бандит, и я могу себе представить, как он разговаривает с просителями в своём кабинете. Но он не привык подвергаться допросу и, должно быть, за этим первым допросом ему уже мерещился предстоящий уголовный процесс и приговор. У него был жалкий вид, голос его дрожал, и всем было ясно, что он не может опровергнуть обвинения. Оказалось, что он разогнал группу следователей, которой руководил Гдлян, и всячески выгораживал *московских* участников коррупции. Оказалось, что применялись средства давления на свидетелей, в том числе передача допросов следователям КГБ: это обвинение несло в себе понятный мрачный намёк, но не было раскрыто до конца. Решающее обвинение заключалось в следующем. Первый секретарь Узбекистана Усманходжаев, достойный преемник Рашидова, был, наконец, посажен в тюрьму и начал давать показания. Он рассказал о связях узбекской коррупции с московской и назвал ряд имён; одним из названных был *Лигачёв*. Но после того как он подписал эти показания, к нему в камеру пришёл генеральный прокурор Сухарев в сопровождении своего заместителя и долго с ним говорил, после чего Усманходжаев взял свои показания обратно.

Сухарев этот факт признал, но пытался оправдаться. Он якобы выяснил, что это были *вынужденные* показания, и убедил человека от них отказаться. Надо полагать, что у следователей сохранялся первоначальный протокол — и многое другое, о чём они пока молчат. Беспримерный факт посещения камеры генеральным прокурором с целью дезавуировать своего ближайшего сотрудника сам по себе говорит о многом. Спасая московскую коррупцию, Сухарев спасал самого себя.

Конечно, Горбачёв ничего не может сделать с таким правосудием, и он придумал обходный маневр. Один из его агентов предложил создать особую комиссию съезда для расследования обвинений, выдвинутых Гдляном и Ивановым, и съезд выбрал эту комиссию. В неё были включены депутаты, неудобные для мафии, в частности, некоторые прибалтийские юристы, очень уж буквально понимающие закон. Каким образом удалось провести в комиссию нужных людей — это секрет Горбачёва, он виртуозно ведёт эту игру. Председателем комиссии был выбран Рой Медведев. Поскольку ему предназначена важная роль, сто́ит о нём рассказать.

Если не считать обычных членов партии, в России осталось два марксиста — братья Медведевы, Рой и Жорес. Жорес эмигрировал, а Рой был исключён из партии, но остался в Москве. В брежневскую эпоху он изображал из себя нечто вроде диссидента, но московские диссиденты подозревали, что он агент КГБ. В самом деле, он безнаказанно печатал за границей свои книги, безнаказанно давал интервью иностранцам, в общем, спокойно делал такие вещи, за которые полагалось сидеть. Скорее всего, он был зачем-то нужен Андропову. В Москве известно несколько сомнительных личностей, безнаказанно дававших в то время интервью иностранцам, которые в таких случаях не удивлялись, например, некий Виктор Луи. Книги Роя Медведева были против Сталина, но за партию, и Андропов мог ему это разрешить. Затем, Медведев подозрительно хорошо осведомлён об окружении Брежнева, и уже во время "перестройки" опубликовал скандальную историю дочери Брежнева Галины, без указания источника. Как известно, этим окружением весьма интересовался Андропов, особенно Галиной, доставившей ему материал для шантажа. По ряду признаков видно, что Рой Медведев был связан с Андроповым. Поскольку он вряд ли кого-нибудь выдавал КГБ, то по принятому у нас словоупотреблению не полагается говорить, что он был агентом КГБ; назовём его агентом Андропова. Теперь он агент Горбачёва: он уже поддерживал его на съезде в ситуациях, когда этого не сделал бы никакой настоящий диссидент. Итак, Рой Медведев — не диссидент, а агент. В других случаях это различие будет не столь очевидно, но не будем забегать вперёд. Комиссия работает втайне и не публикует никаких сообщений. Если откроются серьёзные факты, Миша заставит за них уплатить. Но удастся ли скрыть их от публики, раз в комиссии есть честные люди? И всегда ли будет соблюдаться тот же метод, или, наконец, вместо тайного шантажа мы увидим открытый скандал?

Таким образом на тусклом фоне заранее принятых решений Горбачёв вёл на съезде борьбу за власть. Он использовал для этого своих агентов, и мы видели, как на него работали следователи. В другом смысле на него работает Ельцин, и, может быть, надо объяснить, почему он тоже мишин агент.

По принятой на Западе терминологии Ельцина называют "популистом". У нас в России это слово малоизвестно и применялось пре-

имущественно к демагогам с фашистскими тенденциями, таким, как аргентинский президент Перон или французские шовинисты Пужад и Ле Пен. Ельцин — не шовинист, хотя и пытался опереться на пресловутую организацию "Память". Но он, без сомнения, демагог. По образованию он инженер, как и многие наши партийные деятели: Хрущёв и Брежнев тоже имели инженерные дипломы, и "технократы" в политбюро, все эти Рыжковы и Зайковы, точно так же сдавали когда-то свой сопромат. Ельцин, как все эти "технократы", был директором завода, что у нас вовсе не предполагает каких-нибудь технических знаний: директор осуществляет лишь "общее руководство", а техникой ведают другие. Хорошие инженеры у нас есть, но те, кто с инженерным дипломом идёт в партийный аппарат, не принадлежат к их числу. Примечательно, что партийный деятель должен теперь иметь какой-нибудь "настоящий" диплом, а не просто документ о прохождении партийной школы. Такой диплом доставляет человеку уважение среди аппаратчиков, но настоящий специалист в аппарат не пойдёт. Туда идут люди, не видящие для себя будущего в своей профессии и не любящие своего ремесла. Обычно такие люди ещё со студенческой скамьи оказываются секретарями комсомольских и партийных комитетов, как Хрущёв и Горбачёв, а получив диплом, быстро продвигаются в направлении "общего руководства". Все они малограмотны, не только в профессиональном, но и в обычном смысле: при советской власти это не мешает получить "высшее образование", более того, без грамматических ошибок и какого-нибудь местного говора просто нельзя сделать карьеру. В партийном аппарате грамотный человек — чужой. Как мы уже видели, Горбачёв представляет тот же простонародный тип, хотя он не инженер, а юрист и агроном. Знаете ли анекдот, возникший в начале его правления? "Стоит Миша с двумя дипломами и думает, с чего начать: сначала сеять, а потом сажать, или сначала сажать, а потом сеять?" Но вернёмся к Ельцину.

Сначала он был директором большого завода на Урале, а потом был назначен первым секретарём Свердловского обкома партии. Лигачёв утверждал, что это он рекомендовал его в Москву, и упрекал его в неблагодарности; так или иначе, Ельцин сменил Гришина на посту первого секретаря в Москве. Этот пост — один из ключевых, его занимал в своё время Хрущёв, да и Гришину не хватило всего одного голоса, чтобы стать генеральным секретарём. Чтобы Ельцин на это не претендовал, его не пустили в политбюро, а оставили кандидатом. Это важное различие часто упускают из виду за границей: Ельцин никогда не был членом политбюро.

На двадцать седьмом съезде партии, одобрившем "перестройку", Ельцин произнёс единственную в своём роде речь[1]. Он заявил себя куда большим радикалом, чем сам Горбачёв, и очень прямолинейно ратовал против "привилегий" партийного аппарата. Многие поняли это как заявку на власть, но они, как мне кажется, ошибаются; Ельцин вряд ли всерьёз стремится к высшей власти, он внутренне ощущает, что для такой роли не подходит. Необычная прямолинейность его речи объясняется тем, что он — субъективно — честный человек. Предвидя удивление читателя, объясню, что я имею в виду. Объективно партийный деятель не может быть честным человеком, потому что вся партийная деятельность бесчестна, но если он не умён, то он может этого не понимать. В известном анекдоте спрашивается: "Можно ли быть партийным, умным и честным?", и даётся ответ: "Можно обладать только двумя из этих свойств, но не всеми тремя сразу." Как видите, я снова прибегаю к анекдоту, чтобы объяснить умонастроение нашего общества (или, как теперь стали говорить, "ментальность", но это слово кажется мне не русским, а польским). Ельцин совсем не умён, но верит в свою партию и принимает её всерьёз. Разумеется, он хочет её исправить, вернуть к ленинской чистоте, а для этого расправиться с жуликами и покончить с системой злоупотреблений. И он верит, что для этого можно использовать власть — ту же партийную власть! Правда, он понимает, что для этого понадобится поддержка народных масс, но, в сущности, он ничего не хочет делать *через* народ, а только *для* народа. Конечно, это выражение не означает, что Ельцин классический либерал: он даже не понял бы, что я имею в виду.

Оказавшись первым секретарём в Москве, Ельцин начал чудить. Можно себе представить, как смеялись над ним москвичи! Москва — это утонченная система коррупции, где азиатская продажность соединяется с европейской деловой хваткой. В *своих* делах москвичи куда как деловиты, что́ твои американцы. Здесь все интересы переплелись в невидимую плотную ткань, и невозможно узнать, что кому принадлежит и кто чем управляет. И вот, приходит варвар откуда-то с Урала и принимается всё это ломать! Конечно, сломать эту машину ему было не под силу, он просто не понимал, что к чему, и лупил как попало. Сам он отказался от всех "привилегий", жена его ходила в магазины и готовила ему обед. Он похвалялся, что носит ботинки, сто́ящие в магазине двадцать с чем-то рублей. Он заставлял секретарей райкомов приезжать к нему не в служеб-

[1] 27 съезд КПСС проходил с 25 февраля по 6 марта 1986 г. — (*Прим. ред.*)

ных машинах, а городским транспортом, — но, может быть, вы не знаете, что такое районы Москвы? В каждом из них полтора-два миллиона населения, это целые государства. Он устраивал внезапные ревизии заводов, магазинов и больниц, удивляясь, что никак не удаётся застать жуликов врасплох. В общем, это был партийный Дон Кихот, и от него взвыла вельможная, избалованная Москва. Наконец, он принялся снимать партийных секретарей, сидевших на своих местах десятилетиями и обросших многослойным, плотно слежавшимся жульём. Всё это беспокоило врагов Горбачёва в политбюро, потому что московская коррупция прямо смыкалась с кремлёвской, в сущности, это была единая система, и неуклюжий варвар стал натыкаться на совсем уж запретные вещи. Ельцина надо было убрать.

Он им сам в этом помог. Когда новые секретари, назначенные на место снятых, тотчас принимались за прежнюю практику, Ельцин не понимал, что́ происходит, и терял равновесие. По существу он действовал как орудие Горбачёва, подрывая московский истеблишмент, но не слушался его советов, а Миша рекомендовал умеренность и постепенность. Наконец, Ельцин пришёл к выводу, что Горбачёв — соглашатель и оппортунист, что он боится Лигачёва и его сообщников, саботирующих "перестройку". Вдобавок, Ельцина раздражала Раиса Максимовна, сверхактивная супруга генсека, без конца надоедавшая ему просьбами и советами. И Ельцин сорвался. Он произнёс на пленуме цека речь, где прямо сказал, что́ у него на душе: о том, что "перестройка" буксует, что её тормозят аппаратчики, что главный враг её — Лигачёв, что народ негодует против "привилегий". Досталось также Мише за его робость и Раисе за её назойливость — в общем, это была речь против всех. Полный текст её так и не был опубликован, она известна в изложениях, и сам Ельцин резюмировал её на конференции. Цека был шокирован: Ельцин посягал на распределители, государственные дачи и всё, ради чего стоит жить! Он нарушил обязательную фикцию партийного единства. Наконец, самый тон его речи был неслыханным безобразием: на партийных собраниях не дозволяется говорить, что думаешь, а надо ломать комедию по принятым образцам. В некоторых собраниях правда вызывает столь же искреннее негодование, как в других ложь. Против Ельцина сплотились все, его речь была осуждена особым решением, и Мише пришлось расстаться с московским первым секретарём. Ему пришлось пойти в Каноссу, то есть в московский горком, и обвинить Ельцина перед лицом торжествующих врагов.

Но Горбачёв, вынужденный изгнать Ельцина из своей команды, оставил его, в некотором роде, запасным. Ельцин был назначен заместителем председателя госстроя в ранге министра, а накануне девятнадцатой конференции стал щедро давать интервью иностранной печати[1], что в прошлом было исключительной привилегией генерального секретаря. Горбачёв провёл его на конференцию, и Ельцин произнёс там речь, где повторил обвинения против Лигачёва, которые на сей раз пришлось опубликовать; но против генсека и его супруги он уже ничего не сказал. Лигачёв ответил ему, и самым жалким образом. Ему выгоднее было бы промолчать, не приняв всерьёз своего незадачливого противника, но он обиделся, стал оправдываться и горячиться. Его сторонники, составлявшие большинство конференции, устроили ему овацию, но теперь всем стало ясно, что у наших консерваторов нет сильного лидера. В критических ситуациях лидер должен уметь сдерживаться, и Миша эту способность проявил. Уже раньше сложились предположения, какую роль отвёл Ельцину Горбачёв, и конференция их подтвердила. Ельцин, не способный регулярно работать в аппарате Горбачёва, должен был возглавить “оппозицию слева”, которая Мише очень нужна. Подлинная демократическая оппозиция ему невыгодна и ненавистна, ему действуют на нервы даже безобидные крикуны из так называемого “Демократического союза”. Ему нужна *партийная* псевдолевая оппозиция, чтобы уравновесить давление справа. Я уже ссылался на этот древний политический механизм, когда говорил о равновесии в политбюро. На Мишу нажимают “справа”, и ему нужен кто-нибудь, кто подпирал бы его с другой стороны. Ельцин с его демагогией, не выходящей за рамки партийной программы, ему в сущности не опасен, во всяком случае, пока давление “справа” сильней. Но в дискуссиях с коллегами он может выдвигать Ельцина как пугало: если вы не поладите со мной, вам придётся иметь дело с ним. Все эти приёмы составляют в политике приготовительный класс, но у нас политики в обычном смысле не было семьдесят лет, и надо всё это объяснять. Ельцин служит Горбачёву, и тот уже научился им управлять. Горбачёв режиссировал его выборы в Москве, столкнув его с враждебным московским аппаратом. В Москве аппаратчики сами на выборы не пошли, но выставили своих людей; против Ельцина был такой ставленник московской мафии, которого он разбил, получив 89 процентов голосов *всей* Москвы. Итак, Ельцин стал де-

[1] 19 конференция КПСС проходила в Москве с 28 июня по 1 июля 1988 года. — (*Прим. ред.*)

путатом съезда с особенно важным мандатом, но ого ухитрились не внести в список кандидатов в верховный совет, предварительно утверждённый партийным руководством. А когда он всё же был выдвинут, устроили так, что на одиннадцать мест от РСФСР было двенадцать кандидатов, и Ельцин, хотя и набравший необходимое большинство, оказался последним по числу голосов. Было объявлено, что он не прошёл. Ощущение скандала было столь сильно, что три депутата предложили уступить Ельцину свои места. Один из них, юрист Алексей Казанник из Омска, снял свою кандидатуру условно — если будет избран Ельцин. Юридический вопрос состоял в том, надо ли повторить выборы всех двенадцати, или Ельцин может автоматически занять освободившееся место. Подумайте только, в этом балагане возник юридический вопрос! Разумеется, регламент никуда не годился и такого случая не предвидел. Тогда Миша предоставил съезду решить этот юридический вопрос, сказав скороговоркой: "Выше съезда нет". Результат можно было заранее предвидеть, поскольку большинство и раньше голосовало за Ельцина, и Ельцин был проведён в верховный совет. Конечно, коллеги Горбачёва могут поставить ему это в вину, но он сошлётся на волю съезда, против которой он не мог идти.

Ельцин произнёс на съезде бесцветную речь, изложив свою программу. "Популизм" его состоит в том, что предлагается предоставить безусловный приоритет повседневным нуждам населения — производству еды, одежды и постройке жилья. Он не говорит, каким образом этого достигнуть, так что его предложение несерьёзно: известно, сколько миллиардов было вложено при Брежневе в сельское хозяйство, без малейшего результата. Он не говорит также, чем надо пожертвовать для этих первоочередных задач; как мы увидим, гораздо серьёзнее поставил этот вопрос экономист Шмелёв. Кроме того, Ельцин обрушился на "привилегии" аппарата, и в этом он, конечно, прав. Вот и весь его "популизм". Оратор он плохой, говорит неграмотно и невыразительно, и в народные вожди явно не годится: у него нет "харизмы". Харизмы нет и у Горбачёва, но тот возмещает её отсутствие ловкостью. Ельцину вряд ли суждена ключевая роль в будущих событиях. Но в любой "радикальной" коалиции ему найдётся место: сторонники Горбачёва — это журналисты, учёные, партийные работники и перешедшие к нему на службу диссиденты, но никто из них не воплощает "простой народ", и роль представителя народа должен сыграть Ельцин. Но вряд ли ему по силам эта роль: очень уж он глуп.

Народ сам решит, кто его будет представлять. Пока я всё это

пишу, небывалые события потрясли Россию[1]. Шахтёры начали забастовку — первую забастовку за семьдесят лет. Забастовочные комитеты попросту взяли в свои руки власть в угольных городах. Они останутся, потому что нет уже силы их разогнать. Хотел бы я знать, что скажут об этом советологи, пытавшиеся понять Россию своим скудным умом, измерить своим ржавым аршином!

---

[1]Массовые шахтёрские забастовки начались в июле 1989 г.: в Печёрском и Карагандинском угольных бассейнах, в Кузбассе и Донбассе. (*Прим. ред.*)

Письма из России. Письмо 3 “Национальный вопрос”

“Съезд народных депутатов” был жалкой пародией на демократию, но даже этот съезд должен был отразить неотвратимый общественный кризис[1]. Горючий материал накапливался десятилетиями, и должен был произойти взрыв. Раскол в партии катализировал этот взрыв. Железная пята сталинского террора утрамбовала все вопросы, но все они обнаружились, как только ослабел страх. И самым жгучим оказался национальный вопрос.

Русские составляют лишь половину населения нашей страны, но являются господствующей нацией. Так называемая “дружба народов” принадлежит к числу наших экспортных товаров, которых никто не берет. Никакого равноправия наций у нас нет: большевики, искренне верившие в этот принцип, восстановили российскую империю почти в её старых границах, а Сталин установил в ней свою централизованную власть. Всё подлинно национальное клеймилось как “буржуазный национализм” и наказывалось смертью. Весь аппарат национальных республик мог обмануть лишь тех, кто хотел быть обманутым.

Кончилось тем, что во время войны Сталин обвинил целые народы в государственной измене. Эти народы были выселены в самые гиблые места Сибири и Средней Азии, и на них больше не распространялась никакая дружба народов: они были заклеймены. Были выселены немцы Поволжья, имевшие там автономную республику, и все другие немцы, которых было больше двух миллионов. Они и их потомки не имели права покидать отведённые им районы — это официально называлось “вечной ссылкой”. По-видимому, Сталин воображал, что ему принадлежит вечность! Невольно вспоминаются немецкие стихи: нет ничего ужаснее человека в его безумии. Были выселены народы, бывшие в оккупации: крымские татары, калмыки и народы Кавказа — чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, а также турки-месхетинцы, не бывшие в оккупации, но жившие у турецкой границы. Этих вывозили таким образом, что от трети до половины погибло в пути. Ещё до войны были выселены с Дальнего Востока китайцы и корейцы, вероятно, потому, что под них могли

[1] 1 съезд КПСС проходил с 25 мая по 9 июня 1989 г. — (*Прим. ред.*)

маскироваться японские шпионы. Были выселены греки, издавна проживавшие на Украине и в Крыму — тут уж невозможно догадаться, почему. Может быть, потому, что у них могли быть симпатии к Греции? Вывезли также болгар, хотя эти братья-славяне по шкале советского расисзма оценивались куда выше, чем какие-то мусульмане или греки. Сталин хотел даже репрессировать украинцев, внушавших ему подозрения, но их было сорок миллионов, и такую операцию не мог обеспечить даже всемогущий гулаг. В общем, дружба народов достигла апогея, а под конец, в пятьдесят втором году, были приготовлены теплушки для вывоза евреев, и только смерть помешала Сталину выполнить этот план. Карл Маркс питал недоверие к России, и его потомки не пожелали жить в стране победившего социализма, как будто предчувствуя, что их могут сослать в Сибирь.

Хрущёв попытался кое-что исправить. Он вернул на старые места калмыков и кавказцев (кроме турок-месхетинцев), получивших снова свою липовую автономию. Остальным репрессированным народам дали понять, что с них сняты обвинения, но им не позволили вернуться в родные места. Немцам не хотели вернуть их республику на Волге, а татарам не разрешали вернуться в Крым. Горбачёв не хотел или не мог ничего сделать для них, и только на съезде, где выступили их представители, им даны были некоторые успокоительные обещания. Конечно, только общественное движение, охватившее эти народы, может вынудить наше правительство принять какие-то меры, и это нелегко, потому что спорные земли давно заселены.

Турок-месхетинцев просто забыли. Они были сосланы в Узбекистан, и во время съезда их начали истреблять узбекские шовинисты. Этим событиям было посвящено закрытое заседание в конце съезда, непонятно зачем. Теперь их вывозят в Россию, потому что грузины не хотят вернуть им их родные места.

Евреи, со времени войны подвергаемые грубой дискриминации, не были представлены на съезде. Точнее, среди депутатов были евреи, но, должно быть, это были те евреи, которые носят ливреи, как выразился в одной песне покойный Галич. Одна русская женщина говорила на съезде о положении евреев, но сами они ничего не делают в свою защиту. Я думаю, что еврейский народ в России глубоко подавлен. Евреи уверовали в революцию, революция не удалась, и теперь они могут стать козлом отпущения для русского шовинизма. Но еврейский вопрос не разрешено обсуждать, потому что у власти то же поколение секретарей, которые проводили госу-

дарственный антисемитизм. И всё же еврейский вопрос возникнет гораздо раньше, чем вымрут нынешние секретари.

Безответными жертвами советской системы стали малые народы Сибири. О них страстно говорила на съезде нанайка с Дальнего Востока, которой удалось стать ученой. Природа Сибири бессмысленно разрушается, у этих племён отнимают последние охотничьи угодья. Русские нравственно обязаны им помочь, но смогут это сделать лишь в свободной России. Бо́льшие народы Сибири, например, якуты, вряд ли согласятся так долго ждать.

На съезде выступили представители других, совсем не малых народов, недовольных своим положением. К ним относятся казанские татары и башкиры, входящие в Российскую федерацию в виде "автономных республик". Каждая из этих наций насчитывает 5–6 миллионов человек, то есть значительно больше, чем многие из "союзных республик", так что их подчинение России трудно оправдать. Сталин мотивировал это тем, что "союзные республики" имеют, якобы, право выхода из Союза, а нации, не живущие у государственной границы, не могут, дескать, воспользоваться этим правом. В будущем все эти нации предъявят свои права, и тогда выяснится, навеки ли их сплотила великая Русь, как говорилось в нашем государственном гимне. Кажется, это место уже выброшено: я его давно не слышал, потому что гимна больше не поют.

Пока же я обращусь к самым острым конфликтам, потрясавшим съезд. Я не буду говорить в этом письме об Украине и Белоруссии, потому что их национальные требования ещё не созрели. Если не считать Западной Украины, всегда остававшейся инородным телом в советской империи, славянские народы не питают к русским особой вражды и пока не думают о выходе из союза. Их проблемы носят в основном социальный характер, о чём ещё будет речь, и даже вырождение национальной культуры они ставят в вину не русским, а московской бюрократии. Вообще, славянские народы занимают в империи иное положение, чем все другие; это вовсе не значит, что им живётся лучше других, но они не столь угнетены морально. Не-славяне не отличают их от русских, а сами они рассматривают не-славян как "инородцев"; таким образом, как бы ни было плачевно их положение у себя дома, в империи они принадлежат к расе господ. На съезде эти нации были представлены — если можно так выразиться — кондовыми аппаратчиками, выбранными на старый манер; немногие независимые депутаты выглядели растерянными и ничего не сумели сказать. Может быть, более опасным из них просто не дали слова. Исключением была речь женщины, детского врача

из Белоруссии, но эту страшную речь надо включить в “социальный вопрос”. Белорусский народ гибнет не оттого, что его угнетают *как нацию*; таким образом, в смысле моего определения гибель всей нации — это не “национальный вопрос”. Всякая *система*, в том числе и моя, имеет свой абсурд.

На съезде было три национальных вопроса, вызвавших бурные дискуссии: армяно-азербайджанский, грузинский и прибалтийский. Последний из них занимает особое положение: можно сказать, что на этом азиатском собрании возник европейский вопрос — европейский по форме и содержанию. Разумеется, я объединяю здесь дела трёх прибалтийских народов лишь по этому общему признаку; каждый из них имеет своё лицо и свои собственные права.

Кавказские народы были представлены на съезде деятелями, связанными с местной мафией. Кроме Армении, где была попытка бойкотировать выборы, на Кавказе всё было на старый лад. Достаточно сказать, что грузины выбрали на съезд, в числе прочих, генерала Родионова, который вскоре стал палачом Тбилиси. Но бывают случаи, когда человек вынужден делать то, чего хочет его народ. Сколь угодно жалкий депутат, слуга своих нечистых хозяев, знает, что весь его народ следит за ним, не отходя от телевизора, и что ему придётся вернуться к себе в Тбилиси или Ереван. Поэтому, выйдя на трибуну, он *вынужден* выражать чувства своего народа, как бы на это ни посмотрели Горбачёв, политбюро и родная партия. Но, знаете ли, к этому дело не сводится! В момент национального кризиса самый продажный жулик вспоминает, что он всё-таки грузин или армянин. Приходится допустить, что есть нечто человеческое и в кавказских депутатах. Но генерала Родионова я прошу в эту сентенцию не включать. С палачами — особый счёт.

Начнём с карабахского конфликта. Слушая выступления на съезде, можно было бы подумать, что весь спор между Арменией и Азербайджаном сводится к Нагорному Карабаху. Но Карабах — лишь повод для проявления конфликта, имеющего глубокие корни: в нём отразился социальный кризис, переживаемый Закавказьем. История, которую я вам расскажу, крайне неприятна и никого не выставляет в благородном виде. Между тем, каждый народ хочет выглядеть благородно и тщательно отбирает факты, придающие ему респектабельный вид. Поэтому все жители Закавказья будут в равной мере возмущены, если прочтут следующие дальше страницы, но вряд ли они их прочтут, потому что я адресую эти письма в другую страну.

За Кавказским хребтом живёт много наций, но три из них преоб-

ладают числом и значением: это армяне, грузины и азербайджанцы. Армяне и грузины живут на своих землях с незапамятных времён и приняли христианство в третьем или четвёртом веке; это народы древней, богатой культуры, но несчастной исторической судьбы. Хуже всего сложилась история армян. Когда-то у них было своё царство, и они с переменным успехом сражались с римскими легионами, но уже больше тысячи лет они живут под чужой властью — почти всё время это была власть мусульман. Армяне, вместе с греками, были главной хозяйственной силой турецкой империи, турки брали с них двойной налог, и им выгодно было иметь таких трудолюбивых подданных. Но турки плохо понимали свою выгоду и были нетерпимы, так что любое происшествие приводило к резне. Последняя и самая страшная резня была устроена турецким правительством в 1915 году, по-видимому, для разрядки напряжённости от неудач мировой войны. Это и был знаменитый армянский геноцид; он унёс полтора миллиона жизней, опустошил турецкую часть Армении и рассеял армян по всему миру. Уцелела та часть Армении, которую успела завоевать Россия. Русское правительство защитило армян от уничтожения и обеспечило им некоторый законный порядок, значительно лучше турецкого. Религия армян близка к православию, её в России не преследовали, и армяне относились к русским лучше, чем любой завоёванный Россией народ. Но, конечно, это была *чужая* власть, а чужую власть каждый народ воспринимает как зло.

Лишившись своего государства, армяне стали народом простых тружеников; у них осталось мало знати, не было сословных предрассудков, и условия вынуждали их проявлять предприимчивость. Пользуясь относительно законным порядком в России, армяне скоро захватили в свои руки почти всю промышленность и торговлю Закавказья. До революции они составляли большинство населения в Тифлисе и Баку. Грузия и Азербайджан, скованные феодальными отношениями, очень медленно включались в буржуазную систему хозяйства; поэтому армяне стали восприниматься как эксплуататоры и считались виновниками всех бедствий. Вражда с азербайджанцами имела особую остроту, здесь был ещё религиозный антагонизм и клубок исторических воспоминаний. Азербайджанцы очень близки туркам по языку и культуре, так что армяне считают их просто турками. Им приписывается вина и за то, что причинили армянам их предки, и за то, что делали турки-османы, например, на них переносится, с характерной непоследовательностью народных понятий, ответственность за пятнадцатый год. Таков исторический

фон, на котором возник армянский вопрос.

Грузинский вопрос тоже имеет длинную историю. В отличие от армян, грузины сумели сохранить под защитой своих гор независимое государство. Они должны были вести бесконечные войны с двумя мусульманскими империями, турецкой и персидской, от чего у них развилась гордая феодальная знать, и во всём народе воспиталось неукротимое чувство собственного достоинства: каждый грузин привык носить оружие и готов был при любых обстоятельствах защитить свою честь. Время от времени мусульманские захватчики прорывались в Грузию, вырезали всех, кто попадался, разоряли страну дотла и уводили в плен женщин. Последний из таких набегов — вторжение персов — произошло в конце восемнадцатого века. Грузинский царь обратился за помощью к единоверному русскому царю, поскольку к тому времени православные братья захватили уже северный Кавказ. Русские войска пришли на помощь и быстро прогнали персов, но не ушли, а остались в Грузии. Они не грабили и не притесняли грузин, а просто не собирались уходить. Очень скоро выяснилось, чего хотел единоверный русский царь: грузинского царя и его двор вежливо увезли в Москву, где до сих пор имеется Грузинская улица и Грузинский Вал, а Грузия перестала существовать как независимое государство. Её разделили на несколько губерний, и в каждую был назначен русский губернатор. Это произошло в 1801 году, почти двести лет назад. Конечно, русская власть была легче турецкой или персидской, но от этих варваров грузины всё-таки отбивались сотни лет, а от единоверцев никак нельзя было спастись. Так в грузинском народе возникло чувство к “старшему брату”, которое наши русофилы толкуют как чёрную неблагодарность.

Азербайджан не был независимым государством, это была часть Персии, завоёванная Россией в начале прошлого века. В этой очень отсталой феодальной стране русское правительство вело простейшую колониальную политику, управляя через местную знать. В Азербайджане стали добывать нефть, и на нефти вырос большой промышленный город Баку. Возникла местная буржуазия, стала развиваться литература. Азербайджанцы стали сознавать себя нацией. Поскольку у них не было государственной традиции, они терпимо относились к русским; враждебность их была направлена против армян и грузин.

Революция застала Закавказье отсталым, провинциальным и феодальным, но с заметной буржуазной закваской. Конечно, империя русских царей держалась только силой, и сила эта была столь подавляющей, что сопротивление казалось бессмысленным. Внезап-

ное крушение империи возбудило много надежд — и создало ещё больше проблем. Грузия, Армения и Азербайджан превратились на некоторое время в независимые государства, затем были завоёваны большевиками и снова вошли в империю, на этот раз в виде союзных республик. Сталин особенно заботился о подавлении всех национальных тенденций: он создавал централизованное государство и хотел, чтобы этим государством было легко управлять.

Армения была искусственно разделена русско-турецкой границей. Часть, доставшаяся России, распадалась на два куска: больший из них стал Армянской союзной республикой, а меньший, окружённый азербайджанскими землями, был Нагорный Карабах. Почти всё население Карабаха было армянским, и ничто не мешало присоединить его к Армении, но Сталин хотел угодить турецкому диктатору Кемалю, с которым тогда начинался союз, и включил Карабах в мусульманский Азербайджан. Ещё и теперь, несмотря на все усилия азербайджанского начальства, в Карабахе 76 процентов армян.

Революция основательно встряхнула Кавказ, но изменила его меньше, чем можно было бы подумать. Общественные структуры связаны со всем строем народной жизни, а в Азии прежде всего с привычкой к повиновению, выработанной веками и легко переносимой на новых хозяев. Азия остаётся Азией, от этой истины никуда не уйти.

Дело здесь не в том, что географы провели когда-то границу между Европой и Азией по Большому кавказскому хребту. Для меня и Россия остаётся азиатской страной, потому что я понимаю этот термин в его *культурном* смысле. Я связываю с ним неспособность к самоуправлению и привычку иметь хозяина. Различие между "европейским" и "азиатским" сложилось давно, и я не вижу надобности от него отказываться. В детстве мне попалась старинная антропология, где главные человеческие расы были изображены на трёх картинках, с некоторыми пояснениями. Под первой картинкой было написано: "Человек европейский", и после описания его признаков следовало краткое пояснение: "управляется законом". Под второй картинкой я прочёл: "Человек азиатский", и о нём было сказано, что он "управляется обычаем". На третьей картинке изображался "Человек африканский", и объяснялось, что он "управляется произволом". Если следовать этому способу выражения, то наш образ жизни и по сей день остаётся чем-то средним между азиатским и африканским. Все мы одним миром мазаны или, на более приличном языке, *ejusdem farinae.*

Конечно, это грустное описание национальных коллективов не

относится к индивиду: можно быть добрым европейцем в Баку, и я уж не знаю, сколько азиатов проживает у нас в Москве. Да будет мне позволено это исповедание веры, и да простят мне его мои азиатские друзья. Я сознаю, что на берегах Темзы или Сены нас всё ещё рассматривают как скифов и азиатов, с раскосыми и жадными глазами. Но мы уже внесли свой вклад в европейскую культуру, и Россия будет самой яркой демократией мира. Вспомним, как перемещался очаг цивилизации: сначала была Греция, потом Рим и Галлия, а потом колыбелью новой Европы стал туманный остров на краю света, где Цезарь отступил перед яростью раскрашенных дикарей. И если мы не захотим остаться скифами, то будущее принадлежит нам.

Но вернёмся к нашему предмету. Власть большевиков, с их лихорадочным энтузиазмом, отвращением к собственности и яростным интернационализмом, продержалась недолго. Сталин истребил большевиков и установил новую власть, гораздо больше напоминавшую старый уклад жизни — азиатский деспотизм. Партийный аппарат повсюду проявляет тенденцию к феодализму: вопреки всем усилиям центральных учреждений, местные секретари норовят превратиться в нечто вроде удельных князьков, окружая себя подобранными кадрами и приучая население к поборам и унижениям, в меру своего чина. Разумеется, это феодализм без личного мужества, верности и чести; поэтому Кавказ стал несравненно хуже, сменив прежних родовых господ на партийных чинуш. Но Кавказ был и остаётся азиатским, это надо прежде всего иметь в виду, если вы хотите что-нибудь понять в кавказских делах. Главная черта азиатского рабства — это повиновение любой наличной власти, и народы Кавказа, точно так же, как народы Средней Азии, приняли эту воровскую власть секретарей. Приняла её также Россия, но в России общественные структуры были разрушены ещё сильнее. Традиционный строй жизни в России начал разрушаться задолго до революции. Русское барство было изолировано от народа европейским обычаем и французским языком; когда революция его начисто смела, от старой иерархии не осталось следа. Мало что осталось в России от деревенской общины и патриархальной семьи. Азиатские народы проявили бóльшую устойчивость, а может быть меньшую податливость на революционный соблазн. У них сохранились общинные и семейные связи, почтение к старшим, старые обычаи и религия. Я сказал бы, что у них лучше сохранился *человек* — каким он был и мог быть в этих местах. Первые кавказцы, с которыми мне пришлось познакомиться, были отнюдь не лучшие представите-

ли своих наций, но я поразился их жизнелюбию — если можно так выразиться, их жизненной силе. Поскольку эти экземпляры кавказцев отличались отъявленным эгоизмом, в их жизненной силе было нечто отталкивающе животное, но в них была эта сила.

На Кавказе всё зависит от семейных и общинных связей. После революционной встряски эти связи заново срослись, уродливо, но прочно, как срастается после перелома неуклюже сложенная кость. Так возникла на Кавказе *тайная власть*. На место старых семейных кланов пришли новые, но говорят, что в них вошли всё-таки уцелевшие остатки старых, потому что на Кавказе высоко ценится происхождение. Эти кланы, которым принадлежит реальная власть на местах и в целых республиках, не всегда известны, и если в районе всегда знают, кто его настоящий хозяин, то в целой республике это уже охраняемый секрет. Партийные секретари с их аппаратом должны применяться к существующему порядку, если хотят уцелеть. У каждого из них есть враги, а мафия имеет руку в Москве, готовую щедро платить. В России партийные вельможи, по-видимому, играют бóльшую роль в отношениях с хозяйственной мафией, хотя я не совсем уверен, что это справедливо в отношении нынешней Москвы. Во всяком случае, на Кавказе партийные деятели просто состоят на службе мафии. Я не случайно употребил это слово: Сицилия и Неаполь представляют самый наглядный пример, объясняющий европейцу, что такое Кавказ. Сходство здесь отнюдь не случайно, поскольку южная оконечность Италии — это самый азиатский уголок Европы. Разумеется, если вы спросите интеллигентного кавказца, верно ли то, что я написал об их системе власти, он, скорее всего, скажет, что я преувеличиваю: есть, конечно, такие явления, но не везде и не настолько, и вообще жизнь не так плохо устроена, как мне кажется. Всю жизнь я только и слышу эту реплику: "Вы преувеличиваете". И никогда мне не удавалось что-нибудь преувеличить, потому что жизнь преувеличивала все мои робкие суждения. Если вы спросите интеллигентного кавказца, кому на самом деле принадлежит власть в городе, где он живёт, то он притворится, что не знает, — или в самом деле предпочитает не знать. В Сицилии это называется "омерта".

Мафия — это не местный колорит и не сюжет детективных фильмов, это прежде всего система эксплуатации. Кавказская мафия гнусна, потому что простой народ живёт на Кавказе в нищете, а жулики, живущие за его счёт и управляющие всем, что делается в их вотчинах, купаются в роскоши и копят валюту на чёрный день. И он придёт, этот чёрный день обнаглевших воров, потому что тер-

пению народа есть предел.

Я достаточно ясно изложил свою точку зрения на кавказские дела, и мне всё равно, что́ скажет обо мне кавказский *интеллигент* — даже если он не купил свой диплом. Кто такие все эти академики, писатели и народные артисты, представляющие кавказские республики на форумах нашей страны? Разве вы не знаете, что в Баку, Тбилиси и Ереване продаётся и покупается *всё*? Недавно Горбачёв отчитывал по поводу Карабаха каких-то армянских интеллигентов, всё это транслировалось, и многие восхищались, как храбро возражал ему профессор Амбарцумян. Но мне рассказывали, что в Ереванском университете, где служит ректором этот Амбарцумян, за поступление на первый курс платят пятнадцать тысяч рублей, а затем на каждый экзамен есть особый тариф. Молодые кавказцы из бедных семей не могут учиться в своих республиках, они получают дипломы в России и часто остаются там работать. Потому что на родине за место приходится платить, а кому нечем платить, тот на Кавказе не интеллигент. Продажность, угодливость, политическое раболепие — вот условия, в которых вырастает кавказский интеллигент. Он воспринимает всё это как свою естественную среду. Режиссер Абуладзе поставил вычурный фильм о сталинском терроре, обогнав в этом жанре других. Это удалось ему, потому что он пользовался поддержкой главного полицейского Грузии Шеварднадзе, в настоящее время — министра иностранных дел. И вот, этот Абуладзе публично похвалялся покровительством своего полицейского хозяина. Хуже всего, что в это месиво продажности, угодливости и раболепия иногда ещё входит талант. Насколько легче, я бы даже сказал — приличнее, если никакого таланта нет! Абуладзе не лишён таланта, Амбарцумян и в самом деле учёный. Но в той же встрече с Горбачёвым армянский народ представляла ещё старая поэтесса, воспевавшая когда-то Сталина за всё хорошее, что он сделал для армян. Эта вызывает у меня даже нечто вроде симпатии: подозреваю, что она бездарна.

Теперь я объяснил, почему благородные позы кавказских интеллигентов не внушают мне доверия. Меня от них тошнит. Но прежде чем вернуться на съезд, я хотел бы кое-что сказать о массовых движениях, которые представляют эти люди. В движениях участвуют миллионы людей, и я никоим образом не хочу их оскорбить. Vox populi — vox dei. Иначе говоря, массовые движения означают, что настала пора исторических перемен. Попробуем разобраться, чего требуют эти миллионы людей, почему они этого требуют, и справедливы ли их требования.

Прежде всего, национальный конфликт, как правило, маскирует социальный. Это симптом социального напряжения — или, в худшем случае, симптом массовой истерии, потому что в определённые моменты истории народы подвержены невротическим припадкам. Чаще всего национальный конфликт имеет социальное содержание и истерическую форму. Бессмысленно спрашивать, почему такой конфликт возникает в данный момент, а не в другой: давление нарастает до тех пор, пока срывается клапан, и мы не умеем измерять это давление никаким социальным манометром. Но можно понять, в чём содержание конфликта, и можно предположить, чем объясняется его наличная форма.

Как я уже сказал, народы Кавказа живут в нищете, бесстыдно эксплуатируемые тайной властью мафии. Мафии принадлежит всё, в том числе органы государственной власти, на неё некуда жаловаться и ей ничего нельзя вменить в вину. Тайная власть — это почти власть судьбы, и если восточный человек, воспитанный вековым рабством, вообще фаталист, то на советском Кавказе он фаталист вдвойне. Но он человек, и его терпение имеет предел. Наступает момент, когда народ поднимает свой голос, и народный протест легко сворачивает в привычное русло, поскольку имеется привычный наследственный враг. На Кавказе каждый конфликт превращается в протест против национального притеснения. И, естественно, здесь возможны все варианты: национальное притеснение может быть столь же реально, как лежащий в его основе социальный конфликт, или оно может быть мнимо, то есть используется хитрыми людьми, чтобы отвести народный гнев.

Без сомнения, карабахский конфликт свидетельствует о вполне реальном, затянувшемся на три поколения преследовании армян. Власти Азербайджана, которым Сталин подчинил Карабах, использовали армянское меньшинство в своей республике как козла отпущения: на Востоке это едва ли не всё искусство власти. Местные чиновники, происходившие главным образом из городского мещанства, разделяли вкусы своей среды и не любили армян, а потому выполняли тайные инструкции с полным удовольствием. Так поступают в Советском Союзе с любым национальным меньшинством, кроме русских, которых, как мы уже знаем, все должны любить. Под властью Баку армянское население Карабаха искусственно изолировалось от Армении, армянская культура изгонялась, разрушались памятники старины, а главное — настойчиво, всевозможными мерами старались изменить национальный состав. Многие армяне покинули Карабах, но другие упорно держались за свою родину.

Если добавить к этому запущенное, отсталое хозяйство и бедность населения, то вот вам и весь карабахский вопрос.

Протесты в Ереване начались в прошлом году и носили весьма организованный характер. Конечно, устройство миллионных демонстраций было делом хорошо организованных сил. Я ничем не хочу обидеть армянский народ, вступившийся за своих братьев, но единственной организованной силой на Кавказе является мафия, на что упорно намекает и горбачёвская печать. Я не знаю, какие силы стоят за комитетом “Карабах”, но спрашиваю, какие силы вообще есть в этом крае, и нахожу единственный ответ. Я вижу официальных представителей карабахского движения и нахожу среди них тех же академиков, писателей и народных артистов, всеми корнями вросших в армянскую коррупцию. Далее, массовое народное движение не могло принять организованную форму без предварительно отлаженного руководства. Местные власти, нисколько не тронутые перестройкой и не допускавшие в республике никакой либерализации, должны были *разрешить* эту подготовку. Но кто контролирует местные власти? Конечно, мафия. Как же так, — спросите вы, — мафия действовала против “перестройки”, а демонстранты несли портреты Горбачёва и прочую гласность? Демонстранты и в самом деле во всё это верили, а подстрекатели знали, что делают. Вспомните Гомулку и шестьдесят восьмой год. Полякам внушали, что главари студентов — сыновья агентов Москвы, и внушали те самые люди, которые публично клялись в своей преданности Большому Брату. Это *азиатская* политика, мелкая и убогая, потому что большая и серьёзная политика не прибегает к таким уловкам.

Демонстрации а Ереване были мирными, и ни один азербайджанец не пострадал. Но хитрые люди в Баку увидели в них открывшуюся возможность. Была возбуждена массовая истерия под извечным лозунгом “Наших бьют!”, и был устроен сумгаитский погром[1]. В городе Сумгаите, в тридцати минутах езды от Баку, беспрепятственно и безнаказанно врывались в дома армян, вырезали целые семьи, насиловали на улицах девушек, вспарывали женщинам животы. Это делали, главным образом, очень молодые люди и подростки из местных ремесленных училищ, хорошо усвоившие, как надо понимать дружбу народов, и подавшие пример другим. Сколько Сумгаитов предстоит нашей стране?

Всё, что я описал, было сказано на съезде армянами, и азербайджанские депутаты негодовали, что о таких вещах осмеливаются

[1]Сумгаитский погром был устроен 27–29 февраля 1988 г. — (*Прим. ред.*)

говорить. Но давайте подумаем. Пока длился погром, что́ делали жители Сумгаита — армяне и азербайджанцы, порядочные люди, всегда составляющие большинство? Они звонили по телефонам, обрывали трубки, добиваясь вмешательства властей. *Три дня* они звонили, власти всё знали, и три дня не делали *ничего*. Мне не надо других доказательств. В Сумгаите, как и в каждом советском городе, имеется КГБ, его агенты шныряют повсюду, без сомнения, они были и в толпах насильников, так что КГБ *не мог* не знать, что́ происходит; другое дело, какие инструкции были у КГБ. Инструкции там получают в виде устных намёков.

А потом началось массовое бегство армян из Азербайджана и азербайджанцев из Армении. Бежали сотни тысяч человек, многих вынуждали бежать, и не обошлось без насилия с обеих сторон. В Баку вступились "за своих", там тоже произошли миллионные митинги, и можно догадаться, кто их устроил. Когда же люди научатся вступаться не *за своих*, а просто *за людей*?

А потом в Армении было страшное землетрясение. Десятки тысяч людей погибли под развалинами своих домов, и в Баку нашлись негодяи, вышедшие на улицы плясать, потому что сам Аллах, без сомнения, покарал этих армян!

На этом и застрял карабахский вопрос. С большим трудом в Москве додумались, что надо изъять Карабах из-под власти Баку, но передать его Армении или устроить референдум — боятся. Это может вызвать мятеж в Азербайджане, а может быть непредсказуемые реакции в других мусульманских республиках; кроме того, насчитываются десятки других территориальных претензий, и решение одного вопроса тотчас же возбудило бы множество других. Всё, что решили московские мудрецы, — это временно учредить в Карабахе нечто вроде "президентского правления" на индийский манер, а именно, подчинить эту "автономную область" русскому чиновнику. Похоже на то, что такое решение не устроило никого: насилие в Карабахе нарастает.

На съезде были перепалки между депутатами рассорившихся республик, оставившие тягостное впечатление. Армянские депутаты говорили в таком роде, как будто в Сумгаите виновен весь Азербайджан, и, как видно, ожидали от своих оппонентов публичного покаяния. Эта позиция несерьёзна, потому что вряд ли есть на свете народ, чья совесть свободна от таких воспоминаний. Но депутаты Азербайджана говорили таким образом, как будто их волнуют только обвинения, а не сама резня. Те и другие завели на съезде яростный спор о представительстве Карабаха в верховном совете, но все

это не столь важно. Первый же серьёзный национальный конфликт поставил политбюро в тупик, и можно заметить, что Горби не имеет в национальном вопросе никаких собственных идей. Надо, впрочем, сказать, что он стоит за “политическое” решение конфликтов, то есть за компромиссы без применения силы. Это не моральная позиция, а политика, навязанная ему обстоятельствами. Первая же кровавая баня положила бы конец “перестройке” и “гласности”, а вместе с тем и карьере Горбачёва. Мы ещё вернёмся к этой стороне дела и выясним, почему Миша *вынужден* идти мирным путём.

Теперь надо рассказать о грузинском вопросе. С ним связан один из двух драматических эпизодов съезда, в котором обессмертил себя генерал Родионов; второй эпизод был по поводу Афганистана, когда против Сахарова был выставлен безногий инвалид. В отличие от карабахского конфликта, грузинский вопрос получил на съезде неожиданный интересный поворот, но мне придётся опять начать издалека, чтобы вы могли все это понять. Вообще, в русской публицистике чаще всего важен не сам обсуждаемый вопрос, а то, что говорится *по поводу* него: пример подал нам ещё Белинский. Так вот, по поводу съезда мне придётся сказать много разных вещей, а в сущности меня интересует не съезд, а Россия — так же, как вас.

Но я ведь собираюсь говорить о Грузии, и любой грузин возмутится, как можно включать Грузию в рассказ о России. Спешу исправить мою оплошность: я бывал в Грузии и знаю, что Грузия — вовсе не часть России. Дело в том, что я очень неохотно пользуюсь казённым названием этого государства, в котором каждое из четырёх слов есть очевидная ложь: я называю его на старый лад, как это делают иностранцы. Нет, Грузия не хочет входить в Россию, и в этом весь грузинский вопрос.

Грузины не хотят быть русскими подданными, чем-то вроде русских второго сорта; они отклоняют эту честь. Не всякий русский это поймёт, а иной возмутится их неблагодарностью. Русские ведь бывают разные: был, например, Антон Павлович Чехов, и был унтер Пришибеев (попробуйте сказать мне, что его не было!). Унтер Пришибеев был твёрдо уверен в своей правоте и не выносил возражений, у него был девиз: “Виноват не я, а все прочие”. И вот мы увидели бессмертного унтера на трибуне съезда, в генеральском мундире и в звании народного депутата. Грузины выбрали его на съезд ещё до того, как он совершил своё историческое дело. Помните, что говорил чеховский унтер? “Народ, не толпись! Расходись! По домам!”

Я хотел бы точно знать, что́ произошло в Тбилиси в ночь на девятое апреля. Обидно, что это знает унтер, то бишь генерал Родионов, и не знаем мы с вами, уважаемый читатель. Наиболее вероятное предположение состоит в том, что это была неудавшаяся попытка государственного переворота. И затеяли её вовсе не грузины. Грузины просто-напросто митинговали на улицах Тбилиси, обсуждая разные вопросы, и некоторые ораторы высказывались за выход Грузии из Советского Союза. Они ссылались на то, что Грузия была независимым государством до русской оккупации, что она снова обрела независимость в 1918 году и была в течение трёх лет республикой под управлением социал-демократов. Они вспоминали, что во главе этой республики стоял Ной Жордания, и утверждали, что он был подлинный национальный герой. И они выражали желание, чтобы Грузия снова стала независимой республикой. Вот и всё.

На всё это можно смотреть по-разному. В среде моих друзей стремление грузин к независимости считается естественным и законным. Генерал Родионов думает иначе, и никто не отказывает ему в праве иметь своё мнение. Мнения можно принимать или отвергать, одобрять или оспаривать; вопрос состоит в том, надо ли за мнения *убивать*? Дело в том, что демонстрации в Тбилиси были *мирные*, в них ни разу не было применено насилие. Даже сам Родионов не решился обвинить в этом демонстрантов, а он использовал бы малейший предлог. В практике цивилизованных стран не принято убивать мирных демонстрантов, даже если демонстрация не разрешена. В Тбилиси людей убивали за простое выражение мнений, и в этом состоит основной факт, которого никто не отрицал. Но генерал пытался этот факт оправдать[1].

С точки зрения наших аппаратчиков грузины, требовавшие независимости, совершали тягчайшее политическое преступление: они посягнули на единство и целостность советского государства. Конечно, эти люди не принимают всерьёз записанное в конституции право на выход из федерации. Поскольку советские республики, по официальной теории, объединились добровольно, то неудобно было признать, что они навсегда утратили право решать свою судьбу: ведь каждая из них представляет *нацию*, имеющую право на своё государство, и предполагается, будто каждая республика в самом деле является государством. Но советский человек обладает осо-

[1]Спецоперация по разгону оппозиционного митинга в Тбилиси была осуществлена в ночь на 9 апреля 1989 года. — (*Прим. ред.*)

бым мышлением, которое Оруэлл назвал “двойным”. Это мышление состоит, по Оруэллу, из реального слоя, относящегося к условиям повседневной жизни, и номинального слоя, содержащего идеологию. Советский человек не должен — и не пытается — связать эти два слоя своего мышления, почему оно и называется двойным. Не следует думать, что номинальный слой не имеет для советского человека никакого значения. Каждый человек нуждается в каком-то обосновании своего земного бытия, хотя двойное мышление может доставить лишь жалкий суррогат такого обоснования. За семьдесят лет советской власти первоначальная коммунистическая идеология подверглась самым причудливым деформациям, и теперь она состоит из несовместимых частей. Пролетарский интернационализм давно уже стал самой номинальной частью советской идеологии, а существенным содержанием её стал русский шовинизм. Русского человека воспитывают “патриотом” приблизительно в том же смысле, как это делалось до революции, причём октябрьская революция и Ленин оказываются эпизодом славной российской истории, наряду с Александром Невским, Иваном Грозным и “отечественной войной” против Наполеона. Всё это резюмируется в государственном гимне:

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки великая Русь.

Как видите, союз нерушим и вечен, но республики при этом свободны. У наших генералов нет другой идеологии. То, что сказал генерал Родионов, он сказал вполне искренне, и столь же искренней была овация, устроенная ему “консервативным большинством”. Родионов и в самом деле убеждён в том, что призывы к независимости Грузии — это “антисоветская” деятельность, что такая деятельность преступна и должна быть подавлена силой, и те, кто ему аплодировал, точно так же в этом убеждены. Генерал апеллировал к привычкам и понятиям этих людей, употребив в издевательском смысле выражение “грузинский плюрализм”: само собою разумеется, существительное “плюрализм” и прилагательное “грузинский” вызвали у них желательные эмоции. Был, однако, момент, когда между генералом и его публикой установилась особенная близость; это случилось, когда Родионов упомянул непристойные выражения русского языка, прикрыв их эвфемизмом “волшебные слова”.

Русский язык богат непристойными выражениями: некоторым кажется, что это богатство уникально и не сравнимо с аналогичными сокровищами других народов. Мне трудно быть судьёй в этом вопросе, во всяком случае, мы не выставляем напоказ свои достиже-

ния, поскольку есть иностранные словари сленга, а русского нет. В России всегда был тип человека со специфическим языком образного мышления, такой человек с детства приучается к непристойным образам и моделирует ими окружающий мир. Однажды мне довелось познакомиться о такими людьми в условиях, не оставлявших возможности бегства: я оказался в лодке с двумя спутниками, не умевшими иначе мыслить и говорить. Надо ли объяснять дальше? Родионов говорил о своих чувствах при виде митингующих грузин и сообщил советскому парламенту, что в этот момент у него вертелись на языке "волшебные слова". Его поняли те, к кому он обращался: les beaux esprits se rencontrent[1].

Но я уже достаточно объяснил, кто такой генерал Родионов. Сам он не представляет интереса, но послушаем, что он рассказал о событиях кровавой ночи. Он сказал, что получил приказ разогнать демонстрацию, но не сказал, *от кого*. Заметим, что это — главный вопрос: *кто* отдал приказ устроить побоище в Тбилиси? Родионов уверял, будто солдаты *просто* разгоняли демонстрантов, а те оказали сопротивление, и солдаты, якобы, сильно пострадали. То же самое говорили потом более умные люди в Пекине. Он признал, что были применены сапёрные лопатки, а также отравляющий газ; то и другое военные власти до последней возможности отрицали. Так называемые сапёрные лопатки, заточенные с трёх сторон, представляют собой по существу холодное оружие, наносящее опасные резаные раны. Трудно сказать, почему солдат вооружили этими штуками (наряду с дубинками, которые у нас тоже очень опасны). Может быть, неудобно было признать, что людей разгоняли саблями или штыками, а *лопатки* звучат невинно. Что касается газа, то генерал назвал его игриво "черёмухой", имея в виду обычный слезоточивый газ, применяемый в таких случаях. Но тут он снова солгал, потому что были применены *три* газа: кроме "черёмухи", был ещё хлорпикрин, боевое отравляющее вещество первой мировой войны, и ещё какой-то газ, родственный применённому во Вьетнаме. Трудно понять, к чему такое обилие химического оружия, если против безоружных демонстрантов были брошены заведомо превосходящие силы — отборные головорезы из специальных частей. Можно предположить, что генерал струсил и в растерянности пустил в ход всё, что у него было в запасе. Солдат привезли самолётами издалека; утверждают, что эти же войска были в Афганистане, где они особенно успешно выполняли свой "интернациональный долг". Там число

[1] Великие умы всегда найдут общий язык (фр.) — (*Прим. ред.*)

погибших больше *миллиона*, так что с точки зрения рыцарей сапёрной лопатки события в Тбилиси — просто мелкий эпизод. Грузины подняли весь этот крик из-за *девятнадцати* убитых — даже не девятнадцати тысяч, уважаемый читатель! Подумать только, какая чувствительность у этого народа, не признающего за собой никакой вины! “Это вам за Сталина!” — орали солдаты, орудуя лопатками, откуда видно, что эти солдаты вовсе не сталинисты, как можно было бы подумать, а в некотором роде деятели перестройки. Для храбрости их напоили водкой, в духе лучших традиций наших вооружённых сил.

Но что же в самом деле произошло? Некоторые факты сообщил на съезде бывший первый секретарь грузинского цека Патиашвили. Конечно, он сказал не всё, что знает, но в том, что сказал, он вряд ли имел возможность солгать. Генерал Родионов не понимает, что его карьера кончена, но Патиашвили это знает. Он хочет дожить свой век в Грузии, и если он солжёт о чем-нибудь, что известно в Тбилиси, то ему в Грузии не жить. Родионов, состоящий на службе, говорит, что́ ему велело сказать военное начальство, несомненно враждебное Горбачёву; Патиашвили скорее всего был слабым сторонником Горбачёва, а после кровавой ночи его сняли с должности вместе со всем тбилисским начальством, чтобы успокоить грузин.

Патиашвили сказал, что до начала событий он был отстранён от власти, а контроль над городом принял военный совет. Полномочия привёз заместитель министра обороны генерал армии Кочетков, прибывший в Грузию без ведома Патиашвили. Без сомнения, он передал Родионову устные инструкции, как это делается во всех важных случаях, но этого Патиашвили, конечно, не сказал. Его заверили, что демонстрацию будут разгонять “без применения жестокости”, и вполне вероятно, что ему так и сказали: этот Патиашвили выглядит человеком, нуждающимся в успокоительных заверениях, и зачинщикам тбилисских событий не нужно было, чтобы он много знал. Патиашвили сказал, что говорил перед этим по телефону с министром обороны Язовым и председателем правовой комиссии цека, членом политбюро Чебриковым, но умолчал, о чём говорил. Может быть, надо напомнить, что до сентября прошлого года Чебриков был председателем КГБ, и что он считается самым отъявленным врагом “перестройки”. Сразу же после роковой ночи Горбачёв прислал в Тбилиси своего человека Шеварднадзе, который снял всё местное начальство; затем в течение пары недель в городе было военное положение, и газеты печатали версию событий, составленную военными.

Так что же всё-таки произошло? Вот достоверная сводка событий, проверенная по всем доступным источникам. Демонстрации продолжались уже несколько дней, и это была не первая вспышка волнений в Тбилиси. На этот раз поводом были демонстрации в Абхазии, которые тоже надо объяснить. Абхазы — народ, не родственный грузинам, говорящий на языке другой семьи, исповедующий ислам. Вначале (в 1921 году) большевики провозгласили там отдельную советскую республику, и поскольку в то время ещё не было Советского Союза, то эта республика не была ни "союзной", ни "автономной"; и теперь абхазы имеют повод требовать, чтобы им дали статус союзной республики. Это требование не вяжется с существующей практикой, поскольку абхазов слишком мало — меньше ста тысяч. Так или иначе, их отдельную республику вскоре прекратили, включив Абхазию в Грузинскую союзную республику в качестве "автономной республики" (а Грузию, в свою очередь, в Закавказскую федеративную республику). Всё это изобилие "республик" означало просто напросто сталинский административный произвол. Тогда абхазов было больше, чем сейчас: утверждают, что их усиленно истреблял Берия. Во всяком случае, теперь большинство населения Абхазии — грузины, и вот абхазы жаловались, что грузины их притесняют. Грузины, в свою очередь, усмотрели в демонстрациях абхазов "руку Москвы", то есть провокацию против борющейся за независимость Грузии. Я уже рассказал на примере Армении, каким образом социальные конфликты принимают национальную окраску, и не буду повторяться: Абхазией тоже управляет местная мафия, и нетрудно понять, что "национальные" мафии соперничают между собой, эксплуатируя несчастья своих народов. Народы Кавказа не доросли до демократии и позволяют представлять себя сложившейся "элите" — в наше время воровской.

Итак, в Тбилиси бурно обсуждался абхазский вопрос. В центре города, на ступенях дома правительства, расположилось около трёхсот протестующих, объявивших голодовку, большею частью женщин. Поскольку их угрожали разогнать, вокруг них дежурило в виде "охраны" примерно десять тысяч человек, и всю ночь произносились зажигательные речи. Одним из предметов митинга была независимость Грузии, что вызывало у местных властей ни на чём не основанный панический страх. Всё это движение носит пока явно дилетантский характер, хотя, разумеется, молодёжь впитывает новые идеи, и для *советской* Грузии это ничего хорошего не сулит. Одним из ораторов был официальный глава грузинской православной церкви, призывавший публику разойтись; на него не обратили

внимания, потому что церковь остаётся у нас и по сей день государственным учреждением: святой отец попросту выполнил порученное ему задание, чтобы можно было потом утверждать, что демонстранты были предупреждены. Тем временем площадь была оцеплена специальными войсками, вокруг стояли танки и бронетранспортеры. Но это не испугало демонстрантов, уже привыкших к таким мероприятиям: точно так же было потом в Пекине, и кто знает, где будет ещё? Даже при желании они уже не могли бы разойтись, да это и не было предусмотрено планом операции. Толпа была блокирована, и её стали прижимать к дому правительства. На грубое применение силы демонстранты ответили сопротивлением: ведь они пришли на площадь, чтобы “защищать” голодающих. У них были палки, но не было оружия, хотя трудно исключить, что в свалке могли быть пущены в ход и ножи. Надо подчеркнуть, что операция по разгону митинга была поручена не специальным частям милиции, имеющим для этого обычные средства (брандспойты, слезоточивый газ), а войскам, именуемым на западе “коммандос”, тренированным для совсем иных целей; в наших условиях они не могут быть никем, кроме профессиональных убийц. Чтобы можно было потом утверждать, что это была обычная полицейская операция, солдатам не дали огнестрельного оружия, но обучили их пользоваться “лопатками”, а также баллончиками с газом, которым брызгали в глаза. Как я уже говорил, применение трёх разных газов вызывает особенное удивление. Сотни отравленных людей лежат в тбилисских больницах, и до сих пор военные отказываются дать сведения о составе газов, без чего их нельзя лечить. Всё, что известно об этих газах, установили наши и иностранные токсикологи по материалу, взятому у больных.

Цель операции состояла, по-видимому, в том, чтобы загнать демонстрантов в дом правительства, создать таким образом видимость “захвата” этого здания, а затем устроить кровавую баню, подавив мнимый “мятеж”. План был сорван сопротивлением грузинской милиции, бывшей на площади до начала операции. Милиционеры были предусмотрительно разоружены, и многие из них серьёзно пострадали в схватке с солдатами; но в дом правительства никто не вошёл. Озверевшие пьяные солдаты преследовали бегущих, в том числе женщин и подростков, далеко по проспекту Руставели. Одна девушка была убита солдатом почти в километре от места демонстрации. Трудно понять, зачем солдаты бросали баллоны с газом в окна соседних домов. Конечно, возбуждение от побоища могло вызвать у них некоторую самодеятельность: надо ведь

принять в расчёт и человеческие свойства солдат. Один репортёр сумел заснять эпизоды этой ночи, а местная комсомольская газета осмелилась всё это опубликовать. Военные конфисковали почти весь тираж, но несколько номеров остались для истории.

Грузинская делегация изложила на съезде происшествия этой ночи. В её составе были и бывший первый секретарь Патиашвили, и генерал Родионов, но, конечно, другие депутаты отмежевались от бывшего секретаря и яростно накинулись на генерала. Кого представляют эти люди, мы уже знаем, но в этой схватке они, безусловно, представляли *также* грузинский народ; жулики искренне увлеклись своей ролью!

Генерал Родионов вызвал бурную овацию. Трудно сказать, сколько депутатов восторженно приветствовало генерала, но, во всяком случае, аплодировало абсолютное большинство. Как я уже сказал, это был один из двух кульминационных моментов съезда. Аппаратчики проявили свои чувства: похоть подавления, упоение привычным враньём и сладко вонючий шовинизм. Да, это был взрыв рабского энтузиазма, омерзительный для свободного человека. И свободный человек, чудом оказавшийся среди этих людей, от них отмежевался — но об этом потом.

Теперь надо всё это понять. Кто устроил провокацию в Тбилиси и с какой целью? Демонстрации продолжались уже давно, а операция у дома правительства была приурочена к возвращению из Англии Горбачёва. До того всё проходило мирно: среди голодающих были также сыновья Патиашвили. Отсутствие Горбачёва уже не раз совпадало со странными событиями. Складывается впечатление, что его поездками уже пользовались, пытаясь устроить государственный переворот. Последний раз это было во время его поездки в Красноярск, откуда он должен был направиться в Иркутск. Но он внезапно вернулся в Москву, без сомнения, кем-то предупреждённый, и учинил разгром старых кадров. Тогда были изгнаны из политбюро Громыко и Соломенцев, в сопровождении других брежневских вельмож. Таинственная перетряска произошла в неделю с 23 по 30 сентября прошлого года. После грузинских событий тоже была драматическая чистка аппарата: свыше восьмидесяти старейших членов цека (из трёхсот) внезапно захотели на пенсию. Поскольку операция в Тбилиси, как мы видели, управлялась из Москвы, напрашивается объяснение: и в этом случае замышляли государственный переворот.

Если сделать такое предположение, все факты становятся на свои места. Ясно, зачем нужно было устроить избиение женщин

и подростков. Грузины чувствительны к таким вещам, и это им делает честь. Можно было рассчитывать, что ночное побоище вызовет в Грузии открытый мятеж, и мятеж хотели утопить в крови. Тогда Горбачёв оказался бы перед совершившимся фактом, и ему пришлось бы либо одобрить содеянное, либо осудить. Если бы он одобрил кровавую баню, то кончилась бы “гласность”, погибла бы внешняя политика, в общем, Горби потерял бы своё лицо, а вместе с тем и шансы на власть. Если же он посмел бы осудить кровопролитие, то весь аппарат сплотился бы против него и, вероятно, удалось бы снять его решением цека. Горби избежал этой альтернативы: мятеж в Тбилиси не вышел, грузин удалось временно успокоить, а виновным пришлось за всё уплатить. Это его стиль: он не обличает своих врагов, а компрометирует их и заставляет платить.

Но кто же возглавлял заговор? Специальные войска, о которых шла речь, не подчиняются министерству внутренних дел. У этого министерства есть целая армия, предназначенная для подавления беспорядков, — так называемые “внутренние войска”, но Горби, разумеется, выбрал надёжного министра внутренних дел. “Зелёные береты”, как их называют на Западе, не подчинены этому министру. Они не подчинены также министру обороны, что уже несколько странно; но вспомним, что министр обороны генерал Язов — заведомо не сторонник Горбачёва. Напомню читателю, что всякое объяснение происходящего в нашей стране следует начинать с аппаратной грызни. Кому же всё-таки подчиняются эти специальные войска? Полагают, что у них совместное управление, то есть их можно привести в действие по приказу министра обороны, но только с одобрения правовой комиссии цека. А эту комиссию возглавляет Чебриков, бывший председатель КГБ, снятый с этой должности в том же сентябре прошлого года, после поездки Горбачёва в Красноярск. Известно, что Чебриков — сторонник Лигачёва и противник всех либеральных реформ. Может быть, в оппозиции Горбачёву он играет не вторую, а первую роль. Чебриков начал карьеру в украинском КГБ, известном особенной бесцеремонностью своих расправ. На Украине нравы почти не изменились со сталинских времён, там до сих пор фабрикуются липовые дела на всех неугодных. Потом Чебриков заведовал кадрами у Андропова, когда тот возглавлял всесоюзный КГБ; таким образом, это был доверенный человек, сколотивший аппарат для своего хозяина (и, конечно, ещё больше для себя). Андропов, став генеральным секретарём, назначил Чебрикова на своё прежнее место — председателем КГБ: как видно, он ему доверял. Вскоре Андропов заболел и был прикован к

постели (у нас бесчеловечно шутили: Брежнев работал на батарейках, а Андропов был подключён к сети). Охранял его, без сомнения, его верный кадровик. Когда выяснилось, что генеральный секретарь недолговечен, чиновники его предали и перешли на сторону его врагов. Так как Андропов принялся бороться с коррупцией, ему требовалось крепкое здоровье, и даже в этом случае у него было бы мало шансов на успех.

Тогда, по-видимому, предал его и Чебриков. В самом деле, он был неслыханно вознаграждён, и неизвестно, за что. Человек, совсем недавно возглавивший КГБ и не совершивший никаких особенных дел, вдруг был сделан "маршалом внутренних войск", то есть награждён чином, какой носил один только Берия, и одновременно стал кандидатом, а вскоре и членом политбюро. Такая невероятная карьера нуждается в объяснении, и объяснение может быть только одно: Чебриков исполнил особое задание коллег. Для этого вовсе не надо было прибегать к сильным средствам, и напрасно злословят, будто генеральный секретарь был просто "отключён". Аппарат, с которым он мог прожить ещё несколько лет — довольно сложная машина, есть много способов изменить её режим, а компьютерную запись можно потом стереть. Но здесь мы уже вторгаемся в область гипотез. Вероятно, даже коллеги из политбюро не знали, как это сделал Чебриков. Но благодарные коллеги его боятся, и вряд ли у него есть шансы стать генеральным секретарём.

Чебриков был очень опасен в роли председателя КГБ, и Горбачёву удалось убрать его с этого поста в том же сентябре. Он стал председателем правовой комиссии цека, которая должна была оставаться фиктивной; но кто всё-таки отдал приказ? В этих кругах приказы отдают устно, чаще всего в виде намёков. Любопытно, как историки решат этот вопрос. Они и до сих пор не решили, как был убит царевич Дмитрий, а ведь тогда было куда больше гласности, чем теперь.

Съезд ничего не решил по поводу Карабаха, но ему пришлось назначить комиссию для расследования событий в Тбилиси. В сущности, этой комиссии осталось выяснить только *один* вопрос: кто отдал приказ? Сахаров отказался участвовать в этой комиссии, он убеждён, что на главный вопрос ответа не будет. Не знаю, почему он в этом убеждён, ему виднее: он ведёт с Горбачёвым интимные разговоры. Во всяком случае, ещё одна комиссия может на какое-то время успокоить грузин, то есть оттянуть дальнейшие события. Никаких вопросов съезд не решил, а без конца откладывать нельзя. События произойдут, и политбюро придётся что-то делать. Трудно

понять, что эти люди могли бы придумать. Армянам нужен Карабах, а грузины хотят независимости — что тут поделаешь? Право же, вы должны благодарить Сталина, сделавшего Польшу национально однородным государством, а если вы будете неблагодарны, русофилы вам этого не простят.

Съезд создал ещё одну комиссию, чтобы успокоить прибалтийские народы. Эта комиссия должна установить, подлинно ли секретное соглашение Молотова-Риббентропа о разделе восточной Европы, по которому Гитлер и Сталин поделили между собой Польшу, а прибалтийские страны отошли к России. Никакой проблемы здесь нет, секретный протокол досконально изучен историками: ведь это тот самый документ, который позволил Гитлеру начать мировую войну. Но тогда оказывается, что виновником войны был не один Гитлер, и советские чиновники делали глупые заявления, пытаясь запутать этот вопрос. Положение в Прибалтике таково, что врать больше нельзя, и я уже читал в одной из латвийских газет, что комиссия признала протокол подлинным. В неофициальной форме это сообщила и московская печать. Отсюда ясно, что включение прибалтийских стран в Советский Союз было следствием тайной сделки Сталина с Гитлером, а это значит, что официальную версию о свободном присоединении этих народов поддерживать больше нельзя. К России никто не присоединился добровольно, даже русские, но русские уже забыли, как это с ними произошло.

Прибалтика сейчас самый интересный уголок советской империи. Там почти столько же свободы, как в Польше, и надо понять, как это получилось и долго ли это может быть. Я специально изучал “прибалтийский вопрос”, и мне не хотелось бы его комкать в конце письма. Только что я прочёл в латвийской газете “Советская молодёжь”, что в Риге *восстановлена* латвийская социал-демократическая партия. Там было интервью с деятелями этой партии, в очень благоприятном освещении. Мне трудно было поверить своим глазам, и я повторял знаменитый вопрос Леца: “Можно ли считать сюрреализмом окружающую действительность?” Нет, нельзя комкать прибалтийский вопрос, я напишу о нём отдельное письмо.

Письма из России. Письмо 4 “О Прибалтике”

Когда я принялся писать о Прибалтике, мне пришлось выслушать протесты друзей. Ещё несколько месяцев назад всё происходящее на балтийском берегу вызывало у нас безусловный энтузиазм, и мои опасения не принимали всерьёз. Посторонние причины задержали окончание этого письма, за это время произошло много событий и, к сожалению, я оказался прав.

Может быть, о Прибалтике вы знаете больше меня, во всяком случае о Литве. Но, скорее всего, ваши представления относятся не к нынешнему дню. У Литвы яркая история, она была великой державой. Я видел в музее карту, где граница Литвы проходила у Вязьмы, совсем рядом с Москвой. Вначале Литовская знать приняла православие; книга до сих пор называется по-литовски русским словом, и первые государственные акты Литвы были на древнерусском языке. Потом была уния с Польшей, и литовцы обратились в католицизм. Крестьяне оставались язычниками до пятнадцатого века, так что Литва оказалась последней страной Европы, принявшей христианство. Теперь литовцы, пожалуй, самый католический народ в мире, и церковь стала у них убежищем национального чувства, точно так же, как у вас.

В Вильне я впервые увидел переполненные церкви в обычный воскресный день. Задолго до начала службы женщины заняли скамьи и пели священные гимны, а рядом со мной изящно одетая девушка стала па колени. Православные церкви тоже были полны, но не теми, кто недавно в Литве: русские жили здесь всегда. Мне показали собор, где Пётр Великий крестил своего арапа; этому собору семьсот лет.

Латыши и эстонцы тоже познакомились с русскими очень давно, ещё до того, как появилось загадочное слово “Русь”. Соседями латышей были *кривичи*, откуда латышское слово “криевс” — русский. От русских они получили, вероятно, и первую письменность, потому что “книга” по-латышски называется “грамата”. Русские построили в Прибалтике первые города, и скорее всего дело кончилось бы русским завоеванием, но пришли немцы, и история пошла другим путём. Латыши и эстонцы стали крепостными немецких господ. Трудно оценить влияние немецкой культуры на эти пароды. Немец-

кие пасторы обратили их в христианство, потом превратили их в лютеран. Не знаю, возродится ли их вера, но я зашёл однажды в Риге в огромный собор, и в нем слушали проповедь тридцать человек. Кажется, старая вражда к немцам здесь забыта, а немецкая школа чувствуется во всем: латыши и эстонцы сдержаны, хозяйственны и, как я полагаю, им нравится готический шрифт. Естественно, эстонцы похожи на своих родичей финнов, а латыши, пожалуй, всё-таки похожи на нас. Может быть, и русские, пройдя немецкую школу, были бы похожи на латышей, но наша-то школа была татарской.

В восемнадцатом веке Прибалтика была завоёвана Россией. Немецкие помещики пошли на русскую службу, сохранив свои земли и крепостных. Александр Павлович освободил крестьян от крепостной зависимости, но без земли; он хотел ослабить влияние немцев в Остзейских провинциях, а заодно показать русским либеральный пример. В девятнадцатом веке в Прибалтике не было ненависти к русским, если не считать связанного с Польшей литовского дворянства. В Риге и Ревеле жили немцы и русские, в Вильне — поляки и евреи, империя казалась несокрушимой, и Прибалтика была спокойна.

Русская революция захватила Прибалтику. Были аграрные беспорядки и рабочее движение, так что классовая борьба, казалось, отодвинула национальный вопрос. Латышские стрелки сыграли важную роль в гражданской войне: они крепко уверовали в коммунизм и стояли на страже ленинского правительства, охраняя его от мятежей. В марте 18-го года, когда большевистское правительство бежало из Питера, спасаясь от матросского бунта, оно вряд ли добралось бы до Москвы, если бы не латышские стрелки. Они же спасли большевиков в июле, когда эсеры едва не взяли верх. Латыши были самой надёжной силой советской власти, и всех иностранцев, участвовавших в гражданской войне, стали называть “латышами”. Эту кличку дали, например, в Екатеринбурге людям, расстрелявшим царя и его семью, хотя это были красноармейцы из австрийских пленных. Наши русофилы не могут простить латышей, и Солженицын, по обыкновению, возлагает вину на весь их народ; достаётся, впрочем, и вам, за то, что ваши предки побывали в Кремле. Дело давнее, но Исаич — это сама память.

Бóльшая часть населения Прибалтики не поддержала большевиков, а вступила на путь самоопределения. Возникли три новых государства, сумевших защитить свою независимость от советской России. Конечно, это удалось им лишь потому, что большевикам было не до них, надо было брать Варшаву и идти на Берлин. Три

маленьких республики оставили в покое — на двадцать лет. Нельзя сказать, что это были безмятежные годы. Сначала были демократии по лучшим образцам, но через несколько лат их сменили военные диктатуры, сделавшие своей идеологией местный национализм. Для этого тоже был поблизости образец, но прибалтийские режимы были сравнительно безобидны. В Литве за всё время казнили трёх коммунистов, а в Латвии вообще никто не был казнён, так что президент Ульманис был лучший из фашистов; вообще он был специалист по молочному хозяйству — однажды я ел в Курляндии масло, напомнившее мне те времена.

Демократию вырастить трудно, это новое растение, очень чувствительное к почве. Если уж оно вырастет, то у него крепкие корни и могучий ствол; но вначале это деревце можно нечаянно затоптать, особенно военным сапогом. Так или иначе, в прибалтийских республиках выросло поколение людей, не знавшее иностранных господ, и многие из них живы по сей день. Они рассказали своим детям и внукам, что жили в *своей* стране, а после этого как-то, но живётся в чужой. Народ, вкусивший однажды это чувство своей страны, не может его забыть; злые люди называют его тем же словом *национализм.* Слава Богу, в каждом из нас сидит такой националист. И раз прибалтийская демократия всё-таки была — а она была, — то я желаю, чтоб она возродилась!

Прибалтийские народы пережили три оккупации. Сначала была советская в 1940 году, затем немецкая в 41-ом, наконец, опять советская в 45-ом. Казённую словесность по этому поводу можно оставить в стороне: оккупация страны иностранной армией — это вполне понятный факт, и здесь, кажется, нечего объяснять. Скажу о них только, что всё было почти так же, как у вас. Прибалтику чистили от нежелательных элементов по заданным признакам, национальным и политическим, политическим и классовым. Немецкая чистка была тщательной и, в некотором смысле, понятной, русская же — безалаберной и случайной, зачастую нельзя было понять, чего эти русские хотят. В итоге трёх оккупаций Литва потеряла треть населения; о двух других республиках у меня нет точных данных, но картина так же ясна.

Самый важный итог состоит, может быть, в том, что прибалтийские страны потеряли свой культурный слой. Все, кто что-нибудь значили в своей стране, знали, что их ждёт, и бежали, если могли. Наследие этой эпохи — обезглавленные нации. Но, к счастью, мы видим, как головы отрастают вновь; у нас в России они растут медленно и, по обыкновению, вкривь и вкось, у балтийцев же — уди-

вительно быстро, и как раз те головы, какие сейчас нужны. Отсюда видно, что настоящим объектом репрессий должен быть не наличный состав нации, а её генофонд, но это уже отдельный вопрос.

Третья оккупация затянулась на полвека. В первые годы балтийцы сопротивлялись, уходили в леса и всячески изводили своих предателей. Но время шло, и вступил в действие отвратительный закон давности, придающий насилию почти респектабельный вид. В сущности, почти вся Европа принадлежат потомкам завоевателей, и если добираться до источников права, то Англия должна принадлежать даже не кельтам, а каким-нибудь пиктам, девшимся неизвестно куда. Да что там Европа, ведь даже евреи, стенающие о своём Иерусалиме, взяли его силой у каких-то евусеев, а те не могут уже заявить на него претензию, потому что их нет. Ничего не может требовать народ, которого нет, и потому мы спокойно проживаем у реки, носящей финское имя Москва. Но народ, который есть, может настаивать на своих правах, и первое его право — это право *быть*. Если народ не хочет, чтобы его истребляли — как это делалось в Прибалтике методом *депортаций* — то вряд ли кто-нибудь станет против этого возражать. Так называемые “лесные братья”, а по-нашему партизаны, не хотели, чтобы их народ сажали в теплушки и вывозили туда, откуда нет возврата; потому они стреляли в оккупантов, и все пережившие оккупацию их поймут.

Народ может исчезнуть и без физического уничтожения: он может ассимилироваться, раствориться в завоевавшем его народе. Так чаще всего и бывало в истории, так исчезли славяне в восточной Германии, финские племена в северной России. Ассимиляция не обязательно связана с завоеванием, она возникает и при мирном сожительстве соседних наций. Во Фландрии французский язык вытесняет фламандский: во время битвы при Ватерлоо Брюссель был фламандским городом, а теперь там говорят по-французски. Пока не видно, чтобы фламандцы хотели выделиться в отдельное государство, но они защищают свой язык. Напротив, в Канаде английский язык угрожает вытеснить французский, и может случиться, что французский Квебек станет, в конце концов, независимой страной. Там, где народ живёт компактной массой, это, вероятно, самый безболезненный выход — если народ не хочет исчезнуть с лица земли.

Великие народы древности исчезли. Нет больше римлян, их язык и культура вошли в наследие всех европейских наций. Греки и евреи,

живущие до сих пор, во многом утратили свою культуру, даже свой племенной тип. И на наших глазах стираются границы культур. Уже сейчас французы и немцы жалуются на вторжение английских слов и американских нравов. Может случиться, что языком будущей Европы станет какой-нибудь американский жаргон, а старые языки европейских наций займут почётное место классических языков — как у нас греческий и латынь. Хорошо это или плохо?

Возникает вопрос, почему вообще народ желает себя сохранить, и должен ли он этого желать? Не лучше ли, если все народы сольются в одно целое, с единым языком и единой культурой, как это предвидели многие благородные умы? Есть ли в отдельных нациях и культурных типах нечто, представляющее непреходящую ценность?

Можно привести веские аргументы в пользу сохранения наций. Если даже в будущем осуществится великий синтез национальных культур, то, во всяком случае, эти культуры должны для этого *уцелеть*. Простое их разрушение, происходящее на наших глазах, к такому синтезу не ведёт. Культура каждой нации единственна и неповторима. Чтобы понять это явление, философы сравнивают культуру с биологическим видом. Это сравнение детально провёл величайший биолог нашего века Конрад Лоренц; и хотя сравнение не означает тождества, оно доставляет нам важную модель для понимания человеческих культур. Точно так же, как всякий вид, созданный долгим и мучительным процессом эволюции, является особой ценностью в природе и заслуживает сохранения, мы должны научиться ценить культуры *всех* народов, потому что каждая из них вносит в общую культуру человечества свой особый вклад. Значение этого вклада *нам* может быть не ясно, оно может вполне проявиться в будущем, мы же должны сохранить всё, что создали наши предки, не расточить это богатство и передать его нашим потомкам. Но для этого должна сохраниться *нация*, носитель культуры, и если принимается ценность культуры, то и в нации есть нечто, что сто́ит сохранить.

Эта “экологическая” аргументация очень распространена, и я постарался изложить её без искажений. Должен заметить, что сам я далеко не во всем её разделяю. Лоренц вообще не связывает понятие культуры с определённой нацией и, разумеется, мудро избегает таких выводов, как “принцип сохранения наций”. Всякая аналогия опасна, если завести её слишком далеко.

Посмотрим теперь на дело с другой стороны. Человек не просто созерцатель своей культуры, он в ней живёт, и живёт не так, как пчела или муравей, — он и сам единственный, неповторимый субъ-

ект, творящий свою судьбу. Он не может быть простой частицей своей нации, особенно в нынешнем мире, где все традиции варятся в общем котле, где непрерывное движение сталкивает человека с ценностями других культур и с живыми людьми других наций. Мы не можем задержать этот процесс, да мы и не хотим задержать его, потому что все мы дети одной планеты, и человек, стремящийся к свободному развитию, не может примириться с меньшим полем деятельности, чем вся Земля. Нарочитая политика сохранения наций означает борьбу с ассимиляцией, а это неизбежно ведёт к отчуждению соседей и друзей, вносит раздор в семью. Прав был поэт, поместивший сеятелей раздора в последний круг ада: всякий, кто учит людей чуждаться друг друга, служит дьяволу и по праву должен быть рядом с ним.

Где же выход из этого конфликта? Каждый раз, когда сталкиваются две человеческих ценности, возникает вопрос, какая из них ближе к основным ценностям, которые мы признаем. Наша цивилизация признаёт величайшей ценностью *человеческую личность*, её духовную и физическую свободу. И каждый раз, когда сталкиваются интересы личности и притязания коллектива, мы не желаем, чтобы коллектив подавлял личность, каким бы именем ни назывался этот коллектив. Потому что коллектив, не состоящий из независимых личностей, не есть уже подлинно человеческое сообщество, а пародия на биологический вид. Интересы личности мы ставим выше всех других — все другие интересы должны быть ей подчинены. Это и есть гуманизм.

Индивид принадлежит своей нации столь же естественно, как дышит воздухом, это для него не предмет особой гордости, и в нормальных условиях даже не предмет размышления. Лишь в ненормальных условиях возникает так называемый национальный вопрос. Пока нации ничто не угрожает, этого вопроса попросту нет, и человек может заниматься своими личными делами, или решать какой-нибудь другой проклятый вопрос. Но бывают случаи, когда люди ощущают близкое присутствие других наций как угрозу своей. В таких случаях личность имеет тенденцию раствориться в своей нации, а это так же плохо, как раствориться в чужой. Опасность ассимиляции состоит не в потере нации, а в потере личности. Эта потеря и есть *настоящий* национализм.

Когда же возникает это ощущение нежелательной близости чужих людей, вгоняющее человека в национальный комплекс? Мне кажется, это происходит от внезапного вторжения в его жизнь новых физических и духовных явлений. Близкое соседство позволяет нам

привыкнуть к непохожим на нас людям. Плохо, если непривычное является внезапно и в большом числе, а если оно навязывается нам силой, то мы и вовсе отказываемся его терпеть. Африканцы отлично ладят с пигмеями и нередко вступают с ними в брак, швейцарцы составляют тесный союз, хотя говорят на четырёх языках. Шотландцы научились терпеть англичан и доблестно сражались под их знамёнами, и даже немцы, недавно ещё разделённые на сорок шесть государств, примирились в конце концов с тем, что они — один народ. Но *внезапное* вторжение чужих элементов трудно перенести, на них переходит раздражение от всех других причин, и возникает неприличная истерия. Так реагируют нынешние европейцы на негров и арабов, делающих за них грязную работу и получающих за это гроши. У людей возникает ощущение, будто им кто-то навязывает этих чужих. Если чужие и в самом деле навязываются, перенести их куда трудней.

Русские жили в Прибалтике с незапамятных времён, к ним давно привыкли, и до войны с ними не было особенных проблем. Но те русские, которые пришли в сороковом году, не были похожи на прежних, это был совсем другой народ; мне рассказали в Литве, как монахинь вывозили на барках и топили в реке. Это был лишь случайный эпизод, потому что полагалось не топить, а расстреливать в затылок, но этот эпизод крепко запал в народную память. Ещё я услышал, как наша армия освобождала Литву. Сразу же объявили мобилизацию, и некоторые юноши от неё уклонились. Тогда стали расстреливать виновных (то есть первых попавшихся, ведь этим занимался НКВД), а трупы выставляли на площади у фонтана. С тех пор молодые литовцы не хотят служить в армии, и можно понять чувства их матерей. Потом балтийцев стали *депортировать*, то есть вывозить в лагеря десятки тысяч людей без всякой видимости суда. Потом стали сажать поодиночке, и можно было даже понять, за что: сажали тех, кто слишком любил свою страну. Всё это делали русские и те, кто нанялся им служить. Так и создался образ русского, от которого трудно уйти.

Между тем, прошли десятилетия, а к этим русским прибавилось много других. Русские заливали Прибалтику сплошным потоком: после всех опустошений, это был ещё самый богатый угол страны. Здесь было ещё много еды, в городах сохранился некоторый порядок, и на готовом можно было неплохо прожить. Сначала пришли чиновники, чтобы всем этим управлять. Потом начали строить заводы, где требовался самый нехитрый труд, а рабочую силу ввозили из России — нетрудно понять, зачем. Есть у нас так называемый

“оргнабор”: холостые парни, утратившие связь со своей средой, и девицы, не умеющие выйти замуж, нанимаются на льготных условиях неведомо куда. Их бесплатно везут на N-ский комбинат, строят для них общежития, и они вносят русский дух в местную среду. Первым элементом этой культуры является русский мат: думаю, ничего подобного у здешних народов нет. За оргнабором следуют отставные военные, имеющие право требовать себе квартиру, где хотят. Рига и Таллин — их любимые города, где они хотят жить и умереть. Я не люблю офицеров, особенно пожилых и в чинах. Наконец, самый невинный слой русских мигрантов составляют обыкновенные люди, прибывшие в Прибалтику по приглашению каких-нибудь учреждений. Вряд ли они понимали, что едут в другую страну: ведь наши республики были юридической фикцией, и советский человек не задумывался, выезжая на жительство в Харьков, Ригу или Казань. Русские живут в Прибалтике всю жизнь, чуждаясь местного народа и не зная его языка. Дело не только в том, что взрослому трудно выучить новый язык: они просто не желают его знать и не учат ему своих детей. Люди попроще говорят, что это им ни к чему, но один учёный (по крайней мере, считавший себя таковым) объяснил мне, что не станет учить латышский, потому что это *примитивный* язык; не знаю, кто ему это сказал.

Современный русский мещанин по натуре своей — босяк. Теперь говорят о люмпенской психологии, но учёность тут ни к чему — он босяк. Если вы увидите в Прибалтике человека, смачно плюющего на тротуар, это русский. Если кто-нибудь расталкивает очередь у окошка, это тоже русский. И пьяный, горланящий на улице песни, скорее всего тоже русский: я видел однажды пьяного латыша, но тот не кричал. Может показаться странным, что русские мало чему научились у своих терпеливых и скромных хозяев, но ведь они считают хозяевами *себя*. Это, если так можно выразиться, колониализм без личного достоинства, сознательный или нет, а лучше сказать — примитивный коллективизм: русский человек верит в стоящую за ним подавляющую силу русского государства. Впрочем, всё это уже позади: силы этой больше нет, и русский мещанин, как мы увидим, теперь растерян и угнетён.

Миграция русских достигла угрожающих размеров и ставит под сомнение самую возможность независимого существования прибалтийских стран. Только Литва избежала этой опасности: там 80% литовцев, а остальные — русские и поляки — в большинстве коренные жители страны. Мне кажется, русские не стремились в Литву потому, что их ждал там очень уж плохой приём, и местному начальству,

по-видимому, удалось сдержать русификацию Литвы, убеждая московское начальство не слишком раздражать народ. Латыши были мягче — и были за это вознаграждены. Сейчас у них около половины населения — русские, а в Риге русских 65%. Это значат, что референдум об отделении для латышей просто невозможен; и Горбачёв это хорошо понимает, требуя двух третей голосов. В Эстонии русские составляют 40%, они занимают весь северо-восточный угол страны, а в Таллине их до 80%. Неудивительно, что балтийцы выступили против миграции, как только с этого слова был снят запрет.

Требования могут предъявлять лишь те народы, которые есть, и эти три народа ещё есть. Они единодушны в своём стремлении к полной независимости, следовательно, им предстоит воссоздать свои государства. Тогда вопрос о миграции можно будет разрешить обычным способом, в духе международного права: все государства регулируют иммиграцию, устанавливая правила приобретения гражданства. Каждая нация стремится сохранить свою страну. Если угодно, в этом есть национальный эгоизм, но ведь точно так же мы любим родной дом. И легко понять, что нация может развивать свою культуру лишь на своей земле. Всё это логично, пока в центре внимания остаётся *нация* и её культура. Но высшей ценностью является *человек.*

Что же чувствует теперь живущий в Прибалтике человек? Ясно, что он чувствует, если он эстонец, литовец или латыш. История работает в пользу прибалтийских народов, и если спокойно рассмотреть ситуацию, им уже ничто не грозит. Советская империя дышит па ладан. Вконец разорённая Россия должна расстаться с державными привычками и думать о самой себе. Этот печальный факт — разорение России — вовсе не означает, что Россия уже сыграла свою роль, но роль эта не будет больше состоять в порабощении других. Надо предоставить этим другим устраивать свои дела по собственному разумению; для нас, русских, это не только нравственный долг, но и требование здравого смысла.

Могло бы показаться, что Москва ещё сильна: на улицах Вильнюса, Таллина и Риги полно мундиров, это сухопутные войска, моряки, лётчики, внутренние войска, пограничные войска, и кто знает что ещё. Всё это воинство шатается тут без дела, проедает наши налоги и, как можно подумать, готово исполнить любой приказ. Но всё дело в том, кто может отдать этот приказ, и как он может быть исполнен. В Москве нет настоящей власти, власти, уверенной

в себе и способной принимать решения. Правящий аппарат нашей империи распадается на глазах, чиновники мечутся, думая только о своих личных интересах, и если вас не шокирует народный язык, всем им до лампочки, как сложатся государственные дела. Тем временем во всех союзных республиках на месте старой власти складывается какая-то новая власть — смесь партийных реформаторов, крикунов-демагогов и даже бывших диссидентов, тюремных сидельцев, пересевших в парламентские кресла. И все они, искренне или вынужденно, провозглашают свой национальный суверенитет: иначе уже нельзя, и аппаратчики всех наций поневоле включаются в общий хор. В довершение всего, Россия тоже осознала, что и она союзная республика, с теми же правами, как Литва или Таджикистан. Между тем, на шахтах и заводах России зреет социальный взрыв. В этих условиях мало значат генералы, дрожащие за свои дачи, и охваченные страхом члены *последнего* политбюро. Нет, никто в Москве не способен отдать приказ, и меньше всех Горбачёв.

Может ли Горби устроить переворот? Я видел в эстонской газете его портрет, стилизованный под Наполеона, но ведь он не Наполеон, он всего лишь канцелярский интриган. Да и не может быть теперь никакого Наполеона, никто в него не поверит и за ним не пойдёт. Кровавая баня в Прибалтике положила бы конец мишиной карьере, и ещё сомнительно, чтобы она удалась. Ведь у нас все стараются избежать ответственности: каждый понимает, что его сделают козлом отпущения за всё, что может произойти. Поэтому приказ может быть отдан лишь в общей форме: восстановить порядок, применить все средства, не допустить и т. д. А конкретное содержание приказа будет зависеть от устных инструкций, от которых передающие лица всегда могут отпереться, как это и было в случае тбилисских событий. Генерал Родионов так и не понял, чего от него хотели, и вместо государственного переворота получилось одно из тех бесполезных кровопролитий, какие учинял щедринский Топтыгин. Сам же Родионов, после эфемерного триумфа на первом съезде, задвинут в какую-то военную академию, его карьера кончена. Следующий Топтыгин будет уже бояться суда.

Но даже если начальство решит устроить кровавую баню, неизвестно, как поведут себя солдаты. Я думаю, что солдаты обычных войск, то есть обыкновенные призывники, не будут стрелять в народ, разве что на них внезапно напасть. Есть ещё специальные войска, отличившиеся в Грузии против женщин и подростков, но они состоят из подонков и разбегутся при первом серьёзном сопротивлении. Армия без чести — это, мягко выражаясь, бесполезный

сброд. Раз у нас такая армия, можно сбросить со счетов военный переворот.

Теперь мы подходим к главному пункту: в сущности, военная сила — это *всё*, чем Москва может удерживать власть. Экономические санкции, как известно, во всех случаях доказали свою бесполезность. Против народа, единого в своей воле, есть только одно средство — военная мощь, и если её нельзя пустить в ход, то с этим народом ничего сделать нельзя. По-видимому, это сознают теперь все народы, решившие сбросить русское ярмо, да и сами русские начинают понимать, что империи приходит конец. Никакой трагедии здесь нет, оглянитесь кругом, и вы увидите двадцатый век.

Но если так, то нетрудно понять нынешнее настроение литовца, эстонца и латыша. Он всё меньше боится русских парней в мундирах, слоняющихся по его земле, всё больше уверен, что будущее его страны будет решаться *здесь*. Одним словом, балтиец чувствует себя свободным человеком, хозяином своей страны. Исчезает один из проклятых вопросов нашей жизни — прибалтийский вопрос. И тут же возникает русский вопрос. Как чувствует себя в Прибалтике русский?

Следя за превратностями политической жизни, я хочу понять, как чувствует себя в них *отдельный человек*. И если окажется, что этот человек угнетён и унижен, то моё сочувствие будет на *его* стороне. Нацисты и марксисты, вылепив из людей фигуры наций или классов, играли ими на шахматной доске истории. При таком подходе живой человек становится чем-то несущественным, почти абстрактным, и легко забыть, для чего ведётся игра. Но я вижу отдельного человека и не могу примириться с тем, что человек несчастен в Прибалтике лишь потому, что он русский или поляк.

О поляках в Литве я знаю немного. Они живут в окрестностях Вильны, особенно в районе Солечников, и тщетно добиваются даже скромного самоопределения в пределах Литвы. Я знаю, что польская оккупация Вильны оставила болезненный след в Литве, но не вижу, кто из ныне живущих поляков в этом виноват. Как и все европейцы, я отвергаю принцип племенной ответственности: каждый отвечает за свои поступки, но не за поступки других. И я не могу понять, почему человек не может говорить "Солечники", если ему трудно выговорить "Шалчининкай". Мне тоже трудно произнести это слово, пусть же каждый говорит, как ему удобнее. Естественно, поляки в Литве хотят сохранить свой язык и свою культуру, а для

этого им нужна некоторая автономия. Что же имеют в виду, когда провозглашают единую и неделимую Литву? Может быть, Польша хочет снова захватить Вильнюс? Об этом я пока не слышал; может быть, поляки этим займутся, когда у них не будет других забот.

Итак, я не берусь судить о поляках в Литве. Но вот о русских в Прибалтике я знаю гораздо больше, и меня больше всего тревожит именно этот вопрос. Теперь, когда эстонцы, латыши и литовцы вновь обрели свою гордость, а скоро получат и свою власть, они представляют для меня меньший интерес. Я думаю теперь о русских потому, что сейчас, когда я это говорю, русский в Прибалтике хуже всех унижен и угнетён.

Есть ужасная логика национального чувства: каждый угнетённый народ непременно находит себе жертву, какой-нибудь более слабый народ, который удобно и приятно угнетать. Андрей Дмитриевич Сахаров получил перед смертью два сердитых письма от грузинских патриотов, обвинявших его в шовинизме, империализме и чем-то ещё. Как известно, Сахаров ездил в Тбилиси расследовать апрельское побоище, положив на это немалую долю оставшихся у него сил, и тогда он был у грузин чуть ли не святым. Но потом он с той же энергией вступился за абхазцев и осетин, а это уже смертный грех: Грузия должна быть единой и неделимой, и вообще там никто не обижен, кроме грузин. Так вот, русский в Прибалтике сейчас унижен и угнетён.

Я не хочу сказать, что он живёт там, как армянин в Баку. Жизнь его вне опасности; чтобы выгнать его со службы, ищут какой-нибудь предлог, и он может, вместе со всеми, получать ежемесячно по талонам полкило макарон. Не правда ли, балтийцы — люди высокой культуры? Или, может быть, вы не верите, что они соблюдают законы? А если так, спрóсите вы, то чего же я собственно хочу?

В Каунасе мне рассказали любопытную историю. Русский парень ехал в автобусе, где были одни литовцы, и те говорили, конечно, на своём языке. Ехали долго, и этот парень должен был молчать; наконец, он не выдержал и взорвался. Он орал в истерике, требуя от своих спутников, чтобы они *перестали над ним издеваться*, то есть говорили на человеческом языке. Без сомнения, это дикая выходка шовиниста, но попробуем понять этого человека. Каунас — совсем литовский город, но почти все понимают там по-русски. Когда к литовцам обращаются по-русски, они часто делают вид, что не понимают, — конечно, не всегда. Теперь представьте себе, что такой русский парень несколько лет живёт среди людей, демонстративно не желающих с ним говорить, не отвечающих на самые невинные

вопросы — только потому, что он русский. Не правда ли, есть от чего свихнуться?

Мне могут возразить, что этот человек сам виноват: не надо было приезжать в Литву. Вероятно, не надо было, но ведь я хочу посмотреть на дело с *его* стороны. Представьте, что он приехал по оргнабору откуда-то из русской глубинки: мог ли он знать, куда его посылают и что его там ждёт? То, с чем он встретился в Каунасе, есть, безусловно, литовский национализм, и не только законный и благотворный национализм, о котором я говорил в начале письма, но также и нехороший национализм, видящий в каждом русском “оккупанта” и желающий его, по возможности, унизить. Такая среда воспитывает, конечно, ответный русский шовинизм, даже если предположить, что молодой человек не привёз с собой эту заразу. Последствия такой взаимной индукции отчуждения и ненависти могут быть далеко не столь невинны, как истерика в автобусе. И я утверждаю, что в этом виновны *обе* стороны. Если бы в том же автобусе кто-нибудь улыбнулся русскому парню, кто-то обратил на него внимание, если бы сидевшие рядом с ним не вели себя так, как будто его нет, — ничего бы не произошло. Странно, не правда ли, что я предъявляю эти требования людям, у которых *свои* дела, которым естественно говорить на *своём* языке? Но ведь деление людей на *своих* и *чужих* легко превращается в мировоззрение. Как же называется это мировоззрение? Конечно, это не гуманизм. А священник объяснит вам, что это не христианство: для Христа нет ни эллина, ни иудея, и если это вам не нравится, то чем же вы лучше русских, отвернувшихся от Бога?

Впрочем, я неверующий, мне не обязательно любить ближних; кого хочу, того и люблю. А теперь я расскажу вам другую историю. В Латвии есть газета с забавным названием “Советская молодёжь”, на русском языке. Там печатаются письма читателей, молодых людей, и, судя по содержанию этих писем, их не обрабатывают. Одно письмо мне особенно запомнилось: мне кажется, оно передаёт как раз существо дела, самое важное, что я хотел вам сказать,

Автор письма — молодой русский, выросший в Латвии. Он рассказывает, что с детства не придавал значения национальным различиям, что друзья его были русские и латыши, и до недавнего времени, как ему кажется, всё шло хорошо. Но в последнее время он заметил холодность в обращении своих латышских друзей и не понимает, почему это произошло, и должно ли так быть. Он ничего не имеет против Латвии, где прожил всю жизнь, и желает ей всего лучшего, но ему кажется, что в этой перемене настроения

есть что-то дурное. Вот и всё письмо.

Эта простая история произвела на меня глубокое впечатление, и я был удивлён, как отозвались о ней мои друзья. Они не поверили искренности молодого человека, не почувствовали глубокой правды, стоящей за его письмом. Конечно, он наивен, и если ему кажется, что раньше всё было хорошо, то он глубоко ошибается. Но стоит задуматься, в чём он прав. Может быть, его латышские друзья были с ним не вполне откровенны; может быть, просто обнаружились вещи, бывшие всегда. И всё равно он прав в своей печали, потому что всякий раздор между людьми — это зло. Да, происходит возрождение наций, они вновь обретает своё лицо, и это должно быть. Но при нынешнем состояния человека национальное возрождение неизбежно принимает форму *национализма*, а в национализме *может быть* некое добро, но непременно есть вполне определённое зло. Всякое объединение людей по национальному признаку есть в то же время разъединение людей по национальному признаку, и *в этом смысле* всякий национализм есть безусловное зло.

Какие же *положительные* представления есть у нынешнего литовца, латыша или эстонца, как он представляет себе жизнь в своём будущем государстве? Конечно, он мало знает о нынешней Европе и лучше представляет себе хорошую жизнь на старый лад, в том виде, как её изображают старики. В центре его представлений находится частная собственность, и прежде всего то, о чём мечтали поколения его предков, и чем они так недолго обладали, — собственный кусок земли. Здесь уцелела ещё крестьянская привычка к труду, почти убитая в России, так что балтийцам не угрожает настоящий голод: как бы ни сложились дела с мировым рынком, родная земля их прокормит.

Собственность — великая движущая сила истории. Те, кто этого не понимает, должны прочесть удивительную книгу Мишле под названием “Народ”. К чему приводит разрушение всякой собственности, мы знаем по опыту лучше всех. Но собственность — не цель, а средство, и если это средство не ведёт к более высокой цели, оно становится злом. Собственность отвлекает человека от духовной жизни, отделяет его от ближних. У совершенного человека не должно быть никакой собственности. Автор Нагорной Проповеди был уверен, что человек может и должен быть совершенным, не только на небе, но и на земле. Нагорная Проповедь и есть подлинная сущность христианства: это проповедь безграничной щедрости и брат-

ской любви. Теперь это учение считается постыдным и называется кличкой “социализм”.

Церковь, снисходя к человеческой слабости, *допускает* частную собственность. Её не было у первых христиан и не будет у последних. И вот, в Прибалтике люди заявляют своё право на человеческое несовершенство: они отвергают Великую Правду ради малой правды, правды своего племени и своего куска земли. И они правы, потому что нельзя навязать человеку больше правды, чем он в силах принять.

Никакую правду вообще нельзя навязать. Впрочем, больше нет энтузиастов, ворующих в Великую Правду и готовых навязывать её другим. Большевиков больше нет, совсем другие люди повторяют их слова. Кто же теперь провозглашает социальную справедливость и пролетарский интернационализм? Конечно, жулики, и по этим лозунгам их узнают. В Прибалтике это русские бюрократы и отставные военные, а политика их состоит в том, что они надувают запуганных русских мещан. Стало быть, не надо их запугивать, тут прямой политический расчёт, и этот расчёт совпадает с тем, что подсказывает простая человечность. Можно ли, например, изгнать русских из Латвии? Нет, нельзя. Демократия означает не только свободу, но и серьёзные ограничения в обращении с людьми. Она не позволяет *депортировать* неудобные народы, лишать их избирательного права, или просто их унижать. Отсюда следует, что Латвия может превратиться в нечто вроде Бельгии, с двумя разноязычными общинами и, право же, это не самая большая беда. Кое-кто из русских уедет, а остальным суждено жить в независимой Латвии, которая только с их участием и сможет быть создана. Так же обстоит дело в Эстонии, и даже в Литве. Прошлое создало весь этот клубок проблем, предоставим же будущему его распутать. И пусть никто не забудет русский язык!

Мне хотелось бы окончить это письмо мажорным аккордом. Недавно я был на вечере, посвящённом памяти Сахарова. Собралось две тысячи человек, но билеты достались не всем: здесь была либеральная интеллигенция Москвы. Я думаю, каждая общественная группа имеет право собираться в своём кругу, и напрасно придираются к нашим строгим патриотам, не пускающим посторонних. Здесь им пришлось бы страдать, и хорошо, что их не было среди нас.

Андрей Дмитриевич Сахаров — кумир либеральной интеллигенции. Это был тот самый зал, где стоял его гроб, и на сцене был установлен его громадный портрет. Председателем собрания был Сергей Ковалёв, отсидевший десять лет, вернувшийся с Колымы не сломленным, никогда ничего не делавший для себя. Судили его в Вильнюсе, потому что он боролся за свободу Литвы. Когда его судили, Сахаров ездил в Вильнюс, пытался проникнуть в зал судилища, привлечь к нему внимание людей. И вот выступили два литовца. Один из них был “литовский афганец”, то есть литовец, насильно отправленный воевать в Афганистан. Этот молодой человек говорил о том, что Литва может стать таким же полем преступной войны. Затем говорил пожилой человек, бывший заключённый. Он обратился к русской интеллигенции и завершил свою речь прекрасным польским лозунгом: “За нашу и вашу свободу!” Все встали, зал устроил бурную овацию Ковалёву. Вдруг я понял, что нечто важное происходит позади. Люди оборачивались, на лицах людей был восторг. И я увидел в глубине зала два трёхцветных знамени, развевавшихся на высоких древках: это были флаги независимой Литвы.

Пусть же Прибалтика будет свободна! А потом придёт наш черёд, и будущее нас соединит в единой мировой семье.

Письма из России. Письмо 5 “Социальное положение”

Социальное положение нашей страны в последнее время все оплакивают, и оно в самом деле плачевно. История, породившая это удивительное общество, в общих чертах известна, и я не буду её напоминать. Было бы хорошо, если бы явился, наконец, историк и написал историю России в двадцатом столетии: но для этого должен явиться историк, а у нас пока есть только моралисты. Я хотел бы нарисовать здесь общую картину нынешнего советского общества, по возможности без моральных оценок. Читатель сам составит себе мнение, что у нас хорошо и что плохо, и я надеюсь, что его мнение совпадёт с моим.

Около половины населения Советского Союза составляют русские, занимающие больше половины его территории. Большинство русских живёт в РСФСР — Российской республике, но десятки миллионов — на Украине, в Средней Азии, в Прибалтике и других нерусских местах. В смысле языка и обычаев русские довольно однородны, но социально расслоены и, как всякая господствующая нация, переживают социальный кризис в более прямой форме. Другие нации пытаются превратить тот же социальный вопрос в национальный, но у каждой есть и свой национальный вопрос. Иногда думают, что три “славянских” республики — Россия, Украина и Белоруссия — составляют нечто единое и могут образовать устойчивое государство, когда Советский Союз распадётся. Это весьма сомнительно, но не будем говорить сразу обо всём. Если речь идёт о социальном положении, то славянские республики во многом похожи, и следующий дальше рассказ относится прежде всего к ним. Он применим также и к неславянским республикам, с существенными поправками, о чём я дальше скажу.

После пяти лет “перестройки” у нас всё ещё сохраняется советский образ жизни и, конечно, воспитанный им советский человек. Прежде всего, советский человек — государственный служащий, то есть, по определению, чиновник. У нас первое в истории сплошное государство чиновников, где можно работать только в государственном учреждении. Чиновник не способен ни к какой инициативе, за исключением воровства, и когда человеку с такой подготовкой представляется возможность что-нибудь делать по-своему, он принима-

ется красть и мошенничать. Даже в странах Восточной Европы, переживших “реальный социализм”, сохранилось больше самостоятельности в массе народа, и особенно в образованном слое. У нас уже два поколения приучены делать, что прикажут, в том числе — думать, как прикажут.

Далее, советский человек — это пожизненный иждивенец государства. Он получает пищу и одежду в государственных магазинах. Правда, у него есть выбор из наличного ассортимента товаров, но этот выбор всегда был крайне ограничен, а в последнее время почти исчез. Теперь у нас снова введена карточная система, в виде талонов и распределения по предприятиям. Жилища тоже предоставляются государством, бесплатно или за деньги, через зависящие от чиновников “кооперативы”. Квартиры особенно дефицитны и распределяются произвольно. В общем, *просто так* ничего купить нельзя.

В стране существуют только государственные школы и государственное высшее образование, только государственные издательства, только государственные научные учреждения.

В последнее время много говорят о том, как всё это вредно, но попытки что-нибудь делать помимо государства у нас ни к чему не ведут. Для этого нужен рынок, где можно было бы что-нибудь купить, а рынка у нас нет, и никто не знает, как его создать. Итак, человек у нас полностью зависит от государства.

Согласно принятой доктрине, он работает по способностям и получает по труду, что и называется социализмом. Но на практике у нас никто не работает в меру своих способностей, а главное — это ни к чему. И нельзя понять, что значит получать по труду: оплата связана у нас с занимаемой должностью и почти не зависит от труда. Посмотрев на эту систему, можно было бы определить социализм как такой строй, при котором никто не может пользоваться плодами своего труда. Впрочем, брежневские идеологи придумали для этого строя особый термин — “реальный социализм”. “Реальность” его упрощает мою задачу: я могу сначала рассказать об уровне жизни в Советском Союзе, то есть о том, как живёт советский человек на свою зарплату, а потом, уже отдельно, как он зарабатывает эту зарплату. Оставим пока в стороне всякие незаконные доходы, от практики наших “кооператоров” до простого воровства, и представим себе, что перед нами труженик, живущий главным образом на зарплату. Таких у нас подавляющее большинство, как и следует ожидать, потому что жуликов кто-нибудь должен содержать своим трудом.

Зарплата выдаётся в рублях, поэтому начнём с выяснения того, что такое рубль. На чёрном рынке дают теперь за доллар 20 или 30 рублей, но этот курс вводит в заблуждение. Один мой знакомый, московский профессор, побывал недавно в Соединённых Штатах. Чтобы позабавить американцев, он перевёл свою зарплату в доллары по этому курсу, и получилось, что он зарабатывает около 15 долларов в месяц. Конечно, это была мистификация. Чёрный рынок заинтересован главным образом в изделиях, не производимых в Советском Союзе: это чаще всего бытовая электроника, то есть магнитофоны, видеоаппаратура и тому подобное. За границей они относительно дёшевы, и ввозящие их спекулянты вздувают на них цены, но рядовой советский труженик не может купить себе эти развлекательные машины. Свои рубли он тратит главным образом на еду, редко, по мере износа, покупает одежду. Поскольку нас интересует честный труженик, мы можем оставить в стороне спекулятивный курс, и тем более курс, установленный государством, поскольку этот последний просто бессмыслен.

Рубль — неконвертируемая валюта. Это значит, что он вообще не валюта, а выполняет смешанные функции. Прежде всего, это талон на получение товаров в государственных магазинах, нечто вроде карточек, но без гарантии "отоваривания": в этом качестве рубли нашей зарплаты задают верхнюю границу законного государственного снабжения. С другой стороны, рубль является расчётной единицей всевозможных частных сделок, от покупки овощей на базаре до покупки дома. Более крупные сделки, как правило, незаконны и к простому труженику не имеют отношения.

Можно считать, что средняя зарплата трудящегося составляет около двухсот рублей в месяц. Имеется в виду сумма, приходящаяся на одного человека, и она здесь скорее завышена. Официальный прожиточный минимум — семьдесят рублей, но на эти деньги без других доходов прожить нельзя. В таком положении находятся у нас миллионы людей, и хуже всего пенсионерам, если у них нет детей. Но допустим, что человек получает двести рублей в месяц и тратит их только на себя. Более того, предположим, что он тратит их только на еду, а всеми другими потребностями пренебрежём. Тогда он может кое-как прокормиться, потому что продукты первой необходимости субсидируются государством: до сих пор поддерживаются очень низкие цены на хлеб, сахар и молочные продукты, а в столовых кормят хотя и плохо, но дёшево. Мясо и приличные овощи можно купить на базаре, но килограмм говядины может стоить тридцать рублей. Таким образом, прямого голода у нас пока нет,

но есть крайняя бедность. Если надо сравнить её с каким-нибудь эталоном, то на один доллар можно купить в Америке столько же продуктов питания, сколько у нас за три рубля — если брать продукты сравнимого качества, какие у нас можно достать. Я претендую лишь на самую приблизительную оценку: средний месячный доход советского трудящегося — порядка семидесяти долларов.

Теперь положение резко меняется, и когда это письмо до вас дойдёт, всё станет хуже. Но об этом потом.

Двести рублей в месяц получает рабочий низкой квалификации. Слесарь или токарь, имеющий высокий разряд, может заработать триста или четыреста рублей, металлург или шахтёр — 600–700. Конечно, такие ставки платят “за вредность”: например, шахтёр у нас к пятидесяти годам инвалид. В рабочей семье почти всегда работает жена, но если принять во внимание детей и престарелых родителей, то всё равно на душу получается не больше 200 рублей.

Крестьянин у нас тоже государственный служащий, потому что колхозы и совхозы — тоже государственные предприятия. О реформах только говорят, а в жизни всё зависит от чиновников: у крестьянина нет ни своей земли, ни своих орудий труда. Но у него есть уголок частной инициативы — приусадебный участок в несколько сотых гектара, у него может быть корова, свинья и несколько кур. Это даёт ему возможность выжить, потому что денежный доход у него ещё ниже, чем у рабочего; только так называемые “механизаторы”, комбайнеры и трактористы, получают больше. Крестьянин имеет овощи со своего огорода, прежде всего картошку, без которой давно бы обезлюдела Россия, и часто молоко от своей коровы. Он выручает ещё деньги, продавая кое-что на базаре, но денег у него мало, да и мало что можно на деньги купить. Доход крестьянина можно оценить в те же 200 рублей. Но теперь происходит революция и в такое время легче выжить человеку, имеющему прямой доступ к еде. Поэтому в ближайшие годы крестьянам будет всё-таки лучше: они могут кое-что сделать для себя.

Хуже всего положение интеллигенции. Вы можете подумать, что я выражаю здесь личные интересы, но, в самом деле, ниже всего у нас ценится умственный труд. В течение последних десятилетий цены непрерывно росли, и начальству приходилось время от времени повышать зарплату рабочим или давать какие-нибудь льготы крестьянам. Такие меры принимались без всякой системы, под давлением обстоятельств. Поскольку уже нельзя было *заставить* людей вести автобус или спускаться в забой, приходилось им больше платить, чтобы как-то заполнить рабочие места. Даже деревне

приходилось кое в чем уступать, чтобы не все оттуда сбежали. При Сталине был закон о трудовой дисциплине, по которому люди не могли уйти с работы, а колхозникам просто не давали паспортов, но потом народ распустили. И вот, шахтёр может заработать семьсот рублей, а инженер на заводе получает 150; шофёр автобуса получает у нас в Москве 400 рублей, или даже 600, а профессор меньше четырёхсот, и так далее. Учителям пришлось несколько повысить оплату, чтобы остались ещё какие-нибудь учителя, так что учитель может заработать теперь 250, а то и 350 рублей в месяц, ценой жуткой перегрузки. Но молодой учёный получает меньше двухсот, ещё меньше — врач, а работники музеев и библиотек влачат нищенское существование на сто рублей с небольшим. Почему же так обижена интеллигенция? Может быть по причине классовой чуждости, идейной шаткости? Ничего подобного.

Идейной интеллигенции у нас давно нет. Умственная работа ценится у нас ниже всего потому, что снизился уровень образования, и людей с дипломами развелось слишком много. Нынешнего интеллигента можно заменить любым другим, поэтому он панически боится потерять своё место, а следовательно, с ним нечего церемониться. За 45 послевоенных лет оплата умственного труда почти не изменилась, а стоимость жизни возросла раз в пять. Когда я рассказал это французскому учёному-коммунисту, он вдруг понял, что происходит в нашей стране, и возопил: “А что же смотрит ваш профсоюз?” Но оставим в стороне коммунистов.

Мы видели, что получают советские люди за свой труд; посмотрим теперь, как они трудятся. В последние годы нам не перестают объяснять, что трудятся они плохо, потому что не заинтересованы в результатах труда. Не думайте, что всё это сделала советская власть. Раньше у нас была частная собственность, но дольше всего собственность на людей, и крепостной крестьянин тоже не особенно старался. Когда к Екатерине Второй приехал в гости Дидро, царица велела показать ему всё, что он захочет видеть, и философ посетил крестьянскую избу. Он рассказал ей свои впечатления, и умная женщина сказала: “Чего же вы хотите, месье? Ведь этот дом и всё, что вы там видели, им не принадлежит”.

Даже при Сталине пытались ввести материальные стимулы, но ничего не вышло. Теперь, когда прямое насилие пришлось ограничить, вопрос о стимулах приобрёл особую остроту. Основной принцип социализма гласит: “От каждого по его способностям, каждому

по его труду". По существу это означает всего лишь сдельную оплату труда, применявшуюся с незапамятных времён. Но социалисты утверждали, что она применяется несправедливо. В нашей стране сдельная оплата практически не существует, так что у нас *меньше всего* социализма, гораздо меньше, чем в так называемых капиталистических странах. Как я уже говорил, у нас почти нет связи между трудом и его оплатой. Почему же нельзя снова ввести сдельную оплату?

Потому что сдельная оплата труда предполагает рыночное хозяйство. Конечно, идеальное плановое хозяйство, задуманное марксистами, было бы куда лучше рыночного: некий мозговой трест учитывал бы все потребности и все производственные возможности, а затем планировал бы производство так, чтобы наилучшим образом удовлетворить эти потребности. К сожалению, это самая невозможная из утопий. Очень сложные системы, к числу которых принадлежит экономика страны, не допускают точного описания и, следовательно, не поддаются детальному планированию. Из замысла "планового хозяйства" получился наш госплан. Ни одно предприятие не знает, получит ли запланированное сырье, топливо и продукцию других предприятий. Никто не знает, нужна ли выпускаемая продукция, и кому она нужна. В условиях *случайного* производства невозможен регулярный, гарантированный труд, а потому невозможна сдельная оплата. Чтобы удержать рабочих, им платят за то, что они являются на службу и *что-нибудь* делают, или делают вид, что делают — совсем как в стихотворении Киплинга: all men are paid for existing, and no man must pay for his sins[1]. Стихотворение называется "Боги прописных истин", и написано в девятнадцатом году, под действием пропаганды лейбористов.

Крестьянский труд тоже нельзя оплачивать сдельно, потому что при колхозной системе нельзя определить, кто хорошо трудится, а кто плохо, и потому все работают плохо. Если же несмотря на всё это случается урожай, как в 1990 году, то никто не хочет его убирать.

И совсем уже непонятно, зачем должен стараться интеллигент. По советской поговорке, инициатива наказуема, и всё реже находится энтузиаст, желающий себя наказать. Наука наша давно и безнадёжно отстала от мировой, техника у нас музейная, и всё дело в том, чтобы сохранить свою должность. Помните, как у Чехова обыватели прозвали "человека в футляре"? "Ваше местоимение".

[1]"каждый живущий получает плату, и никто не должен платить за свои грехи" — (*Прим. ред.*)

Простите мне повторение этих банальностей: конспект “реального социализма” занял у меня всего страницу.

Наши мудрецы давно уже сообразили, чего нам недостаёт, и сообщили народу, что для хозяйства нужен хозяин: когда-то он был, но его извели, и теперь его желательно снова завести. Предполагается, что это сделает та же партия, или устроенный партией государственный аппарат. Единственное основание для их власти в том, что должен быть социализм. Поэтому надо сделать так, чтобы всюду был хозяин, и всё-таки был социализм. Значит, надо завести какой-то новый, рыночный социализм, или, переставив для благозвучия слова, социалистический рынок. Что это такое, никто не может объяснить.

Вот и вся идеология перестройки. Она может показаться вам несложной, но у нас эти мысли мучительно пробивались в течение пяти лет. Ясно, что всё это противоречит здравому смыслу. “Хозяин” должен иметь собственность, то есть без частной собственности никакого хозяина не может быть, и это должна быть частная собственность на средства производства. Смешно видеть, как это выдаётся за новое открытие. Несколько лет назад в колхозах Одесской области ввели “прогрессивный метод содержания коров”, а именно решили раздать коров по дворам: слова, поставленные в кавычки, я сам слышал по радио. Это ещё, может быть, не капитализм, но если раздать землю, трактора и остальное имущество, то может получиться как в Польше, то есть начнётся настоящий капитализм. Хорошо это или плохо?

Прежде всего в наших условиях это довольно абстрактный вопрос. Обсуждают его таким образом, будто вокруг нас ходит дьявол, соблазняющий продать ему душу, а мы сомневаемся, продать или нет. Но никто не хочет покупать и этот советский товар. От нас не зависит, вводить или не вводить капитализм. То, что у нас называют социализмом, это примитивная бюрократическая шарашка, устроенная на месте сложного, слаженного хозяйства. Восстановить капитализм так же трудно, как снова собрать Шалтай-Болтая, а из сказки вы знаете, что не справилась с этим вся королевская рать. И потом, было бы смешно вводить у нас русский купеческий капитализм, то есть вернуться на сто лет назад. Этого хочет Солженицын, недавно предложивший России свой спасительной план. Но часы истории идут только вперёд, сколько не хватайся за стрелки: о плане Александра Исаевича я напишу отдельно. Надо не вос-

станавливать старый капитализм, а присмотреться к новейшему и взять из него лучшее, что он может дать. Но не надо брать его целиком, не потому что он не подходит России, а потому что он не подходит *для человека.*

Собственность — не цель, а средство, и даже не главное средство человеческого счастья. Конечно, со временем люди найдут лучшие стимулы труда, чем материальный интерес. Тогда собственность будет не более важной, чем ручка, которой я это пишу.

And only The Master shall praise us,
And only The Master shall blame,
And no one shall work for money,
And no one shall work for fame[1].

Но вернёмся к прозе. Жизнь в нашей стране разваливается, потому что никто не хочет работать. Возникает вопрос, как могла эта система так долго держаться: ведь бессмысленная затея "планового хозяйства" с самого начала создала условия, при которых нельзя было работать. Объяснение состоит в том, что нам достался от прошлого другой человек, не такой, как сейчас. В основе всякого хозяйства лежит человеческий материал. Тоталитарные режимы не могут создать приличного человека, способного честно трудиться, выполнять обязательства, соблюдать законы. Они принимают такого человека готовым и гибнут, отработав полученный от прошлого человеческий тип. Таким образом, фашизм и коммунизм — всего лишь переходные явления, известно, от чего, и надо разобраться, к чему. Гитлер и Сталин щедро расходовали человеческий запас, отпущенный им историей. Вот простой хронологический расчёт. В России честный труженик, воспитанный до революции, которому в семнадцатом году было семнадцать лет, расстался с производством в шестидесятом году. Но оставались ещё люди, выросшие до сталинских репрессий. Порогом этих репрессий надо считать годы "коллективизации" и "индустриализации", то есть время около 1930 года. Человек, выросший до этого времени, был нормальным работником, из целой семьи, с навыками честной жизни. Этому человеку в семидесятом году было шестьдесят лет. Таким образом, в конце шестидесятых годов в наше народное хозяйство пришёл

[1] И только Мастер будет хвалить нас, / И только Мастер будет порицать, / И никто не будет работать ради денег, / И никто не будет работать ради славы." Р. Киплинг "Когда будет написана последняя на Земле картина", 1892. — (*Прим. ред.*)

новый человек, человек сталинской выделки. Он вырос у нищих, запуганных родителей, часто без отца; он учился у жалких, запуганных учителей, чаще всего уже советской подготовки; он перенёс принудительный труд, голод и войну. Этот человек, как правило, уклонялся от всякой ответственности, старался схитрить, притвориться, сорвать сколько можно с государства, а то и своровать у соседа. Короче говоря, это был человек, какого мог и должен был создать советский строй, и он пришёл на производство не позже, чем в семидесятом году.

Вплоть до шестидесятых годов наш труженик был совестлив. В нелепой организации, при негодных орудиях, часто впроголодь, он продолжал делать своё дело, как был научен. Если он был рабочий, он не делал брак, если он был крестьянин — не губил урожай. Даже начальство было не таким, как сейчас. Нередко директор завода или председатель колхоза добросовестно относился к своим обязанностям. При Сталине люди были гораздо лучше, чем теперь — не думайте, что это парадокс. Страшных людей было не так много, а большинство состояло просто из порядочных людей, воспитанных раньше, чем всё это началось. Наши отцы и деды, матери и бабушки могли погибнуть, но не могли быть такими, как мы. Главное, у них была вера: иные верили в бога, а многие приняли всерьёз коммунизм. Да, лучше уж верить в коммунизм, чем не верить ни во что; думаю всякий, кто пережил несколько последних лет, меня поймёт.

Как только явился новый человек, всё пошло прахом в нашей жизни. Конечно, это не единственная причина нынешних бедствий, но важно понять, что советская власть растратила доставшийся ей приличный человеческий материал и заменила его неприличным.

Вы скажете, что хорошие люди, верившие в коммунизм, поддерживали эту систему, а потому плохо, что они верили в коммунизм: без их поддержки режим бы так долго не длился. Вполне возможно, но они были лучше нынешних людей, потому что были способны во что-то верить. Жизнь не логична, а трагична. Лучше сказать, в трагедии жизни есть своя логика, и это страшнее всего.

Позволю себе проследить эту логику дальше. Конечно, порча человеческого типа — самый страшный результат советской власти. Но именно это печальное наследие избавит нас от гражданской войны. Гражданские войны всегда были делом сильных, верующих людей. После трёх лет кровопролития, в семнадцатом году Россия полна была сил, кипела страстями. Сотни тысяч людей готовы были умирать за свои убеждения, и сколь бы ни были наивны их

убеждения, это были сильные люди, несравненно сильнее нас. Таких людей больше нет.

Хорошо это или плохо? Вообще, очень плохо, но в применении к гражданской войне — хорошо. Точно так же можно спросить, хорошо ли иметь твёрдые убеждения, настолько твёрдые, чтобы непременно надо было за них умирать. Хорошо, но в то же время опасно. А хорошо ли не иметь никаких убеждений, ценить только простые блага жизни? Очень плохо, но безопасно. У нас полностью отсутствует человеческий материал, пригодный для гражданской войны. Я не вижу его даже в Средней Азии и на Кавказе, где могут быть отдельные стычки, даже кровавые столкновения, но не гражданская война. А в России и двух других славянских республиках её и подавно не будет. Я вижу деятелей вновь возникающих партий, от демократов до “памятников”, и сравниваю их с людьми, когда-то делившимися на белых и красных. Если уж надо подобрать им цвет, то я вижу их серыми; но кто же встанет под серое знамя сражаться против серых?

Наши политические деятели, в сущности — советские мещане, люди, выросшие в дешёвом комфорте, умеренном страхе и притворном повиновении. Те из них, кто громче всех кричит, первые сбегут при малейшей опасности: я имею в виду наших доморощенных фашистов. В сущности, они недостойны называться фашистами: настоящие фашисты, по крайней мере, умели драться. Лидеры “Памяти” — все опереточные персонажи, а их “боевики” рядятся в старые мундиры, чтобы спрятаться от самих себя. Конечно, эти люди выражают определённое настроение, русский шовинизм русского пошиба; можно предположить, что таким настроением затронута значительная часть населения, может быть, четверть или даже треть. Именно по этой причине Горбачёв не трогает “памятников”: не хочет восстановить против себя этот слой. Но одно дело настроение, другое — война. Советский человек не выйдет из своей квартиры на баррикаду. Он будет ругаться у себя дома, в крайнем случае разобьёт где-нибудь стекла.

Конечно, его могут призвать в армию, и вы спросите, почему бы генералам не устроить переворот. Потому что для этого надо устроить заговор против явной власти, так, чтобы этот заговор продержался хоть несколько дней. Но если несколько советских генералов станут обсуждать, как им устроить заговор, то в тот же день один из них — а может, не один — струсит и побежит с доносом. Что у генерала главное? Главное у него — дача под Москвой, впереди у него старость, и он хочет провести свою старость в комфорте, надеет-

ся, что дачу не отберут. Примите во внимание, что наш нынешний генерал никогда не воевал, а мирно командовал и крал, что ему полагалось по должности, последние опасные военные были перебитые в 37-м году большевики. А в 53-м, когда Берия в самом деле готовил заговор, его "заложили" два ближайших к нему генерала — а уж он ли не был страшен?

Нет, я уверен, что у нас не будет и военной хунты. В Китае удалось подавить студентов потому, что остались ещё старички, ренегаты революции, умевшие рисковать и проливать кровь. Да и то они справились из последних сил, сначала солдаты просто не хотели стрелять, и в следующий раз это уже не пройдёт. У нас последнее побоище было в Новороссийске в 62-м, куда Хрущёв послал старого большевика Микояна. Там был и генерал, но он струсил.

Нас ожидает мирное развитие — точнее, бескровное развитие, потому что наше будущее трудно определить словом "мир".

Я рассказал, как живёт советский человек, как он работает и что он собой представляет. Он человек не храбрый, особенных убеждений не имеет, стало быть, не годится для гражданской войны. Но вдобавок он не любит и не умеет работать, а это сулит нам плохой гражданский мир. Когда человек недоволен своей жизнью, он начинает искать виновных — такова уж народная психология всех времён. И если *советский* человек не пойдёт сражаться с виновными, то он непременно будет выражать свои чувства и поддерживать тех, кто выражает такие же чувства громче всех. Всё это — политика, и слава богу, что у нас начинается политическая жизнь: страшнее всего, когда её нет; это значит, что всё время кого-то сажают, а остальные боятся и молчат.

Это не значит, что политика — непременно занятие трусливых людей, не желающих сражаться. Испокон веку она была также занятием мужественных людей, предпочитавших придти к соглашению, и часто выражала подлинные интересы. Поиски козла отпущения — это не политика мужественных людей, а у нас теперь как раз политика этого жалкого пошиба. Что ж, лучше иметь жалкую политическую жизнь, чем никакой, лучше скучную и глупую гласность, чем молчание.

Советский Союз состоит из пятнадцати союзных республик, множества автономных республик и автономных областей. Каждая из них называется именем некоторой нации, и вся эта конструкция вы-

ражает "дружбу народов", якобы заключивших между собой добровольный союз. В действительности это столь же насильственное сожительство народов, как и царская Россия. После февральской революции империя начала распадаться, но большевики сумели её почти всю собрать. Не удалось им вернуть Польшу, Финляндию и прибалтийские страны, но в сороковом году, после сговора с Гитлером, Сталин присоединил Прибалтику, а после войны подчинил себе и Польшу, хотя не включил её в "Союз". В Союз вошла также Галиция, или Западная Украина, не входившая в Российскую империю. Большевики называли царскую Россию "тюрьмой народов", и это название было справедливо. Ещё более справедливо оно сейчас.

Ни один народ империи не вошёл в Россию добровольно, все они были завоёваны или захвачены мошенническим путём. Так создавались все империи, и царская идеология вовсе не отрицала завоеваний, хотя и замалчивала мошенничество. К этой последней категории относятся не только захват Грузии и Финляндии, но и включение Украины. Никто до сих пор не спрашивал народы Советского Союза, хотят ли они в нём оставаться. Никто не спрашивал об этом и русский народ.

Понятно, у нас всегда был "национальный вопрос". При царе империя была столь сильна, что одни поляки отваживались открыто восставать против нее, и каждый раз неудачно. При Сталине террор подавил всякую национальную жизнь, всякий интерес к собственной нации преследовался как "национализм". Вся система национальных республик и областей была идеологической фикцией. Никто не принимал всерьёз границы между ними, не считал себя их гражданином, и уж совсем смешно было слышать, что союзные республики — это "суверенные государства".

Ясно, что социальная напряжённость в республиках должна была превратиться в "национальный вопрос". Это вовсе не значит, что у нас нет подлинных национальных проблем: они есть повсюду, и нередко они очень остры. Но общая тенденция состоит в том, что паразиты каждой нации пытаются свалить вину на какой-нибудь другой народ, чаще всего на русских. Эти паразиты образуют структуру, больше всего напоминающую итальянскую мафию; поскольку всякое познание опирается на сравнения и, следовательно, нуждается в моделях, слово "мафия" прочно вошло в наш политический обиход. Наш правящий класс — это преступное сообщество, сложившееся в годы советской власти и не имеющее аналога в истории. Были, конечно, фашистские режимы, но, как я уже говорил, фашизм переходное явление, фашистские клики в Германии и Италии не

успели сложиться в мафию. Муссолини пытался даже искоренить обычную мафию, то есть коррупцию старого типа, и фашистское государство не вполне включило в себя уголовный элемент. Среди фашистов ещё встречались, если можно так выразиться, идеалисты, готовые убивать по идейным мотивам, но брезгливо отвергавшие воровство. Наше нынешнее общество можно назвать постфашистским; его правящий класс окончательно сложился и состоит из двух слоев партийно-государственного аппарата, имеющего официальный статус, и системы хозяйственной коррупции, не имеющей статуса, но часто держащей в руках подлинную власть. Эти слои переплелись между собой, взаимодействуют между собой, и трудно сказать, какой из них сильнее. Способ действия у них един и тот же — секретный и беззаконно преследующий частные интересы, то есть уголовный. Итак, наш господствующий класс — это *советская мафия*. Пришлось принять это чужое слово, а отдельного представителя этого класса уже называют термином "мафиози". До сих пор музыкальный итальянский язык дарил нам совсем другие слова, но что поделаешь, жизнь идёт вперёд.

Как известно, обыкновенная мафия — в Италии и в Соединённых Штатах — вовсе не образует единого механизма, а делится на клики, обычно враждующие между собой. В нормальных условиях преступная деятельность неспособна к интеграции в масштабе всей страны; как мы теперь знаем, это возможно после особенных катастроф, мировых войн, переходящих в революцию. Такие преступные системы непрочны, и теперь советская мафия распалась. Объединявший её центральный аппарат потерял контроль над страной, и теперь отдельные группы правящей мафии пытаются сохранить власть на местах. Они нуждаются в каком-то идейном прикрытии, ищут поддержки и, следовательно, должны использовать оставшиеся в обществе понятия и настроения. Отсюда ясно, кто и зачем обостряет "национальный вопрос".

Вообще, "национальный вопрос" — это характерная черта двадцатого века, признак распада культуры. В древности люди делились на племена; в средние века люди стали делиться по своей религии; в новое время люди делятся по своим идеям. Эти принципы можно положить в основу членения истории на древность, средние века и новое время. Теперь новое время подходит к концу, то есть мы живём в эпоху распада европейской культуры. В нашем столетии теряют значение принципы развитой культуры — идейные и религиозные: остаточный человек, *homo reliquus*, возвращается к примитивному делению на племена.

Психологи называют такое явление “регрессией”: человек, испытавший тяжкое потрясение, забывает свои зрелые понятия и живёт воспоминаниями детства. Это отнюдь не единственная особенность нашего века, но мы живём, в частности, в эпоху *национальной регрессии.* Не буду рассказывать, как племя превратилось в нацию и как возник “национализм”. Достаточно заметить, что отчаявшийся человек, потерявший свою традицию и не умеющий себя определить, вспоминает, что у него остаётся ещё некая неотъемлемая сущность: он белый или чёрный, немец или француз, русский или татарин. И человек хватается за это своё остаточное добро: вот что такое “национализм”.

Пока этот остаточный человек силен, он может натворить много дел — чаще всего скверных дел. Цепкий немецкий мещанин, доставшийся Гитлеру от кайзеровских времён, готов был лечь костьми за свой национальный идеал, и за счёт такого кайзеровского немца возможен был фашизм. Но фашизм не создаёт крепкого мещанина, а переводит его. Нашим политическим комбинаторам приходится пользоваться тем, что есть.

У нас теперь жестокий идейный кризис, можно сказать, на идейном рынке почти ничего нет. Коммунизм давно надоел и вызывает раздражение; все виды социализма опорочены предполагаемой близостью к коммунизму; либеральная демократия западного образца чужда и непонятна, её связывают с обилием всяких вещей, а вещи ничего не говорят душе. Советский человек ищет себе духовную пищу, но и тут прилавки пусты. Конечно, у попов всегда готовый товар, не первой свежести и вовсе не подходящий к современному аппетиту, но и этот идёт нарасхват. Скоро у нас будет христианская партия, а мусульманские, думаю, уже есть.

Но главное, что можно предложить советскому человеку, это национализм. И вот, деятели советской мафии перекрашиваются в националистов, берутся представлять национальные интересы и пытаются повести за собой свой народ. Во всех республиканских парламентах, точно так же, как во всесоюзном, большинство составляют аппаратчики и хозяйственные деятели брежневского времени. Я уже рассказал вам, каким образом были устроены выборы, давшие им это большинство: Горбачёв сговорился с тогдашним политбюро, и был придуман несуразный избирательный закон. Вначале казалось, что политбюро может руководить возникшей таким образом “однопартийной демократией”, но потом она стала выходить из повиновения, особенно после выборов в республиках, прошедших уже в менее контролируемых условиях. Наконец, в результате раскола и

борьбы внутри правящей верхушки партия потеряла контроль над страной, цека и политбюро ушли на задворки политической жизни. Сменившие их новые структуры власти, президент и состоящие при нём органы с совещательными функциями, не в силах управлять страной. В этих условиях складывается власть на местах, в отдельных республиках, областях и в больших городах. Здесь и собрались группы советской мафии, придающие себе местный колорит. Эти люди умели работать только в аппарате советского типа и пытаются устроить в республиках такой аппарат, захватывая власть в местных верховных советах и министерствах. Они пользуются своим очень непрочным большинством, которое исчезнет в первых же свободных выборах, и сознают, что их власть приходит к концу. Цели этих людей теперь довольно скромны: они хотят обеспечить себе тёплые места в будущей системе правления, вовремя заняв выгодные позиции в хозяйстве и закрепив за собой неправедно нажитое добро. То, что было в Польше, повторится и у нас, только им не поможет угроза извне. И что бы ни говорили эти люди, они знают, что их время прошло.

Аппаратчики всё ещё в большинстве, но слабы духом и шатки. Им противостоит активное меньшинство, желающее перемен и представляющее нашу сегодняшнюю демократию. Эти люди чувствуют за собой поддержку снизу, они прошли серьёзные "альтернативные выборы", в то время как аппаратчики были выбраны с помощью жалких хитростей и знают, чего стоит их мандат. Моральное превосходство позволяет демократам активно давить на аппаратчиков, что и происходит в парламентах России и Украины. В российском парламенте члены партии составляли, как и на Всесоюзном съезде, 87%: из тысячи с лишим депутатов только сто с небольшим были демократы, то есть в нынешних условиях, люди, независимые от аппарата. Казалось бы, у них не было шансов. Но шансы у них были.

Горбачёв больше всего опасался Ельцина, метившего в президенты Российской республики. Историю Ельцина я уже вам рассказал, это вовсе не умный человек и неразборчивый демагог. Горбачёв испугался его потому, что "Советский Союз" может распасться, оставив его президентом непонятно какой страны, а Россия никуда не денется, и должность президента в ней может стать реальной. Двум медведям тесно в одной берлоге, и вдобавок у Миши были с Ельциным старые счёты. Когда он понял, что у Ельцина есть шансы, он пошёл на все тяжкие.

Дело в том, что демократы в российском парламенте почувствовали моральную слабость аппаратчиков и решили их соблазнить.

Соблазн состоял в том, что можно было создать новый *российский* аппарат и занять в нём места, чего только и надо было этим господам. Для этого им надо было выйти из повиновения цека, а ведь они были коммунисты и к такому своеволию не привыкли. Их принялся обрабатывать депутат Бочаров, подлинный лидер демократов в этом парламенте и наставник неуклюжего Ельцина. Он внушал аппаратчикам, что России нужен сильный лидер, новый человек и *в то же время* человек из аппарата, и обещал им всё, чего они хотели. Горби привык диктовать волю цека всесоюзному парламенту, это ему всегда удавалось. Он потерял осторожность, прибегнул к грубому нажиму и оскорбил российских депутатов, навязывая им своих жалких ставленников. В результате трёх голосований президентом России был выбран Ельцин — большинством в пять голосов. Это было совершенно необычное в советской истории голосование, хотя бы внешне напоминающее нормальные парламентские процедуры. Но этого мало. Ельцин был избран *вопреки решению цека*, впервые в истории горбачевской парламентской системы. Теперь это была уже другая система, над которой Горби потерял контроль. А главное, это означало, что цека больше не принимают всерьёз, что частные интересы отдельных членов партии не подчиняются больше партийному руководству. Это был конец партийного руководства, конец цека и политбюро. Двадцать восьмому съезду партии осталось только оформить это положение вещей. Старые члены цека почти все ушли, из старого политбюро остался только один Горбачёв, и партия поняла, что её больше нет.

В республиках есть и подлинный национальный вопрос, представленный независимыми людьми. Эти люди не всегда выражают подлинные интересы своих народов, но со временем народы смогут говорить сами за себя. Вас, может быть, удивит столь серьёзный тон этого заявления, поскольку я дал советскому человеку весьма низкую оценку. Щедрин объяснил когда-то этот парадокс. Когда вышла "История одного города", его стал обличать бойкий либеральный журналист Суворин, впоследствии ренегат, продавшийся правительству. Суворин обвинял Щедрина в том, что он презирает русский народ и написал пародию на русскую историю. Щедрин обычно избегал полемики, но в этом случае отступил от правила и написал ответ. Он так и не опубликовал эту статью, но её нашли после смерти Михаила Евграфовича в его бумагах, и теперь её можно

прочесть в собрании сочинений. Щедрин объясняет русским интеллигентам, как надо относиться к народу. “Надо различать, — говорит он, — народ, как эмпирически данную нам действительность, и народ, как носитель демократического идеала”. Надо понять эту формулу, и, мне кажется, я её понимаю. Если у меня есть только эмпирическая, приготовленная *прошлым* действительность, то я не демократ, а мещанин, пассивно входящий в эту действительность или спасающийся бегством от неё в какой-нибудь удобный закоулок. Но если у меня есть демократический идеал будущего, то я могу идти к моему народу, как бы он ни был слаб и испорчен своим прошлым, — в этом случае я демократ.

Но обратимся к действительности. Сначала я хочу выяснить, что у нас думают самые обыкновенные люди, то есть народ в эмпирическом смысле слова. А потом уже я скажу, что говорит мне в наши дни демократический идеал.

Начну с Прибалтики. Это в политическом смысле самый простой вопрос: балтийские народы хотят полной государственной независимости, не ходят входить ни в какой Советский Союз, и воля их согласна с исторической правдой. Они сами позаботятся о своих экономических интересах, но это вовсе не значит, что Россия может их забыть. Напротив, Россия должна рассматривать их как добрых соседей и сотрудничать с ними в хозяйственных и культурных предприятиях. Конечно, они близки нам не только географически, но эти чувства должны быть испытаны временем в условиях полной независимости. Не знаю, как будет решена проблема живущих в Прибалтике русских, подозреваю, что многие балтийцы хотели бы просто их изгнать. Но мне кажется, что они найдут более человечное решение: эти народы в целом рассудительны и спокойны.

Народы Закавказья тяготятся зависимостью от русских. Грузия неудержимо стремится к независимости и несомненно её добьётся. Грузинам, как и другим кавказским народам, придётся очистить свою жизнь от мафии, но с этой бедой можно справиться лишь в условиях независимости и демократии. Конечно, грузины не готовы к независимости, как и все другие народы, о которых идёт речь. Но они вступили на этот путь, и Грузия будет независимым государством.

Армяне, пожалуй, не столь горячо стремятся к немедленному отделению. У них нет озлобления против русских, союз с Россией давал им когда-то защиту от турок. Теперь они убедились, что Москва предпочитает не раздражать мусульман и смотрит в сторону Баку. Возможно, это усилит сторонников отделения, а в конечном счёте,

как все понимают, эта древняя нация должна стать независимой.

Азербайджан — самая отсталая из закавказских республик, ей угрожает мусульманский фанатизм. Здесь нездоровое озлобление против армян, уже нашедшее себе выход в страшных погромах. Армяне теперь изгнаны, уехало и большинство русских. Азербайджанцы ещё меньше готовы к независимости, чем другие кавказцы, но и здесь, возможно, одержит верх активное меньшинство, желающее отделиться.

В Средней Азии разговоры о независимости не имеют серьёзного основания, хотя и здесь отделение может осуществиться. Здесь очень мало грамотных людей, способных к политической жизни, здесь привыкли жить в условиях почти средневекового феодализма. Именно в Средней Азии могут произойти серьёзные кровопролития. Поэтому Средней Азии нужна сильная власть, и казалось бы, только Россия может доставить ей такую власть на время неизбежных перемен. Но Россия не может уже поддерживать эту власть, не может посылать сюда русских солдат; у неё нет для этого сил, и сами русские этого не хотят. Народы Средней Азии не имеют политической ориентации и могут стать жертвами безответственных демагогов. Особенно пугает меня мусульманский фанатизм. Человеческий тип здесь не так сильно изменился, как в России, и очень трудно будет сохранить здесь мир. Но в Средней Азии не будет гражданской войны, потому что местное руководство состоит из жуликов, способных, самое большее, устроить погром. Политической воли здесь нет.

Самая большая республика после России — Украина. Социальное напряжение здесь очень велико. Украина отравлена безудержной концентрацией промышленности, здесь не хватает чистой воды. После Чернобыля часть Украины просто непригодна для жилья, но люди там вынуждены жить. Конечно, украинцы как нация были угнетены, и у них есть серьёзные обиды. После короткого периода насильственной “украинизации”, советская власть встала на путь русификации Украины. В городах почти нет украинских школ, но не только потому, что так хочет Москва. Дело обстоит гораздо хуже: сами украинцы не хотят учить своих детей по-украински, особенно образованные горожане, и в городах всё реже слышна украинская речь. Культурная трагедия Украины состоит в том, что родственный русский язык одерживает верх над украинским даже без насильственных мер. Русская культура тоже распалась, но украинская была слабее и распалась, не успев сложиться. Естественно, образованные украинцы должны определить своё отношение к ассимиля-

ции. Мне кажется, что большая часть их принимает это явление спокойно, а украинцы, живущие в России и других республиках, забыли свой язык и по существу превратились в русских. Но есть активное меньшинство, эти люди бьют тревогу.

Что касается Восточной Украины, составляющей две трети республики, то независимость здесь — не главный вопрос. Пожалуй, большинство населения здесь не думает об отделении. Около 30% населения Украины — это люди других наций, главным образом русские, в меньшем числе евреи. Эти другие нации опасаются последствий отделения. На Украине очень много смешанных семей, особенно русско-украинских, где вовсе отсутствует национальный барьер. На востоке, особенно в Харькове и в Донбассе, русские составляют большинство; Одесса говорит только по-русски; наконец, Крым, подаренный Украине Хрущёвым, давно стал русским краем, и претендовать на него могут только татары, но никак не украинцы.

Население Украины недовольно, но это — во всяком случае на Восточной Украине — переодетый социальный вопрос.

Западная Украина — особая область, столь же чуждая России, как любая славянская страна, никогда не бывшая под русской властью. До 1918 года Западная Украина принадлежала Австро-Венгрии, затем, до 1939 — Польше, и, наконец, Сталин, по сговору с Гитлером, захватил её под предлогом "воссоединения единокровных братьев". Этот лозунг вряд ли был предназначен для марксистов, а пытался использовать национальные чувства. Но оказалось, что западные украинцы вовсе не хотят присоединиться к восточным, а предпочли бы оторвать восточных украинцев от Москвы и присоединить их к себе. На Западной Украине лозунг отделения имеет в самом деле народную поддержку, и господствующим настроением там всегда был украинский национализм. Трагедия Украины состоит ещё в том, что она делится на две части — с разной историей и разными людьми.

Национальный вопрос на Украине представляют две группы людей: аппаратчики, перекрасившиеся под националистов, и подлинные националисты. О первых я уже сказал достаточно. Что касается настоящих украинских националистов, то они вызывают у меня сложные чувства. Каждая нация должна любить свою землю, свой язык и свою культуру. Привязанность к этим ценностям, их защита — вполне естественны, и если бы национализм имел лишь это положительное содержание, он вызывал бы только сочувствие. Но слово "национализм" имеет обычно и другой, отрицательный смысл: ненависть к какой-нибудь другой нации. Положительный и отрицатель-

ный смысл национализма могут находиться в разном отношении. В Индии был, например, сравнительно мирный национализм, но и он привёл к войне с мусульманами, а в Германии развился дикий национализм, нацело лишённый культурного содержания. Вообще, безобидного национализма не бывает.

Украинский национализм имеет мало положительного и много отрицательного содержания. Украинская культура развилась поздно, лишь в девятнадцатом веке, и была раздавлена, не успев укрепиться. Её традиция едва теплится в эмиграции. Спасение гибнущей культуры — важное и трудное дело; чехи спасли свою культуру от немецкого насилия, евреи в Израиле возродили свой древний язык. Но украинский национализм — главным образом не культурное, а политическое движение, всегда готовое прибегнуть к насилию. Желто-голубое знамя имеет свою историю, в этой истории — Петлюра и Бандера. На этом знамени еврейская и польская кровь. Украинские националисты не стяжали славы на поле брани, но отличились на другом поприще: их настоящая специальность — погром. Люди, называвшие себя борцами за свободную Украину, вырезали сотни тысяч невинных людей.

И это ещё не всё. Украинские националисты шли на сделки с разными политическими силами, и последним их союзником был Гитлер. Гитлер не принимал их всерьёз и не доверял им, но всё же использовал их на грязной работе, например, внутренняя охрана Освенцима состояла из украинских националистов.

Нация должна быть осторожна, оценивая своё прошлое и выбирая себе героев. Монгольские националисты делают теперь героя из Чингисхана, может быть, их выбор не так уж велик, но лучше уж быть народом без истории.

Всё это нисколько не касается обычных украинцев, даже тех, кто теперь поднимает жёлто-голубое знамя. Они не знают прошлого, и бывает прошлое, которого лучше не знать. А будущее Украины неясно. Неясно, захочет ли Восточная Украина отделиться от России, или довольствуется автономией. Западная Украина определённо хочет отделиться, но в этом случае не будет гражданской войны, потому что там нет противной стороны. Украине предстоят конфликты, переговоры и компромиссы, пожелаем же ей успеха на этом трудном пути: довольно уже крови пролилось на украинской земле.

Белоруссия всегда была бедным краем, а белорусы всегда были зависимы: сначала от польских помещиков, потом от русских, и наконец от советских хозяев. У них нет воинственного прошлого,

никогда не было собственного государства. Культура их развилась ещё позже украинской, и постигла её та же судьба: русский язык вытесняет белорусский и уже вытеснил его в городах. Но белорусы не враждовали с Россией, они сохранили ей верность в годы немецкой оккупации, шли в партизаны, навлекая на себя карательные меры, и в конце войны их земля была вконец разорена. Может быть, в Белоруссии не сразу возник бы национальный вопрос, если бы не Чернобыль, подлинный геноцид белорусского народа. Ветер дул на север, это спасло Киев, но погубило треть белорусской земли. Я не могу рассказать вам весь ужас этой катастрофы. Это предел человеческой глупости и безответственности, но кроме стрелочников никто не ответил за Чернобыль: как обычно, главных виновных надо было прикрыть. И мирный белорусский народ восстал, защищая свою жизнь, восстал без оружия, но грозный в своём негодовании. Может быть, чернобыльская трагедия станет началом возрождения этой нации. Белоруссия потребует себе широкие права, но, может быть, останется в союзе с Россией, если русская власть проявит терпение и мудрость. Неясно, когда будет в России такая власть.

Теперь надо сказать о России. У России нет причин винить другие народы в своих несчастиях. Нашим "памятникам" не удастся придумать убедительного козла отпущения, да они и сами не убеждены в том, что говорят. Напрасно также намекает господин Солженицын, что национальные республики высосали из России все соки; в это кое-кто верит, но трудно сосчитать, кто кому больше должен, и другие народы могут кое-что сказать в свою защиту. Например, балтийцы, западные украинцы, молдаване и грузины могли бы сказать господину Солженицыну, что они не просили их завоёвывать и обошлись бы без русских забот. Русским трудно свалить свои бедствия на других, и я не принимаю всерьёз русский национализм.

Я не буду говорить здесь о русской культуре, это тяжкий разговор. Предмет моего письма — социальный вопрос: это и есть теперь главный русский вопрос. И в одном пункте я согласен с Александром Исаевичем — нам нечем хвалиться, и нельзя нам лезть на рожон. Невелика честь, коль нечего есть.

Не буду говорить о том, как Горбачёв и Ельцин собираются спасать наше хозяйство. Все их планы провалятся раньше, чем кто-нибудь почувствует их на себе, кроме повышения цен — это они сделают, хотя и боятся. Положение заставляет их предлагать шарлатанские планы, потому что никто не хочет слышать о том, что

нам в самом деле предстоит. Советскому человеку вовсе не свойственен реализм. Его всегда обманывали, и он к этому привык. В планы начальства он мало верит, но всё же краем души на них надеется, скажите ему всю правду, и он побьёт вас камнями. Это знают и Горбачёв, и Ельцин, и вся их королевская рать. В начале войны Черчилль изложил английскому народу свою программу: он сказал, что может предложить им пот, кровь и слезы, и англичане приняли этот план. Думаю, что наши люди прогнали бы сэра Уинстона и заменили его кем-нибудь другим, с лучше подвешенным языком, — терпят же они Мишу Горбачёва.

В действительности никакие планы не будут работать, никакие сроки нельзя определить, а можно указать лишь общие направления и запастись терпением на много лет.

Прежде всего надо установить твёрдый закон и порядок, но в самом деле *законный*: dura lex, sed lex. Без этого не будет честного труда внутри страны, не будет устойчивой власти, и с нами не станет иметь дела внешний мир. Порядок предполагает правильно действующий парламентский строй, с железной процедурой. Люди, желающие спасать отечество невзирая на формальности, недолго заседают в парламенте, они разгоняют парламент. Мы уже знаем, к чему это ведёт.

Надо гарантировать гражданские права в точном юридическом смысле слова, но не такие права, как пресловутое “право на труд”. Будут безработные на пособии и будет неравенство доходов. Но важнее всего для нас — свободная печать.

Надо открыть дорогу иностранному капиталу, создать ему условия для работы: возможность строить предприятия, добывать ископаемые, нанимать рабочих, вывозить продукцию. Надо широко использовать техническую помощь и экспертизу иностранных специалистов, щедро её оплачивать. Если Россия будет свободна, она может не бояться экономической колонизации.

Надо открыть дорогу частной экономической деятельности, не ограничивая её объем. В наших условиях это будет означать вначале развитие лёгкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства и торговли; впоследствии изменится и характер крупных предприятий.

Переход к новой экономике неизбежно займёт длительный срок, а тем временем страна должна жить. Поэтому было бы грубой ошибкой разрушать существующие производственные механизмы, пока их нечем заменить. Государственные предприятия в крупной промышленности и в зерновом хозяйстве должны действовать, и надо

осторожно готовить их к независимой от государства работе.

Всё это — очевидные меры, нужные для выхода из кризиса. Самое важное условие, без которого ничего нельзя сделать, — это законный порядок, основанный на свободных выборах и демократическом правлении. Здесь я решительно расхожусь со всеми, кто хочет для России *авторитарной власти*. Если бы у нас возникла такая власть, она утонула бы в коррупции и залила бы страну кровью. Всё это у нас уже было, и мы должны решительно бороться с попытками навязать нам тот же строй под другим названием.

Но за всем этим стоит главный вопрос — куда нам идти? Многие считают, что надо попросту подражать западному образу жизни, поскольку история не открыла пока ничего лучшего и, в частности, не знала более эффективного способа производства. Насчёт эффективности — не спорю, в западных странах умеют делать вещи как никто раньше не умел, и этому надо учиться. Я не оспариваю также мнение, что нынешнее западное общество лучше, чем западный феодализм или западный рабовладельческий строй, о восточных системах можно и не говорить.

Но это общество порочно в своей основе, и в нынешнем виде просто не может выжить. Общества прошлого намного уступали современному в организации жизни, в гуманности и правосудии, но лучше понимали человека. Они не возводили в догму юридическую фикцию, будто все люди рождаются равными, и не делали своим идеалом равномерную посредственность. Они видели в человеке не только злое и корыстное существо, сдерживаемое законом, но признавали за ним и благородные стремления. Они не считали целью человеческой жизни физическое довольство и умели сдерживать животную тягу к потреблению.

Целью общества будет *человек* в полном значении этого слова — человек, а не потребитель. Эффективность не может быть единственным мерилом производства, конкуренция не может быть его единственным стимулом.

Ограниченность природных ресурсов в любом случае положит конец бессмысленному производству и потреблению, люди должны научиться ограничивать своё потребление во имя высоких целей. Такой целью, самой очевидной в наши дни, является спасение культуры, и очень возможно, что в ближайшие годы придётся приносить жертвы для спасения человечества.

Теперь же нам надо решить, куда вести крупное производство. Конечно, мы должны вернуться к частной инициативе, но не на уровне старого капитализма. Имеется богатый опыт кооперации, особенно в скандинавских странах, а в Соединённых Штатах успешно работает множество крупных предприятий, принадлежащих своим рабочим и служащим. Более того, современные корпорации всё больше приобретают черты общественной собственности, так что все граждане в конечном счёте превращаются в акционеров того или иного предприятия. Граница между корпорацией и кооперацией стирается.

Конечно, нам надо создать достаточный уровень потребления, но мы не сможем конкурировать с иностранцами в производстве и потреблении ненужных вещей. При разумном использовании наши ресурсы позволят нам ввозить самые необходимые товары. Эта неизбежная скромность может стать хорошей школой для будущего, когда мы научимся свободно выбирать, что нам нужно и что нет.

Одно мы знаем твёрже всего: прежде всего нам нужна свобода, мы её добьёмся и не позволим её отнять.

Письма из России. Письмо 6
"Мудрые советы"

Передо мной лежит сочинение Александра Солженицына под названием "Как обустроить Россию", с подзаголовком "Посильные соображения". Я внимательно изучил эти соображения и был очень удивлён тем, что мне пришлось прочесть. Больше, чем содержание, меня удивила литературная форма этой статьи. Если бы те же мысли изложил таким языком кто-нибудь другой, то вряд ли кто захотел бы их напечатать, и уж конечно ни у кого не хватило бы терпения всё это прочесть. Но автор статьи — знаменитый русский писатель, имеющий большие заслуги перед нашей литературой. Его ранние рассказы и два первых романа обещали нам возрождение свободного русского слова, а трёхтомный "Архипелаг" стал историческим событием, заставив весь мир поверить немыслимой правде о России. И хотя Александр Исаевич давно не радует нас художественной прозой, посвятив себя истории или, лучше сказать, исторической публицистике, всё, что он пишет, заслуживает внимания уже потому, что всё это напечатают и прочтут.

Читатели Солженицына давно заметили, что он пользуется в своей публицистике искусственным, вычурным языком. Можно понять, почему он избегает лексики советских журналов, но в попытках расширить свой словарь, Александр Исаевич нарушает законы вкуса и здравого смысла. Просторечие уместно в художественной литературе, да и то не везде: оно может быть естественно в речи персонажей, но производит впечатление искусственности, когда автор говорит от себя. Уже в первых сочинениях Солженицына заметно его влечение к просторечью, и в описаниях народной жизни, например, лагерной жизни Ивана Денисовича, это понятно. Но впоследствии Солженицын стал писать статьи и произносить речи, а это уже другой вид литературы, где требуется иной язык. В каждом развитом языке есть такие стили, приспособленные к разным целям, и русский язык, право же, достаточно развит, чтобы этим нельзя было пренебречь. Александр Исаевич, конечно, понимает, что просторечие неуместно, скажем, в научной статье, где важнее всего точная передача смысла. Статья, о которой я пишу, не научная, а политическая, но обращённая к образованному читателю и содержащая, главным образом, рассужде-

ния. Мы и нуждаемся теперь в спокойном, рассудительном подходе к нашим делам; между тем просторечные, а то и попросту придуманные автором слова то и дело прерывают его мысли вспышками нарочито заготовленных, малоинтересных в своей очевидности эмоций.

Неловко говорить такие вещи о знаменитом писателе, но ведь и Гоголь впал в дурной стиль, поучая современников "Выбранными местами". Нравятся ли вам существительные "запущи", "прозор", обокрад", "новозатейщина", "смотка"? Прилагательные "слепородной", "внутрищекашны", "людоторный"? Глаголы "выбедняли", "распропащаем", "засквернели", "беззаконствовать"? Статья Солженицына пестрит такими словами, и все они — ни к чему. Может быть, автор пытался создать впечатление, что к читателю обращается человек из народа, неуклюже выражающий сокровенные думы своей нации? В этом роде составляли прокламации первые народовольцы, выступавшие анонимно, — а Солженицын подписал свою статью, и все знают, что он человек грамотный, умеющий писать правильным языком. Значит, — думает читатель, — он всё это пишет нарочно, как писали в своё время другие грамотные люди, взяв себе псевдонимом фамилию камердинера Кузьмы. Увы, неудачный способ изложения погубил бы статью Солженицына, что бы в ней ни говорилось: она смахивает на пародию.

Но Солженицын очень серьёзен в своей статье. Без сомнения, его волнует судьба России, и недаром он прервал своё долгое молчание в политике, чтобы всё это сказать. Молчал он все годы "перестройки", и понятно, почему молчал. Перемены в нашей жизни направились в сторону парламентской демократии и рыночного хозяйства западного образца; между тем Александр Исаевич демократию не любит, а рынок представляет в приличном русском виде без современных извращений. Ему очень не хочется, чтобы Россия пошла по западному пути, у него есть другие предложения. В сущности, он изложил их ещё в 74-ом году, в известном "Письме вождям", но вожди не последовали его советам. Сейчас он уже не скрывает, что относится к этим вождям без всякого уважения: он называет Брежнева "чушкой", то есть свиньёй, и вряд ли надо объяснять, что он и раньше держался того же мнения. Политика требует некоторого притворства, чему можно найти примеры и в других его сочинениях; разбирая эту последнюю статью, мы не будем рассчитывать на полную искренность автора, а постараемся понять его недомолвки, намёки и умолчания. Вы скажете, что судить можно только о сказанном? Совершенно верно, но при условии, что автор *добросо-*

вестен. Добросовестный автор не должен, например, высказывать свои мысли в виде неизвестно чьих предположений: “А если верно, что...”, и дальше писать нечто такое, от чего можно будет потом отпереться. Либо ты веришь, что это верно, либо нет, иначе получается некрасивая вещь, обозначаемая иностранным словом “инсинуация”. Добросовестный автор не должен нарочно пропускать в своём изложении предмет, несомненно его беспокоящий и относящийся к теме статьи; он может сказать, что этот вопрос его не интересует, но внимательный читатель сам заметит, что́ пропущено, и догадается, почему. Как мы увидим, Солженицын — недобросовестный автор: не стеснённый никакой цензурой, он часто хитрит и притворяется. Но хитрости его очень прозрачны, в сущности он наивен и, как может показаться, никого не способен обмануть. Почему же он всё-таки хитрит?

Потому что его подлинные взгляды очень непопулярны, не подходят к понятиям современной публики и в прямой форме вызвали бы неодобрение. Прежде всего, Солженицын — враг демократии, он сторонник авторитарной системы правления, в чём однажды неосторожно признался — в том же “Письме к вождям”. Но в наше время почти невозможно открыто выступать против демократии: что бы ни имелось в виду под этим словом, самое слово приобрело сакральный характер. Далее, Солженицын — русский националист, но в наше время национализм господствующих наций не вызывает сочувствия и чаще всего называется неприятным словом “шовинизм”. Наконец, Солженицын — монархист, но вовсе не в том смысле, как это понимают в нынешней Европе: ему нужна настоящая самодержавная власть. Это уже и вовсе нельзя сказать, потому что на Западе, где Александру Исаевичу приходится жить, такую власть считают средневековой и столь же неуместной, как езда в карете; да и у нас в России мало кто примет такое предложение всерьёз, а тех, кто его примет, не примут всерьёз все остальные.

Вот и приходится Солженицыну притворяться. Посмотрим сначала, как он толкует национальный вопрос. Сейчас он согласен предоставить независимость *неславянским* республикам, впрочем, только *союзным.* Что касается автономных, то им придётся остаться с Россией, хотят они того или нет. “Для некоторых, даже и крупных наций”, — говорит он, — “как татары, башкиры, удмурты, коми, чуваши, мордва, марийцы, якуты, — почти что и выбора нет: непрактично существовать государству, вкруговую охваченному другим”.

Вы узнаете эту аргументацию: Солженицын в точности повторя-

ет рассуждения Сталина, тоже не желавшего даже на словах признать волю этих народов. “Непрактичность” — очень замечательный довод: Россия должна объяснить своим автономным народам, что для них практично, и что нет. Не кажется ли вам, что “непрактичность” означает здесь просто физическую невозможность, в том смысле, что русские могут блокировать окружённое государство и вынудить его к повиновению? В былые времена по этой причине и не было окружённых государств, но то было право сильного, а в наши дни, когда можно отказаться от насилия — почему же им не быть? Вот вам пример недомолвки, и очень важный: Александр Исаевич не хочет прибавить, что “непрактичность” означает насилие.

Разберёмся теперь, как Солженицын относится к “Империи”. Могло бы показаться, что он хочет отделаться от всех этих завоёванных Россией народов, но расстаётся он с Империей не добровольно, а с тяжёлым сердцем. “Да уже во многих окраинных республиках”, — говорит он, — “силы так разогнаны, что не остановить их без насилия и крови — да *и не надо* удерживать такой ценой!” Впрочем, удержать силой всё равно невозможно, так что нет здесь особенного великодушия. “Как у нас всё теперь поколесилось, — пишет он дальше, — так всё равно «Советский Социалистический» развалится, всё равно! — и выбора настоящего у нас нет”.

Верно, что выбора уже нет, но когда-то был выбор. Об этом свидетельствует замечательное место: “Наши деды и отцы, «втыкая штык в землю» во время смертной войны, дезертируя, чтобы пограбить соседей у себя дома, — уже тогда *сделали выбор* за нас, пока на одно столетие, а то, смотри и на два”. Это место нетрудно расшифровать. Ему предшествует следующее: “надо понять, что *после* всего того, чем мы заслуженно гордились, наш народ отдался духовной катастрофе Семнадцатого года (шире: 1915–1932), и с тех пор мы — до жалости не прежние, и уже нельзя в наших планах на будущее заноситься: как бы восстановить государственную мощь и внешнее величие прежней России”. Как видите, “прежняя Россия” внушает Солженицыну полное уважение, да в этом нельзя и усомниться, прочитав “Август”: никакой “тюрьмы народов” он в ней не усматривает, а просто не видит путей “вернуться к тому, с прискорбным исключением, спокойному сожительству наций, тому даже дремотному неразличению наций, какое было почти достигнуто в последние десятилетия предреволюционной России”. Можно подумать, что народы, завоёванные Российской империей, были довольны своим положением; правда, было одно “прискорбное исключение”, которое

Исаич почему-то не называет. Может быть, исключение составляли поляки? В самом деле, трудно себе представить, что они дремотно не отличали себя от русских, и что русские чиновники дремотно не различали их как особую нацию. Может быть, это финны? Может быть, не были довольны своим положением евреи? А может быть, кавказцы? Впрочем, автор объясняет нам, что “Россия не завоевала Грузию насильственно, а только Ленин в 1921”; очевидно, он имеет в виду, что Грузия была захвачена не силой, а мошенническим путём, когда русские войска пришли в виде союзников, а потом не ушли. В общем, была настоящая идиллия, и можно даже почувствовать, что требовалась бо́льшая дискриминация: не надо было дремать, не различая наций.

Но русские нарушили свой долг, проиграли войну, и прекрасная Империя погибла. Навсегда ли? Нет, пожалуй, на сто лет, а может быть и на двести. Вот вам историческая задача: восстановить Российскую империю, когда придёт время. Но пока приходится хитрить и, как видите, Александр Исаевич хитрит очень наивно: всё видно насквозь.

Обратите внимание на вставку о дезертирах. В 1916 году, по данным Родзянко, около полутора миллионов русских солдат дезертировало из армии, они слонялись в тылу, пытаясь пробраться в родные места. Русский народ не желал больше воевать, и это Александр Исаевич не может простить русскому народу. Началось это задолго до лета 1917-го года, когда возник вопрос о разделе помещичьих земель, и нельзя удивиться точности его анализа: надо полагать, что с такой же ясностью он видит и нынешний аграрный вопрос. Конечно, помещики были *соседи* уходивших с фронта крестьян, и уходили они просто для того, чтобы *пограбить соседей* — сколько империй погибло от таких мелких причин!

Нет, не по доброй воле Александр Исаевич расстаётся с Империей, не рад он тому, что не будет никакой Империи, что, может быть, сто или двести лет все эти нации будут обходиться без России. Он не может сказать об этом прямо, а только повторяет: нет сил на Империю. А если бы были силы? Его подлинное отношение к отпадающим нациям заключается в прозрачном лицемерии следующей фразы: “А если верно, что Россия отдавала свои жизненные соки республикам, — так и хозяйственных потерь мы от этого не понесём, только экономия физических сил”.

Вдумайтесь в эти слова. Прежде всего, обратите внимание на вводные слова: “А если верно”. Так верно или неверно, Александр Исаевич? Верите вы, что республики высасывали из России жиз-

ненные соки, или не верите этому? Очень хотелось бы знать, что вы на самом деле думаете, а вы скрываете свою мысль. Нехорошо это, Александр Исаевич.

Конечно, перед нами очень наивная хитрость. В другом месте той же статьи Александр Исаевич выдаёт подлинную мысль: выбранный московский мэр Гавриил Попов, оказывается, заботится лишь о пропитании своего города, который и без того пользуется "другими материальными и культурными условиями, нежели остальная коренная Россия". Вот вам и решение вопроса: здесь, после справедливого замечания об особых московских привилегиях, автор объясняет, что привилегии-то Москва имела перед "остальной коренной Россией". Слово "коренная" имеет здесь понятный смысл: Солженицын говорит этим, что "некоренная Россия", то есть нерусские нации, имели те же незаконные привилегии, что и Москва. Можете ли вы иначе понять прилагательное "коренная" в этом контексте? Так что настоящее мнение Александра Исаевича о том, куда шли жизненные силы России, он, в сущности, и не скрывает.

Зачем же, всё-таки, это условное начало: "А если верно"? Вижу только одно объяснение: оно даёт возможность формально отпереться. Если кто-нибудь обвинит Исаевича в том, что *он* бросил обвинение нерусским нациям, он может возразить, что, дескать, всего лишь обращается к *другим*, кто так думает, и уговаривает их отпустить эти нации. Но тогда ему надо было бы выразиться прямо и честно, по-русски это говорится вот как: "Некоторые утверждают, что республики высасывали из России жизненные соки. Я с этим не согласен. Но и эти люди не должны удерживать отпадающие нации, потому что, с их точки зрения, нерусские нации обременяют Россию".

Не правда ли, смешно, что Солженицына приходится учить, как выразить свою мысль ясным русским языком? Полно, неужели вы думаете, что он не умеет это делать? Превосходно умеет, значит, не хотел. Перед нами простейшая инсинуация, намёк понимающему читателю — с возможностью отпереться. И ещё замечательное выражение: "экономия физических сил". Подумайте, с каких позиций Солженицын рассматривает наш национальный вопрос. Его точка зрения — откровенный национальный эгоизм, трагедия других наций его нисколько не волнует. Точно так же человек смотрит на тонущего ближнего, констатирует, что вытащить не может, но формулирует создавшееся положение с удивительным спокойствием: можно сэкономить физические силы. Впрочем, я забыл, что это место надо читать в условном наклонении. Но республики от-

падут безусловно, а реванша придётся ждать больше двухсот лет. И когда пройдут столетия, потомки спросят себя, что же значило в двадцатом веке — жить не по лжи?

Нетрудно понять, что Солженицын особо обращается к славянам, к русским, украинцам и белорусам. Русских он убеждает отказаться (на ближайшие сто или двести лет?) от единой и неделимой России, а также проповедует им подобающее обстоятельствам христианское смирение. Глава, обращённая к ним, носит название: "Слово к великороссам"; это почти забытое слово заставляет вспомнить статью Ленина, тоже обращённую к великороссам, но убеждавшую их проявлять национальную гордость. Естественно, Александр Исаевич внушает им гордости не проявлять, так что с Лениным он и в этом не согласен. Русские, не желающие отказаться от имперских претензий, составляют теперь очень незначительную часть русского народа. По-видимому, Александр Исаевич думает об остатках старой эмиграции, с которыми он теперь связан. Иначе трудно объяснить, почему он убеждает "великороссов" отказаться от Польши и Финляндии: внутри страны о них не думает никто. Занимаясь этим вопросом, Александр Исаевич проявляет редкую историческую эрудицию. Очевидно, он ничего не знает о трёх разделах Польши, потому что объясняет её захват "взбалмошной фантазией Александра I". Мало того, он полагает, как видно, что Польшу и Финляндию отпустил русский царь. "Неужели, — спрашивает он, — Россия обеднилась от отделения Польши и Финляндии? Да только распрямилась". Но после отделения Польши и Финляндии Россия всегда оставалась советской, а советская Россия никак не могла "распрямиться" по сравнению с самодержавной. В каком же году и каким образом отделились Польша и Финляндия? Очевидно, до семнадцатого года — по манию царя. Попробуйте иначе объяснить это место или не признать Солженицына оригинальным историком.

Здесь Александр Исаевич обращается к украинцам и белорусам; и я не удивился бы, если бы он назвал украинцев малороссами, как им и полагается называться по-старому. Но, должно быть, в сложившейся ситуации неудобно напоминать украинцам, что они — те же русские, но только не великие, а малые.

Дальше он говорит разные исторические наивности — кстати, очень похожие на казённые мифы обеих империй — царской и советской. Он говорит, что было Воссоединение украинцев и белорусов

с Россией, в другом месте употребляет слово “возврат”. Если понимать эти слова в обычном смысле, а не в казённом бессмыслии, то они должны означать, что сначала была Россия, включавшая в себя Украину и Белоруссию, потом эти земли кто-то оторвал от России и, наконец, они в Россию вернулись. Но всё было не так. Древняя Русь вовсе не была единым государством, она состояла из независимых княжеств, связанных династическим родством. Говорили тогда на языке, больше похожем на украинский, и Киев, стольный город великих князей, потом был украинским городом. Я вовсе не поддерживаю претензии украинских националистов и оставляю в стороне вопрос, был ли святой Владимир русский или украинец: он, конечно, не понял бы, что это значит.

Потом Александр Исаевич поучает западных украинцев, что у них плохой, испорченный язык, потому что язык их подвергся польскому и немецкому влиянию, а не русскому. Это искажение языка он приписывает “австрийской подтравке”, то есть думает, что австрийская власть формировала этот язык в своих политических целях. Хотел бы я знать, что сказал бы об этом Иван Франко. В этих рассуждениях Солженицына есть нечто столь чуждое рассматриваемому предмету, что я сомневаюсь, читает ли он по-украински: думаю, что нет.

Конечно, Солженицын призывает украинцев и белорусов войти в Российский Союз, то есть признать политическую власть Москвы. Но тут же он предупреждает, что ни в коем случае не отдаст украинцам значительную часть их земли: оказывается, южная часть Украины — это вовсе не “старая Украина”, а “Новороссия”, Донбасс — тоже не Украина; в общем, вопрос, что отойдёт Украине и что России, будет предметом бесконечных споров. В другом месте он настаивает, чтобы этот вопрос решался не всенародным голосованием, а отдельно на местах, где надо провести районные референдумы или что-то в этом роде. Вероятно, здесь есть какой-то резон, потому что вся республика может высказаться против воли Донбасса или Крыма; но ясно, почему Солженицын возбуждает такой вопрос. Он хочет обеспечить процедуру, при которой Украина никогда не сможет отделиться, да и вообще его заверение, что украинцы и белорусы смогут сами решать свою судьбу, нельзя принимать всерьёз. Для него всё уже ясно: вместо Советского Союза должен быть Российский Союз.

Трудно сказать, чего захотят украинцы и белорусы, но быть “младшими братьями” они не хотят. Они потребуют подлинного равноправия, и если сохранят какой-нибудь союз с Москвой, то

это будет не *Российский* союз. Самая постановка вопроса в статье подразумевает старшинство русских, невыносимое для этих народов. Я согласен с автором, что раздел был бы жесток, и совсем не хочу жестокого раздела. Пусть три славянских государства станут независимы, и тогда заключат между собой договор — если захотят.

Солженицын обращается также к "малым народам", объясняя им, что они должны остаться в России. Мы уже видели, в чём состоит его аргументация: слабых окружим и не выпустим. Приняв эту сталинскую доктрину, он одобряет и придуманный Сталиным Совет Национальностей. "Численный вес народа, — говорит он, — не должен быть в пренебрежении; так может прозябать ООН, но не жизнеспособное государство". Это значит, что права народа должны зависеть от его численности, и напрасно он презирает ООН: это учреждение тоже основано на силе, в Совете Безопасности всё зависит от постоянных членов. Наш мир ещё стоит на праве сильного, так что, в сущности, Солженицын борется против очень слабых, почти нереальных зачатков более человечного права. Итак, он ясно излагает программу принуждения малых народов, но в конце прибавляет некоторую утешительную словесность: "Каждый, и самый малый народ, — говорит он, — есть неповторимая грань Божьего замысла". Это, в сущности, ни к чему не обязывает. Затем он приводит более серьёзное изречение: "Перелагая христианский завет, Владимир Соловьёв написал: «Люби все другие народы, как свой собственный»". Не сомневаюсь, что Владимир Соловьёв был способен к такой любви. Но способен ли к ней Александр Исаевич Солженицын? Думаю, что нет. Он прописывает свои политические пилюли и считает нужным их подсластить. А любит он, в сущности, только русский народ, но не тот, что есть, а прошлый. Я предпочитаю будущий. Мне скажут, что я утопист; может быть, но будущее всё-таки будет, а прошлое — нет.

Наконец, предлагаемое Солженицыным решение национального вопроса страдает неполнотой в одном очень существенном пункте, и можно не сомневаться, что неполнота эта не случайна. Вообще говоря, никакого автора нельзя упрекать, в том, что он о чём-то не пишет, а судить его надо по тому, что́ он счёл нужным написать. Но если есть очень важные вещи, прямо относящиеся к рассматриваемому вопросу, и автор не считает нужным написать об этих вещах *ни слова*, то возникает предположение, что он нарочно хочет о них умолчать. И в таком случае молчание становится красноречивым намёком, адресованным понимающему читате-

лю; как мы видели, Александр Исаевич не стесняется делать такие намёки.

В том разделе статьи, где Исаич обращается к “малым народам” и уподобляет их граням Божьего замысла, он перечисляет “наименьшие народности”, и внимания его удостаиваются ненцы, пермяки, эвенки, манси, хакасы, чукчи и коряки, после чего он высокомерно добавляет: “и не перечислить всю дробность”. Не могу оставить в стороне противоречие между казённой риторикой Солженицына — насчёт граней божественного алмаза — и его подлинным чувством, прорывающимся в этом месте. Конечно, обозначить малочисленные народы как “дробность” может только русский шовинист, человеку с другим настроением такое слово и не пришло бы на ум.

Отдав должное наивности, которую здесь обнаруживает Александр Исаевич, посмотрим, какие же народы он *не заметил*. Не заметил он немцев и евреев, и можно спросить, почему. Здесь, конечно, придётся довольствоваться предположениями, но другие сочинения Солженицына дают нам достаточно материала, чтобы это объяснить. Солженицын считает эти обе нации — и немцев, и евреев — чуждыми России, и надеется, что они уйдут добровольно. Его эмоции по отношению к двум незамеченным нациям не вызывают сомнений. Немцев он не то чтобы любит, но уважает, а евреев очень определённо не любит и считает вредными для России. Я берусь это доказать подробнее, анализом его произведений, и доказать это не так уж трудно, потому что Александр Исаевич наивен и не умеет по-настоящему хитрить. Но зачем это доказывать? Кто *не видит*, что “Ленин в Цюрихе” просто-напросто антисемитский памфлет в духе известных протоколов, приписываемых сионским мудрецам, тому не помогут никакие доказательства. Есть некоторый минимум человеческого понимания, который мы вправе предположить у читателя: например, все мы понимаем настроение человека по его судорожно искажённому лицу, сдавленному голосу и сжатым кулакам. Если кто-нибудь всё-таки не понимает, с каким чувством он имеет дело, и ссылается на отсутствие точных формулировок, можно лишь пожалеть такого читателя, совсем потерявшего доверие к собственному суждению. Во всяком случае, Александр Исаевич не оставляет этим двум злополучным народам никакого места в своём “Российском Союзе”. Его нисколько не тревожат страдания, вынесенные ими по вине коммунистов, а между тем, и немцам, и евреям досталось больше, чем другим. Не считая, конечно, выселенных народов, из которых Солженицын вспомнил лишь крымских татар, да и то потому, что не

хочет отдать им Крым. Как мы видим, Александр Исаевич очень избирательно сострадает, и уж совсем ни при чём здесь Владимир Соловьёв.

Теперь нам надо разобраться, какова хозяйственная программа Солженицына. В главе "Неотложные меры Российского Союза" он представляет себе своё государственное изобретение уже осуществлённым, и обращается, по-видимому, к будущим вождям этого нового государства. Но поскольку никакого Российского Союза ещё нет, а меры называются неотложными, то они предлагаются, очевидно, Горбачёву и его соратникам, то есть президентской власти, находящей у него некоторое одобрение. Итак, перед нами ещё одно "Письмо вождям": Александр Исаевич принимает всерьёз только реформы сверху и неизменно надеется лишь на сегодняшнюю наличную власть. Но посмотрим же, какие меры он предлагает.

Некоторые из этих мер очевидны, и с ними согласится каждый. Надо прекратить поддержку "тиранических режимов, насаженных нами в разных концах Земли". Разумеется, здесь Александр Исаевич переоценивает насаждавшие силы Хрущёва и Брежнева: наши жалкие правители попросту хватались за возникавшие возможности вмешиваться в чужие дела, сами же ничего не могли насадить. Конечно, поддержку тиранических режимов надо как можно скорее прекратить, но мне не совсем ясно, как понимать выражение "отрубный единомгновенный отказ". Дело в том, что нарушение уже принятых обязательств привело бы в некоторых случаях к невыплате долгов, а нам многие должны; кроме того, есть ещё международное право, признающее преемственность обязательств. Если бы Российский Союз отказался от договоров, заключённых Советским Союзом, то это выглядело бы в смысле права так же, как поведение большевиков, отказавшихся признать обязательства российского правительства. Поэтому в предложении Солженицына, по существу правильном, можно усмотреть и некоторую большевистскую бесцеремонность.

Правильно и предложение прекратить гонку вооружений, даже отложить вылазки в космос. Капитальные вложения в промышленность тоже надо резко ограничить, особенно — прекратить "долгострой".

Насчёт номенклатурной бюрократии у меня тоже нет расхождений с Александром Исаевичем, но полагаю, что Горбачёв и его со-

ратники на это не пойдут. Они умеют работать только внутри того же, пусть перекрашенного советского аппарата и, значит, Александр Исаевич предлагает им разогнать самих себя.

В число неотложных мер Российского Союза Александр Исаевич включает здесь и покаяние коммунистов; такая мера, пожалуй, не имеет особенного хозяйственного значения, хотя Солженицын и связывает экономический расцвет Западной Германии с “наполнившим её облаком раскаяния”. Кроме того, непонятно, какое значение может иметь покаяние для неверующих; может быть, коммунисты должны сначала уверовать, но это для нас не самый неотложный вопрос.

Наконец, в заключение той же главы Александр Исаевич напоминает, что “ещё высится над нами — гранитная громада КГБ”: вот в этом случае я безусловно одобрил бы “отрубный единомгновенный отказ” от такого учреждения. Оно уже не представляет большой опасности: только из штата Вермонт КГБ ещё кажется громадой, а мы тут в России видим кучу мусора. Но, конечно, убрать этот мусор будет нелегко. И потом, хотелось бы, чтобы вместо КГБ не появилась какая-нибудь другая охранка. Дальше Солженицын приводит весьма интересное мнение по этому поводу: “Папа Иоанн Павел II высказал (1981, речь на Филиппинах), что в случае конфликта национальной безопасности и прав человека приоритет должен быть отдан национальной безопасности, то есть целости более общей структуры, без которой развалится и жизнь личности”. Признаюсь, это место меня тревожит. Мне не удалось раздобыть речь римского папы на Филиппинах, но нам, безусловно, предстоит целая эпоха конфликтов между правами человека и “целостью общей структуры”. До сих пор эта целость структуры у нас имела столь подавляющее превосходство над правами человека, что в ближайшие годы всякая попытка ограничить права, даже оправданная и юридически ясная, будет вызывать понятную подозрительность. И, конечно, мы не хотели бы получить вместо “государственной безопасности” какую-нибудь “национальную безопасность”: надеюсь, папа римский вовсе не это имел в виду.

Но, повторяю, все эти предложения Солженицына в общей форме не оспаривает никто, кроме наших воров-аппаратчиков. Вот только способ проведения этих неотложных мер вызывает у меня опасение. Ясно, что Александр Исаевич хочет создать в России крестьянское землевладение, приняв за образец реформу Столыпина. Конкретные предложения Солженицына по этому вопросу не очень отличаются от мер, предложенных в начале века, и

не принимают во внимание изменения в характере производства, происшедшие с тех пор. Современный фермер — это вовсе не тот зажиточный крестьянин, которого хотел иметь Столыпин. В начале века Россия была преимущественно крестьянской страной, а теперь фермеру приходится кормить своим трудом множество некрестьянского населения — в Америке до ста человек. Это создаёт проблему технического вооружения и снабжения сельского хозяйства, которую наш автор оставляет без внимания, но в таком случае, увы, перед нами ретроградная утопия. Конечно, даже простое расширение приусадебных участков может обеспечить нас овощами, но не следует забывать, что эти участки мало кто вскапывает лопатой; лошадей теперь почти нет, и вспахивают огороды взятые из колхоза и совхоза трактора. Если распустить колхозы и совхозы, кому отдать машины? Наконец, зерновое хозяйство теперь зависит только от машин, а у нас нет даже проекта, как использовать эти машины в условиях частного хозяйства. В западных странах совсем другая структура промышленности, торговли и кредита. Без такой системы можно, конечно, раздать землю частным владельцам, но тотчас останемся без зерна. Увы, как только дело касается конкретного вопроса — притом особенно близкого Солженицына вопросу о земле — то сейчас же обнаруживается, что он утопист.

Утопии этого рода древни, как мир. В сущности, мечта всех консерваторов всех времён — возвращение к хорошему прошлому. В этом хорошем прошлом главное место занимала лошадь. Джонатан Свифт придумал общество лошадей, использующих людей как тягловый скот. Лев Толстой отводил лошадям более обычную роль, но сулил крестьянину и его лошади одинаково интересную жизнь. Если бы мы даже согласились вернуться в патриархальную деревню, нас слишком много на земле, чтобы этим способом прокормиться. Время лошадиных утопий прошло.

Аграрная программа Солженицына, как я уже говорил, заимствована у Столыпина, и эта идейная родословная наводит на некоторые размышления. Дело в том, что Столыпин стал теперь идолом наших доморощенных фашистов, образующих общество "Память" и пишущих в журналы "Наш современник" и "Молодая гвардия". Разумеется, покойный Петр Аркадьевич тут ни в чём не виноват: можно по-разному относиться к его деятельности, но он был, несомненно, государственный человек и не был бы в восторге от таких потомков. Да эти люди, собственно, и не знают, кто был их герой: вряд ли они стали бы рекомендовать нам премьер-министра,

упорно убеждавшего царя дать гражданское равноправие евреям. Но с этих господ что возьмёшь? Вот только общая привязанность к Столыпину, сближающая Александра Исаевича с каким-нибудь Васильевым, заставляет всё-таки задуматься. Я имею в виду того Васильева, кто не исключает собственную кандидатуру на российский престол; очень прошу всех других Васильевых на меня не обижаться.

Знаете ли, меня очень беспокоит вопрос, с кем у меня общие идеалы. И если такая близость мне неприятна, я спрашиваю себя — откуда она взялась?

Могло бы показаться, что Александр Исаевич хочет восстановить в России капитализм, поскольку он упорно отстаивает частную собственность. Но дальше он делает ряд заявлений, заставляющих усомниться в этом. Оказывается, надо разрешить только *мелкую* собственность, а крупную — государство должно жёстко ограничить. “Мне кажется ясным”, — говорит он в главе “Хозяйство”, — “что надо дать простор здоровой частной инициативе и поддерживать и защищать все виды мелких предприятий, на них-то скорее всего и расцветут местности, — однако твёрдо ограничить законами возможность безудержной концентрации капитала, ни в какой отрасли не дать возможности создаться монополиям, контролю одних предприятий над другими”. И дальше выясняется, что предполагается жёсткий контроль над ценами: “Старая Россия по веку жила с неизменными ценами”. Общее заключение: “Нельзя допустить напор собственности и корысти”.

Всё это означает, что государство должно сохранить за собой *очень жёсткие* функции управления экономикой, так что желательное для Солженицына народное хозяйство — это вовсе не капитализм, а что-то вроде нэпа. В самом деле, государство должно следить за тем, чтобы никто не обогащался сверх установленной границы, следовательно, должно устанавливать эту границу и так или иначе, если не прямой экспроприацией, то запретительными налогами контролировать величину состояний и размеры частных предприятий. Эта деятельность государства носит не только экономический, но и моральный характер: правительство не просто заботится о развитии производительных сил и материальном благополучии населения, но активно сражается со злом, определяя, что в хозяйственной жизни добро, и что зло. Право же, это совсем не то, что имел в виду Пётр Аркадьевич Столыпин, а больше напоминает сторонников нэпа, “правых” большевиков.

Я хотел бы подчеркнуть, что жёсткие ограничения на размер

предприятий и капиталов создают условия, при которых не может образоваться свободный рынок. Конец нэпа явно демонстрирует непреодолимые противоречия, возникающие из таких ограничений. Современные промышленные мероприятия просто не могут существовать в малых размерах. Есть виды производства, где неизбежны огромные массы оборудования, сложнейшие технические связи, и это как раз основные производства, без которых не может существовать современное хозяйство. Как можно представить себе электростанции, химический комбинат, машиностроительный завод в руках частного владельца, если никто не имеет права владеть крупным предприятием, или соединиться с другим в акционерное общество? Ясно, что *крупные* предприятия у Солженицына должны быть *государственными*: другого выхода нет. Но признание этого, опять-таки, означает нэп.

Таким образом, доктрина Солженицына соединяет национализм и жёсткий государственный контроль, преследующий моральные цели. Пользуясь забытым термином двадцатых годов, я определил бы это учение как *национал-большевизм.* Читатель может сам судить о том, хороша или плоха эта доктрина, и как она относится к политике советской власти во время нэпа. Мне кажется, что Солженицын, детство которого прошло в последние годы нэпа, сохранил об этом времени некоторые представления, но не очень понимает, в каких условиях жил Столыпин и чего он хотел. И, конечно, его не устраивает интернационализм, он хотел бы совместить "хороший" нэп с правильной национальной линией.

Солженицын, конечно, понимает, что поддержание руководства, способного контролировать размеры предприятий и земельных участков, деятельность банков и отношения с иностранным капиталом — требует строгой централизации. Если "вся провинция, все просторы Российского Союза вдобавок к сильному (и всё ещё растущему по весу) самоуправлению должны получить полную свободу хозяйственного и культурного дыхания", то непонятно, каким образом гарантировать, что они дадут "простор" только *мелким* предприятиям и будут достаточно осторожны в делах с иностранными фирмами, чтобы не пострадали возлагаемые на государство моральные функции. Очевидно, что для этого понадобится жёсткое всесоюзное (или всероссийское?) законодательство, а, следовательно, карательные полномочия в руках центральной власти. И хотя Александр Исаевич говорит о законах против монополий, он, конечно,

знает, что такие законы, существующие в Соединённых Штатах и других западных странах, вовсе не достигают поставленных целей. В самом деле, они очень мало ограничивают те явления, против которых он выступает — концентрацию капитала, образование гигантских концернов; и они вовсе не имеют морального влияния, например, не сдерживают безудержный рост потребления и расточительность. Западное государство мало заботится о моральных целях, оказывая им lip service, словесное почтение. Нет, Александр Исаевич видит перед собой более серьёзную центральную власть, наделённую сильными полномочиями, — иначе ей не сдержать своеволие местных властей. Уже сейчас эти местные власти норовят суверенно законодательствовать в пределах каждой области и запросто выходить на внешний рынок, не говоря уже о республиках, которые и впрямь должны быть суверенны.

В условиях свободного предпринимательства эти проблемы разрешимы: например, в Америке отдельные штаты законодательствуют в своё удовольствие, имеют свои отдельные налоги. Но нигде в западном мире не ставятся и не достигаются моральные цели, никто не пытается контролировать размеры частной собственности и вкусы потребителей. Я не хочу сказать, что эти цели нежелательны; но если они ставятся перед государственной властью, то это может быть только центральная власть, способная подчинить себе всякую местную инициативу. Что из этого выйдет — другое дело. Вероятно, создание морально здорового общества — вообще не дело государственной власти. То, чего хочет Александр Исаевич, предполагает удивительное согласие между центром и провинцией, властью и обществом, то самое согласие, которое русские философы обозначали словом “соборность”. Как мы увидим дальше, он явно предполагает, что такое согласие будет царить в руководящих органах Российского Союза, в собраниях, каким-то образом выбираемых или назначаемых вместо парламента. Всякий, кто наблюдал за ходом человеческих дел, знает, что это согласие может означать только одну вещь: что реальная власть находится в другом месте, а собрание выполняет чисто декоративные функции. Я оставляю в стороне возможность чуда, и мне трудно отделаться от впечатления, что именно эту возможность молчаливо предполагает Александр Исаевич. Чудо может привести, наконец, в согласие умы и сердца русских людей. Но государство чудес не творит.

Например, что может сделать государство для семьи и школы? Единственное, что может предположить Солженицын, — это освободить женщину от работы и вернуть её в семью для воспитания

детей. Оставим в стороне вопрос, как будет воспитывать детей эта женщина, и захочет ли она расстаться с работой. Допустим, что большинство женщин не хочет работать, а хочет сидеть дома и воспитывать детей; как же можно этого добиться? "Надо", — говорит Александр Исаевич, — "увеличить мужской заработок"; впрочем, он тут же замечает, что ожидается безработица, и об этом говорить рано. Государство может лишь выплачивать какие-нибудь пособия, да и то непонятно, откуда их взять.

По поводу школы Солженицын говорит, что "школьные учителя должны быть отборной частью нации", но не объясняет, кто и как будет их отбирать. Вряд ли это смогут сделать государственные чиновники, поскольку трудно заставить молодых людей идти в учителя. Он говорит, что надо увеличить зарплату учителям; это и так ясно, но непонятно, откуда взять средства. В общем, о школе ничего интересного он не говорит; ясно одно: над школой должен быть твёрдый контроль. По поводу частных школ он говорит, что в них "не должно быть безответственного самовольства программ, они должны находиться под наблюдением и контролем земских органов образования". Ясно, что государственные школы тем более должны быть "под наблюдением и контролем"; но земские органы образования могут проявить то же "безответственное самовольство", и уже местами проявляют его, так что и над ними понадобится "наблюдение и контроль". В общем, мы будем иметь земский наробраз. Каждый раз, когда может возникнуть какая-нибудь свободная инициатива, Александр Исаевич настораживается. Его не устраивает школьная система, какая существует в западных странах. То, что ему в самом деле нужно — это "наблюдение и контроль".

Наконец, Солженицын подробно объясняет, каким должен быть наш государственный строй. Правда, вначале он убеждает нас: "А скажем так: государственное устройство — второстепеннее самого воздуха человеческих отношений. При людском благородстве — допустим любой добропорядочный строй, при людском озлоблении и шкурничестве — невыносима и самая развилистая демократия. Если в самих людях нет справедливости и честности — то это проявится при любом строе".

Здесь перед нами столь богатая россыпь общественной мысли, что не знаю, за что раньше взяться. Конечно, если бы люди стали справедливы и честны, то все политические проблемы нацело исчезли бы, и вообще не нужно было бы государства: можно было бы оставить от него почту и, пожалуй, монетный двор, если

люди будут всё же не столь благородны, чтобы вести свои дела без наличных. Как объясняет нам автор в другом месте, русские купцы заключали сделки без письменных доказательств, на слово: отсюда уже один шаг до безденежного хозяйства. Не знаю, как объяснить Александру Исаевичу, что государственная власть как раз и выражает человеческое несовершенство. Дальше он говорит, что политика — не самое главное в жизни человека, и я с этим совершенно согласен. Но раз уж приходится заниматься политикой, то должен быть в этом какой-то здравый смысл, не правда ли? Можно, конечно, рассуждать о том, что лучше вообще не запирать двери, но люди недостаточно честны и справедливы, так что приходится заниматься вопросом об устройстве замков; а уж если заниматься законами, то надо позаботиться, чтобы они действовали должным образом. Конечно, “политика — совсем не желанное занятие для большинства”. Польский сатирик Лец выразил эту мысль ещё лучше: “Никто не стал бы заниматься политикой, если бы нам не пришлось жить на этом свете”. Но, увы, приходится жить на этом свете Александру Исаевичу, и невозможно ему избавиться от политики.

Дальше я оставлю в стороне все нравственные увещания Солженицына не потому, что я с ними не согласен, а потому что государственный строй *предполагает* человека дурным и стремится лишь ограничить его дурные склонности. Сделать человека хорошим государство не может, и не следует нагружать этой задачей государственную власть: в тех случаях, когда она принималась за это дело, выходили плачевные результаты. В лучшем случае государство может создать условия для свободного развития общества, а остальное зависит не от власти, а от нас самих. Прошу читателя простить мне эти банальности, но мне кажется, что нарочитое презрение к политике у Александра Исаевича лишь маскирует его подлинные намерения. В действительности он хочет создать в России сильную попечительную власть, весьма непохожую на демократию, и я собираюсь это доказать.

Конечно, Александр Исаевич прямо не признáется, что он монархист, но я и не ожидаю от него такой откровенности. В романе “Август 14-го” о монархии очень определённо рассуждает генерал Нечволодов, но автор не отвечает за своего героя. В других случаях он тоже прикрывает свои подлинные взгляды, например, выражением “авторитарная власть”. Выражение это пустили в ход фашисты, но скорее всего он этого не знал: он просто намекал на самодержавную монархию. Впрочем, в рассматриваемой нами статье есть место,

где автор недвусмысленно объясняет свою точку зрения ссылкой на двух очень известных писателей. Главу “О государственной форме” он начинает следующим образом:

“Освальд Шпенглер верно указывал, что в разных культурах даже сам смысл государства разный, и нет определившихся «лучших» государственных форм, которые следовало бы заимствовать из одной великой культуры в другую. А Монтескьё: что каждому пространственному размеру государства соответствует определённая форма правления и нельзя безнаказанно переносить форму, не сообразуясь с размерами страны.

Для *данного* народа, с его географией, с его прожитой историей, традициями, психологическим обликом, — установить такой строй, который вёл бы его не к вырождению, а к расцвету. Государственная структура должна непременно учитывать традиции народа. «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему» (Иерем. 6, 16)”.

Данным народом здесь является, конечно, *русский* народ, и устами пророка ему рекомендуется обратиться к “путям древним”, то есть к его старой истории. Но в этой истории была не только самодержавная традиция Москвы; была в ней и демократическая традиция русского Севера, были свободные республики — Новгород и Псков. Попытка свести русскую государственную традицию к *одному* Московскому царству — это давняя, злостная фальсификация русской истории. Но посмотрим, какую же традицию имеет в виду автор. Здесь нам помогут его литературные ссылки. Сочинение Шпенглера называется “Закат Европы”; оно выражает безнадёжный пессимизм по поводу европейской либеральной демократии и предсказывает ей скорую гибель. Очевидно, Новгород и Псков здесь ни при чём: Шпенглер тяготеет к германскому империализму.

Ссылка на Монтескьё окончательно решает дело. Слова о “размерах государства” не оставляют сомнения, какая мысль Монтескьё здесь имеется в виду. Монтескьё сопоставил все известные ему виды власти и пришёл к заключению, что формы правления зависят от размеров страны, а именно демократия возможна лишь в малых странах, большие же могут быть только монархиями. Ясно, что в этом и заключается государственная мудрость, заимствуемая у Монтескьё. Если читатель всё ещё не понимает, какой форме правления привержен Солженицын, то я уже ничем не могу ему помочь. Я понимаю, что человек с авторитарным складом ума, но связывающий со словом “монархист” отрицательные представления, не мо-

жет произнести сочетание слов “Солженицын — монархист”. Такому читателю не надо читать ни Шпенглера, ни Монтескьё, ни других авторов, рекомендуемых Александром Исаевичем. Впрочем, этого читателя я могу не принимать во внимание: он уже давно перестал читать мою статью. Я не могу расстаться с Монтескьё, не напомнив очень существенную поправку, внесённую историей в его учение; отцы американской конституции хорошо знали Монтескьё, одного из главных вдохновителей их политики. Их весьма беспокоила его точка зрения на возможные размеры демократического государства, поскольку уже в то время тринадцать американских штатов занимали огромное пространство. Они решились всё же основать одну большую республику, обеспечив её прочность системой федеральных связей, как это подробно объясняет известный Солженицыну историк Токвиль. Возникшее таким образом государство оказалось весьма прочным, и Солженицын, по-видимому, в этом не сомневается, благоразумно избрав его своим местом жительства. Нельзя требовать непогрешимости даже от великих людей; и если кому-нибудь желательно восстановить в России самодержавие, то не надо прятаться за спину Монтескьё.

Ясно, что Солженицын не может любить демократию, но в этом он не решается признаться. Он и здесь прикрывается ссылками на авторитеты: посмотрим, на кого он ссылается и зачем. Жертвой его становится великий историк Токвиль. Мы узнаём о нём следующее:

“А. Токвиль, изучая США в XIX веке, пришёл к выводу, что демократия — это господство посредственности”.

Не знаю, что и думать по поводу этих заявлений. Алексис де Токвиль опубликовал в тридцатые годы прошлого века знаменитую книгу “О демократии в Америке”. Он был убеждённый сторонник демократии, и книга его в течение полутора веков была главным источником демократического мышления. Аристократ де Токвиль отказался от взглядов своей среды, проследив в истории победный ход демократии. Он видел её слабости и опасности, он от них предостерегал. Второй том его книги завершается знаменитым пророчеством. “В будущем веке”, — говорит Токвиль, — “главное значение будут иметь два государства: Соединённые Штаты и Россия. Они будут оспаривать друг у друга власть над землёй. Первое из них руководствуется принципом свободы, второе — принципом рабства”.

Александр Исаевич легко найдёт это место: книга Токвиля имеется в двух превосходных русских переводах. Он сможет убедиться, что я правильно передаю мысли Токвиля. Токвиль был сторонник демократии и непримиримый враг русской монархии; почему же

Солженицын ссылается на него для посрамления демократии? Я не думаю, что Александр Исаевич сознательно обманывает читателей: скорее всего, он узнал о Токвиле из разговоров, а сам его не читал.

Солженицын не решается прямо заявить, что не хочет для России демократии. Вместо этого он предлагает некий государственный строй, при котором можно будет *говорить* о демократии, но не иметь её, точно так же, как у нас было до сих пор. Вначале он сообщает нам, что "Достоевский считал всеобщее равное голосование «самым нелепым изобретением XIX века»". Но, как известно, Достоевский писал это, переменив уже свои взгляды и став монархистом. Дальше автор объясняет нам, что "«тайное» (голосование) — тоже не украшение, оно облегчает душевную непрямоту или отвечает, увы, нуждам боязни". И дальше: "Но на Земле и сегодня есть места, где голосуют открыто"; открыто голосуют лишь в маленьких республиках вроде швейцарских кантонов, о которых он и пишет в другом месте. Но мы помним из ссылок на Монтескьё, что размеры России делают её непригодной для демократии, тем более для прямой демократии с открытым голосованием. Посудите сами, нужны ли Александру Исаевичу выборы, и какие выборы ему нужны.

Дальше выясняется, что он хочет не прямых, а многостепенных выборов, "потому что при таких выборах тянется цепочка личного знания кандидатов". Очень трудно это понять: при многостепенных выборах в парламент попадают люди, которых избиратель никогда не видел, а выборщики, которых он знает, только один раз и участвуют в политике, а потом исчезают. Между тем, при прямых выборах депутат добивается избрания, выступая в своём округе, и хотя он не обязательно так хорошо известен избирателям, как выборщик, но зато реально участвует в обсуждении законов, так что избиратели могут за ним следить, влиять на него и даже его отозвать. Мнение Александра Исаевича в пользу многостепенных выборов можно разделять или нет, но его довод представляется мне предельно нелогичным.

Больше всего Солженицын выступает против политических партий. "Соперничество партий", — говорит он, — "искажает народную волю". Каким же образом может проявиться народная воля? На этот счёт у него есть две идеи: "демократия малых пространств" и "государственно-земский строй".

"Демократия малых пространств", — учит он, — "веками существовала в России. Это был сквозь все века русский деревенский

мiр, а в иные века — городские веча, казачье управление”. Отсюда ясно, какие виды самоуправления имеет в виду Александр Исаевич. Оставим в стороне казачье самоуправление. Казаки были войском, особенно преданным самодержавию, а к демократии имели очень специальное отношение, поскольку привлекались для разгона демонстраций. Нет, это не большевистская пропаганда: загляните в старые газеты, да и художник Серов изобразил казаков-демократов тоже до революции. Оставим в стороне “городские веча”: это была вовсе не “демократия малых пространств”. Можно посмотреть на исторической карте, сколько места занимал Господин Великий Новгород. Чтобы внушить нам желательную форму демократии, Александр Исаевич сказал три неправды, и только одна из них заслуживает опровержения. Русская деревенская община, так называемый “мир”, вовсе не был коренной формой народного самоуправления, как думали наивные русские народники. Эта община получила юридическое значение лишь в XVI веке, вследствие фискальной политики Ивана Грозного, и смысл её был в том, что вся деревня должна была коллективно отвечать за уплату налогов. Власть “мира” препятствовала появлению в России свободного крестьянства, и Столыпин как раз пытался своей реформой *разрушить* эту власть. Кто молится на “мир”, тот не может любить Столыпина, и обратно. Как видите, Александр Исаевич не умеет свести концы с концами в своей статье.

Нам предлагается образец “демократии малых пространств”, имеющий мало общего с тем, что обычно называют демократическим самоуправлением. Вспомним, как обращались с крестьянским “миром” исправник и становой пристав, и расстанемся с ним навсегда.

Конечно, над всеми видами земской власти должна стоять какая-то верховная власть; посмотрим, как представляет себе эту власть Александр Исаевич. “Имеется в виду”, — говорит он, — “разумное сочетание деятельности централизованной бюрократии и общественных сил. Такое сочетание бывало периодами и в Московской Руси: местное самоуправление вело не только местные дела, но и часть общегосударственных, однако под надзором центральной власти”. К сожалению, автор не говорит, чтó он имеет в виду. Единственными случаями, когда местные представители могли как-то влиять на общегосударственные дела, были Земские Соборы XVII века, а центральной властью, надзиравшей над ними, был царь с боярской думой. Теперь их должна заменить, по-видимому, президентская власть, с которой и начинается глава “Предложения

о центральной власти”. Если принять историю Земских Соборов за образец нашей будущей демократии, то нетрудно понять, на что будет похоже будущее народное представительство, и какое отношение оно будет иметь к “центральной бюрократии”.

Дальше объясняется, как надо выбирать президента:

“Подлинный авторитет он будет иметь только после всенародного избрания (на 5лет? 7 лет?), однако для этого избрания не следует растрачивать народные силы жгучей и пристрастной избирательной кампанией в несколько недель или даже месяцев, когда главная цель — опорочить конкурента. Достаточно, если Всеземское Собрание выдвигает и тщательно обсуждает несколько кандидатур из числа урождённых граждан государства и постоянно живших в нём последние 7–10 лет. В результате обсуждений Всеземское Собрание даёт по поводу всех кандидатов единожды и в равных объёмах публичное обоснование и сводку выдвинутых возражений. Затем всенародное голосование (в один–два тура по способу абсолютного большинства) могло бы производиться без напряжённой изнурительной избирательной кампании”.

Как видите, это очень своеобразная, бесшумная демократия, в которой избирателям всё сервируется в готовом виде. За исключением некоторых деталей, всё это мы уже знаем. Но что же представляет собой Всеземское Собрание? Избирается оно многостепенным образом; на что же оно будет похоже? “Нынешняя система равномочных палат Совета Союза и Совета Национальностей совсем не плоха, если бы выполнялась без показничества и без мошенничества”. Затем говорится, что “Палата Национальностей могла бы остаться во Всеземском Собрании вообще без изменений”, да и Совет Союза тоже легко исправить.

А дальше по существу предлагается пожизненное президентство: если по истечении срока президентства Всеземское Собрание большинством в две трети в каждой палате признает, что “нет видимых причин не оставить его на следующий срок”, то и не надо проводить всенародное голосование, и так далее, а если президент умрёт, то его заменит на всю свою жизнь вице-президент. Вот вам и демократия!

В особых случаях несколько миллионов граждан могут потребовать плебисцит (кто будет разрешать кампанию и проверять подписи? Чиновники пожизненного президента?). “Кроме таких плебисцитов и редких выборов президента”, — успокаивает нас Александр Исаевич, — “никакие более всенародные голосования не стали бы нужными”.

Остаётся заметить, что политическим партиям во Всеземском

Собрании не будет никакого места. Автор всячески подчёркивает, что депутаты всех степеней должны представлять лишь самих себя, но никак не свою партию, хотя партии и не запрещаются. Такая фикция была когда-то в Государственной Думе, но все знали, каким образом Дума делилась на партии. Даже в отдалённом будущем, когда к Всеземскому Собранию прибавится *совещательная* Дума с депутатами от *сословий*, в ней должна быть запрещена деятельность партий. Последнее слово солженицынской демократии — восстановление сословий. "Процедуру выборов (или назначения) своих депутатов в Соборную Думу каждое сословие определяло бы само". И в этой думе не должно быть не только партий, но и голосований. Как же так, спросите вы. А очень просто: "Мнение без голосования — вовсе не новинка. Например, у горцев Кавказа долго держался порядок не общего голосования, а — «опрос мудрых»". "Опрос мудрых" поставлен в кавычки самим автором, и я не могу понять, почему.

Этим и завершаются предложения Солженицына: в будущем, после длительного приспособления, мы будем иметь пожизненного правителя с совещательным собранием единодушно — без голосования — высказывающим своё мнение. И время от времени, для развлечения публики, будет устанавливаться какой-нибудь плебисцит. Всё это исчерпывающе ясно. Недостаёт только названия: я мог бы предложить, как назвать этот государственный строй, но, надеюсь, Александр Исаевич сам его назовёт.

Письма из России. Письмо 7
"Анатомия диссидентства"

Я давно уже собираюсь написать нечто вроде "анатомии диссидентства". Это явление ушло в прошлое, вытеснено бурными событиями наших дней. Конечно, диссиденты придают чрезмерное значение своей деятельности: они вовсе не были предтечами происходящей сейчас революции, хотя бы потому, что боялись всяких революций и не надеялись на столь интересное будущее. В них не было пророческого нетерпения, создающего предтеч; они были скромны в своих желаниях, робки в своих надеждах. Некоторые не очень типичные их представители включились в политическую жизнь; другие вернулись к своим профессиям или прозябают в эмиграции.

Нынешняя русская революция началась с раскола в правящей партии, она продолжится рабочим движением. Диссидентство было всего лишь симптомом недовольства советской интеллигенции. Но советские деятели, поддержавшие теперь партийных реформаторов и придавшие какую-то форму их словесности, вовсе не были диссиденты: они просто служили в каких-нибудь советских учреждениях, выполняли там положенные телодвижения, а чувства свои выражали частным образом, в домашней обстановке. Что делали в брежневское время Коротич и Афанасьев, Собчак и Попов? Служили каждый по своей части, говорили то, что полагалось говорить по этой части. Ничем не рисковали, никаким преследованиям не подвергались и, как правило, для карьеры состояли в партии. Они и есть подлинные деятели перестройки — при чём же тут диссиденты?

Диссиденты, по-видимому, ни при чём. Не думаю, чтобы они оказали серьёзное влияние на деятелей перестройки, людей морально толстокожих и лишённых воображения. Эта публика не любит вспоминать о прошлом, ценит вещи и ориентируется на западный образ жизни. Может быть, какой-нибудь Коротич читал из любопытства запретные книги, но существенно не то, что он читал в брежневское время, а то, что он в то время *писал*.

Вот я всё это объяснил, но чувствую, что объяснил не всё: нечто важное осталось за пределами этой схемы. Если в нынешних событиях участвует главным образом партийная интеллигенция, то общественная атмосфера, сделавшая возможной эту последователь-

ность событий, была в некоторой степени подготовлена диссидентами, размножившими так называемый самиздат. Читатели самиздата составили важную часть публики, воспринявшей нынешнюю “гласность”, и без этой подготовки “гласность” не вызвала бы столь громкого отклика в нашем обществе. Самиздат — более значительное явление, чем диссидентское движение, и занимались им не только диссиденты, но они сделали свой вклад в самиздат, и в этом их историческая роль. Когда партийных реформаторов сменит настоящая демократия, её возьмут в руки молодые люди, созревшие в открытом обществе, не испытавшие влияния самиздата. Но самиздат помог разрушить прошлое. Всё ещё странно сознавать, что это прошлое разрушено: ведь оно всегда было нашим настоящим, и его больше нет! Многие всё ещё не понимают, что его больше нет, боятся, что оно каким-то образом вернётся. Так пробуждаются от страшного сна: после кошмарной ночи не сразу верится, что всё это приснилось, что этого нет.

К несчастью, это нам не снилось, это была наша жизнь.

У меня есть особые причины говорить о диссидентах. Сам я никогда не принадлежал к этой группе людей, хотя и участвовал в распространении самиздата, в изготовлении самиздатской литературы. Дальше я скажу, что меня отделяет от диссидентов, но моё неприятие диссидентства — не только умственное, но и душевное неприятие — не мешало мне знать и любить некоторых из них. Таким образом, мой рассказ будет чем-то вроде расчёта с собственным прошлым.

Я жил в изоляции от этого круга людей, так что диссидентское движение началось где-то поблизости, но незаметно для меня. Началось оно в конце хрущёвской “оттепели”, примерно в то время, когда появился “Иван Денисович”. Сначала до меня дошёл самиздат, а потом встретился настоящий диссидент.

Было это на даче, под Москвой. Человек, с которым меня познакомили, был мужчиной лет сорока пяти, плотного сложения, с уверенной и даже несколько вызывающий манерой поведения. Мы сидели на веранде в солнечный день, далеко от посторонних ушей, и ничто не мешало нам обсудить интересующие нас дела. Мой друг, присутствовавший при этом разговоре, большею частью молчал, да и я лишь задавал вопросы, так что говорил главным образом диссидент. Говорил он всё время о себе, точнее о своих столкновениях с

ГБ, и чувствовалось, что в этих столкновениях состоял весь интерес его жизни. Он рассказал, как его допрашивали и обыскивали, как они себя вели — и как он себя вёл. По-видимому, даже в этом разговоре наш собеседник некоторым образом самоутверждался. Меня неприятно поразил его интерес к гебистам: он видел в них серьёзных оппонентов и вёл с ними дискуссии.

Цели его деятельности оставались как-то в стороне, а обсуждались одни средства: этот человек занимался технической работой, что-то размножал, хранил и распространял. Но как раз с технической стороны его предприятия выглядели очень наивно; он не подозревал, что делает кучу глупостей, и потом мне объяснили, как его глупости вредили другим; я понял, что передо мной весьма заурядный носитель интересовавшей меня идеологии, и стал добираться, если так можно выразиться, до его священных реликвий.

— Вы говорите, — сказал я ему, — что боретесь за соблюдение законов. Но ведь это *советские* законы, по которым сажают и мучают ваших друзей. Конечно, все разговоры о законности нужны для прикрытия вашей работы. Но я сомневаюсь, насколько допустима ваша тактика.

— Нет, — ответил он мне, — это вовсе не тактика. Мы не лицемерим, мы в самом деле уважаем советские законы и добиваемся их соблюдения.

Я был крайне удивлён этим заявлением. Передо мной был, очевидно, не отдельный ограниченный человек, излагавший собственные мнения, а представитель некоторой группы, выработавшей свои взгляды. Трудно было поверить, что возможна какая-нибудь оппозиция советской власти, уважающая советскую законность, и я попытался выяснить, в чём тут дело.

— Как же так, — спросил я, — ведь в этих законах есть статьи, служащие предлогом для произвольных преследований, эти статьи формулированы с намеренной неясностью, и вы знаете, как их применяют?

Мой собеседник казался невозмутимым в своей уверенности.

— Да, — сказал он, в наших законах есть плохие статьи, но они противоречат конституции. Мы добиваемся соблюдения конституции, а эти статьи должны быть отменены.

Конституция, о которой он говорил, была та же, почти не тронутая сталинская конституция. Заметив моё удивление, он продолжил:

— Видите ли, в наших законах есть и хорошие статьи, входящие во все кодексы мира, например, статьи против воровства и убийства. Вот мы и требуем, чтобы соблюдались хорошие законы, охраняю-

щие права человека. Ведь наша конституция признает эти права, и мы добиваемся, чтобы они соблюдались. Мы понимаем, что советские законы несовершенны, но лучше иметь хоть такие законы, чем не иметь никаких. Ведь общество не может жить совсем без законов? Отсюда выйдет своеволие, каждый станет поступать, как ему кажется правильным, а *своеволие* человека — это хуже всего.

Я узнал любимое слово Достоевского, вспомнил “Вехи” и другие памятники русского рабства. Дискуссия потеряла для меня интерес.

Мой собеседник сидел в дачном соломенном кресле, несколько расслабившись, явно довольный собой. Правую руку он положил на стол, а левой поглаживал лежавшую у его ног собаку. В этом жесте была самая симпатичная черта его характера — природная доброта. Он был недалёкий, мальчишески тщеславный человек, но была в нём эта доброта: в том, как он гладил собаку, было больше смысла, чем во всем, что он говорил. Человек этот плохо кончил: гебистам удалось его в чем-то убедить.

Впоследствии я слышал, как те же взгляды выражали люди гораздо лучше его. В сущности, мышление диссидентов не содержало ничего другого. Сами они называли себя “правозащитниками” или “правозащитным движением”, но откуда-то возникло странное выражение “инакомыслящие”, вобравшее в себя все виды несогласия с советским начальством. Не знаю, кто выдумал это слово, вернее использовал это несколько тяжеловесное слово с ироническим оттенком для обозначения нашей оппозиции. Может быть, его пустили в ход иностранные корреспонденты, потому что есть в нём какое-то нерусское непонимание. В самом деле, инакомыслящими называют тех, кто мыслит *иначе*, не так, как кто-то другой, но кто же этот *другой*? Какому мышлению противостояли взгляды наших недовольных интеллигентов? Если имелось в виду *советское* мышление, то ничего подобного давно уже не было, остались немыслящие чиновники с их правилами игры. Как мне кажется, иностранные корреспонденты, привыкшие встречать у нас сплошное *единомыслие*, были настолько удивлены этими первыми проявлениями недовольства, что не разобрались, в чём состоят эти новые взгляды: их удивило, что советский человек вообще может иметь какое-то собственное мнение. Представьте себе, что перед вами вдруг заговорит собака: уверяю вас, вы не услышите, что именно она говорит.

Да, я думаю, что термин “инакомыслящий” изобрели иностранные корреспонденты; скорее всего, они сначала вспомнили английское слово “диссидент”, а потом уж его перевели. Английское слово, вовсе не имеющее иронического смысла, оказалось очень удачным,

оно ясно выражает существо дела. Здесь нет заслуги корреспондентов, просто вышло случайное совпадение слова с предметом. Но что же, собственно, означает слово "диссидент"? Это английское слово, возникшее в восемнадцатом веке, означало сектантов, отколовшихся от государственной религии. По-русски их можно было бы назвать "раскольниками", и точно так же, как русские раскольники, английские диссиденты вовсе не были безбожники, не отвергали христианскую веру. Безбожники, или атеисты, уже появились в то время, но их было очень мало. Диссиденты же были верующие христиане, не согласные всего лишь с какой-нибудь из тридцати девяти статей англиканского вероучения. Лишь очень упрямые ортодоксы могли называть их безбожниками, что было очевидным образом несправедливо. Их стали называть "диссидентами", что означает — "отколовшиеся", "раскольники". Стало быть, диссиденты — это люди, в чём-то несогласные с официальной доктриной, но в основном той же веры.

Таковы были и советские диссиденты. Они вовсе не были врагами советской системы и не имели собственных политических взглядов, да им и неоткуда было взять такие взгляды. Многие из них выросли без отцов, погибших в лагерях или на войне, а у других уже отцы верили в советскую власть. Старая интеллигенция была истреблена, это была новая, советская интеллигенция: инженеры, физики, математики, программисты. У них был очень ограниченный круг понятий, бедное чтение, даже у тех, кто получил гуманитарное образование; да и что у нас называется гуманитарным образованием?

Я убедился, что они мыслили примерно так же, как другие учёные и инженеры их поколения. Посещая моих новых знакомых, я внимательно рассматривал их книжные полки: самое надёжное свидетельство о человеке — его книги. Но диссиденты, по-видимому, вообще мало читали. На полках у них стояли "подписные издания классиков", книги советских писателей и переводы западных, коечто из декадентской поэзии — и, конечно, более обычное чтение, детективы и фантастика. Ни в одном случае я не видел особенных, подобранных книг, какие бывают у мыслящих людей. Диссидентам некогда было читать, всё их время смолоду поглощала служба, а потом диссидентская суета, о чём я дальше расскажу. Ещё больше о них говорила музыка: я почти всё знаю о человеке, если знаю его музыку. Помню, как я удивился, увидев на фотографии одного из самых учёных диссидентов — он сидел у туристского костра с гитарой в руках. Гитара у нас очень определённый инстру-

мент, теперь это не цыганские романсы, а Окуджава и Высоцкий. И всё же у меня с ними были общие чувства.

Эти люди мыслили так же, как другие, но чувствовали лучше других. Диссиденты были люди с обострённой чувствительностью; несомненно, здесь была не только личная способность к нравственному переживанию, но и семейная традиция. Часто это были потомки интеллигентных семей, потерявших своё мышление, но сохранивших некоторые эмоции. Напрашивается мысль, что эти эмоции перешли к нам от матерей, заменивших отсутствующих отцов, но это слишком простое объяснение: я видел ещё старых женщин из интеллигентных семей. Выпало всё поколение или два поколения, и прервалась преемственность культуры. Во всяком случае, диссиденты были удручающе некультурны.

Они были лучше своего окружения, потому что чувствовали жестокость и ложь нашей жизни. Но они были воспитаны в *советских* взглядах, и даже если пытались усвоить какие-нибудь другие взгляды, внутренне всегда оставались советскими людьми. В этом была их трагедия: они были обречены протестовать против советской действительности, не умея выйти из советской идеологии.

Вспомним, чем была эта идеология, и чем она остаётся ещё в подсознании людей, желающих о ней забыть. В основе её лежали идеи Маркса, то есть коммунистическое учение о человеке и обществе. По этому учению, история должна завершиться созданием бесклассового общества, где будет уничтожена эксплуатация человека человеком. Это будет самое свободное общество, потому что государство отомрёт. В нём будут созданы все условия для безграничного развития человека. Каждый будет получать от общества всё, что ему нужно, просто потому, что он человек.

Марксисты не сомневались в том, что смогут осуществить эту утопию без насилия, или с минимальным насилием. Таким образом и действовали социалисты в Западной Европе, но большевики, как известно, пошли другим путём. В устроенной Сталиным новой России, казалось, не было места для благородных утопий; но такое место осталось — доктрина по-прежнему внедрялась в детские мозги. Наши диссиденты учились в те годы, когда эта доктрина принималась всерьёз, в большинстве случаев её принимали всерьёз родители и учителя.

Сталин пытался подменить эту идеологию русским национализмом, и отчасти в этом преуспел. В идейный багаж диссидентов входили уже понятия родины и русского патриотизма, глубоко чуждые большевикам. Получалась безвкусная, подозрительная смесь несов-

местимых идей, приемлемая только для наивных умов — но они и были наивны. И, конечно, на всё это наложился слой западной пропаганды, твердившей о “правах человека”. Но Сталин ввёл уже эти права в свою конституцию, и, как мы видели, её тоже принимали всерьёз. Наши диссиденты были уж очень серьёзные люди — в мире советских идей они были моралисты, а я был, в некотором смысле, юморист.

Люди, воспитанные в советской системе взглядов, и никогда с ними, в сущности, не расстававшиеся, могли верить, что советская власть исправится, как только голос общественного мнения дойдёт до советского начальства. Точно так же, русские люди верили прежде в добрую волю своего монарха и ожидали, что их рабство падёт “по манию царя”. Это исконная установка русской психологии, ожидание всех благ от попечительного начальства; ведь в России никогда не было самоуправления, и всякая самодеятельность была запрещена.

Многие диссиденты верили, что начальство уступит общественному мнению, и старались сформировать это мнение, составляя петиции в верноподданническом духе. В них говорилось, что мы, советские граждане, находим неправильным применение такой-то статьи в таком-то деле, и просим начальство пересмотреть это дело. Такая форма деятельности развилась в середине шестидесятых годов, и мне странно было видеть, с каким усердием занимались этим люди гораздо старше меня. Замысел их был в том, чтобы вызвать некую цепную реакцию в общественном мнении и воздействовать таким образом на политбюро. Первые “протесты” этого рода в самом деле вызвали некоторую растерянность начальства, не привыкшего к подобной дерзости и не знавшего, как на неё реагировать. Видя эту растерянность, диссиденты приходили в лихорадочное возбуждение, предвкушая реформы. Но аппарат скоро справился с трудностью: кое-кого посадили, других запугали, и протесты прекратились.

Самый массовый из этих “протестов” собрал свыше семисот подписей. Людей, подписавших какой-нибудь документ в этом роде, стали называть ужасным словом “подписанты”. Нам вообще не везёт с партийной терминологией: черносотенцев, входивших в “Союз русского народа”, называли “союзниками”, а их нынешних подражателей из “Памяти” называют “памятниками”. Что ж, лучше уж быть “подписантом”.

“Подписанты” придерживались некоторых этических правил: считалось обязательным указывать фамилию, имя и отчество, про-

фессию или учёную степень, а в ряде случае приводился ещё адрес и телефон. Всё это должно было создать впечатление советской легальности документа, но был здесь ещё и другой мотив. Дело в том, что подписать такую бумагу считалось чем-то вроде гражданского подвига: скоро выяснилось, что за это могут уволить с работы и даже посадить. Выписывая свой адрес и телефон, "подписант" вовсе не думал, что без этого ГБ его не найдёт, а бросал некоторым образом вызов общественному злу, доказывая себе и другим свою храбрость. Как во всякой группе людей, в числе диссидентов было некоторое число храбрых людей, но больше робких. Конечно, эти адресные данные свидетельствуют скорее о робости бедных "подписантов", старавшихся подавить в себе въевшийся страх. Многие из них потом каялись и получали прощение.

Лучшие из диссидентов не верили в подаваемые начальству бумаги и признавали, что это для них форма нравственного очищения, нечто вроде толстовского "не могу молчать". Они готовы были расплачиваться за свою чистоту и не каялись. Но они точно так же принимали всерьёз советские законы, и повторяли вслед за Платоном: "Если мы потеряем эти предания, то где и у кого возьмём мы другие?" Да, так сказал божественный Платон, тоже известный в своё время диссидент.

Этих людей я знал, и некоторых из них любил. Я часто бывал в одной из квартир, где собирались диссиденты. Хозяин квартиры был в ссылке, а хозяйка вела активную деятельность. Её долго не трогали, но потом наступил её черёд, и она отсидела своё. Это была женщина редкой храбрости, с железными нервами, как будто пришедшая из другой эпохи. Я часто представлял себе, будто она пришла к нам из "Народной Воли", но вряд ли ей понравилось бы это сравнение. Она была слишком занята, чтобы думать об идейной стороне дела; она просто занималась своим делом и готова была отдать за него жизнь. Однажды, наедине, я рассердился и сказал ей, что она, в сущности, техничка. Она поняла, что я имел в виду, и грустно улыбнулась.

В её квартире собирались диссиденты, и там удобно было их наблюдать. Не сомневаюсь, что и гебисты оценили это удобство: это была одна из самых известных квартир. Я знал, что всё здесь прослушивается, я контролировал каждое слово, но другие гости вели себя непринуждённо и смело говорили обо всем. Я не понимал, как можно обсуждать в такой квартире какие-нибудь дела, но они как

будто бросали вызов врагу. Посетители сменяли друг друга, а вечером набивалась целая компания. Многие приводили знакомых, и трудно было уберечься от стукачей. Но больше всего меня удивляло, как диссиденты использовали телефон.

Все их телефоны, конечно, прослушивались, но они редко думали об этом. Правда, хозяйка этой квартиры всё-таки проявляла некоторую осторожность и в особых случаях шла звонить к соседке, но гебисты, конечно, знали и тот телефон. Чтобы узнать, что их интересовало, требовалось немного ума. Однажды мне пришлось целый день просидеть на квартире одного из моих друзей, отнюдь не типичного диссидента. Он был занят, однако, типично диссидентскими делами и провисел весь день на телефоне, улаживая эти дела; вся его деятельность, таким образом, записывалась в ГБ. Когда я ему это сказал, он возразил, что другим способом не мог бы выполнить столько дел, связаться с множеством людей в Москве и в других местах. Всё это означало лишь, что надо было использовать другой телефон, самый незаметный из московских телефонов, но этого я ему не сказал. Очевидно, за его кипучей работой стояло неверие в конечный успех.

Другой случай меня особенно поразил. По телефону говорила женщина нисколько не глупее меня, но с другими привычками, и ей понадобилось назвать какую-то фамилию. Конечно, по телефону особенно вредно называть фамилии, а это был очень известный телефон. И тут я услышал нечто невероятное: эта женщина, не сразу найдя нужную фамилию, стала небрежно читать целый список из записной книжки, пока не наткнулась на требуемую! В таких случаях поведение людей нуждается в объяснении: они могли понять, что делают, но не хотели понять, и я спрашиваю себя, почему. Как я уже сказал, я бывал в квартире, где собирались диссиденты, и можно было слушать, о чём они говорят в своём кругу. Отчасти это были практические дела, которые лучше было обсуждать в другом месте, но главным образом они просто общались между собой: по вечерам это был диссидентский клуб. Общество их резко отличалось от того, какое можно было увидеть в обычной московской квартире. Люди здесь были лучше, они жили бескорыстной, опасной жизнью и мало думали о себе. Здесь я узнал некоторых из моих друзей, и если им не понравится, что я дальше напишу, надеюсь, они мне простят.

Здесь редко говорили о житейских делах, помню, как я был удивлён, когда две сестры, известные своей храбростью, вдруг принялись примерять какую-то шляпку: мне трудно было видеть в них

просто женщин. Обычно здесь обсуждались не свои, а чужие дела, точнее — судебные дела. Кого-нибудь всё время сажали, судили, держали в тюрьме, это были родственники и друзья, знакомые и незнакомые. В каждом случае возникал юридический вопрос, потому что в каждом деле нарушался какой-нибудь закон.

Я пытался понять их юридическую одержимость. Сначала я сравнил их со спортивными болельщиками, и это сравнение мне не понравилось: их фиксация на подробностях посадки очень уж напоминала игру. Потом я пришёл к ещё худшему сравнению, вспомнив психологическую игру ПИР (Полицейские и Разбойники).

Это игра воров-рецидивистов, выходящих из тюрьмы лишь для того, чтобы скорее туда вернуться. Я понимаю, уважаемый читатель, что вас возмущает такое сравнение, но психология вообще возмутительная наука: оказывается, что поведение этих воров служит моделью очень распространённого человеческого поведения — как говорили древние, все мы из одной муки. Так вот, воры в большинстве случаев жалкие неудачники; они непременно попадаются, и отнюдь не случайно: каждый оставляет на месте преступления некие следы, помогающие их поймать. Дело в том, что главный интерес их жизни — вовсе не добыча, а игра с полицией, очень похожая на детскую игру в прятки. Детские игры вообще доставляют простейшие схемы поведения, по их образцу складываются игры взрослых, о которых говорит доктор Бёрн в своей книге об играх. Если вы помните, как играют в прятки, то не надо вам объяснять, что главное удовольствие этой игры состоит как раз в поимке того, кто спрятался; если же он спрятался так хорошо, что его не могут найти, это вовсе не вызывает восторга у других играющих — напротив, его винят в том, что он “испортил игру”. Удачливые воры, заинтересованные не в игре, а в добыче, попадаются очень редко; из них выходят не тюремные сидельцы, а преуспевающие дельцы. Но обычные воры попадаются всю жизнь, снова и снова: они играют с полицией в прятки.

Многие диссиденты принадлежали к тому же психологическому типу. Главный интерес их деятельности составляла игра в ПИР с советским начальством, а момент посадки был кульминацией игры, когда игрок получает свой выигрыш; игры, в которые играют взрослые люди, — это мрачные, извращённые игры, вовсе не похожие на весёлые игры детей.

Я был всегда убеждён, что общественные дела требуют рационального подхода. В общественные дела, как я думаю, не надо *играть*, их надо превратить в обдуманные *процедуры*, каждый раз

отчётливо формулируя поставленную цель и ведущие к этой цели средства. Но для этого, — настаивал я в своих разговорах, — надо, прежде всего, иметь *цель*. Рассуждения этого рода казались моим друзьям-диссидентам бесконечно далёкими от действительности, и они дали мне кличку "марсианин". Советская система казалась им несокрушимой — чем-то вроде климата, окружающего нас всю жизнь, на данной широте и долготе. В их психической установке была безнадёжность. В "эпоху застоя" внешняя жизнь давала нам мало надежд. Должен сознаться, что я и не рассчитывал в те годы на быстрые перемены. Жизнь обогнала мои расчёты, и слава богу.

Безнадёжность коренилась в том, что диссиденты не могли назвать свою *цель*, более того, отрицали в общественных делах самое понятие цели. Когда я впервые услышал такую точку зрения, я не поверил своим ушам: без цели можно лишь жаловаться, но нельзя *работать*. Потом я узнал в их установке старую русскую идею, о которой говорил Бердяев. Русский человек всегда считал, что общественная жизнь изначально порочна, потому что видел в ней произвольную власть над людьми; он испытывал отвращение к власти, сваливал это зло на своих господ, и вместе с тем возлагал на них ответственность за свою судьбу. В такой психической установке всегда было рабство: человек, не способный изменить условия своей жизни, в сущности, теряет к ней интерес. Так было в Индии, в Китае и в России. Рабское общество порождает рабствующий дух: в этом объяснение фатализма, убивающего в человеке желание, и тем самым — цель. Устранить цель — значит убить желание, значит убить жизнь. Я часто им это объяснял, но не мог объяснить.

За "целью" диссидентам чудилась партийная программа, а всё относящееся к партиям и программам вызывало у них ужас. Они знали только *одну* партию, и не представляли себе никаких других форм общественной организации. Как только заходила речь об организации, им мерещилась одна и та же схема: сначала программа, потом цека, и непременно чека. Они настаивали, что вовсе не занимаются *политикой*, и понимали это слово лишь в самом грязном смысле.

По их словам, они всего лишь боролись за права человека, не пытаясь изменить советский государственный строй. Но в тоталитарном государстве не может быть никаких прав человека, каковы бы ни были его юридически фикции. Кто требует в таком государстве прав человека, и вообще соблюдения писанных законов, тот посягает на государственный строй. В Советском Союзе жизнь под-

чинялась неписаным законам, и каждый советский подданный это знал. Таким образом, то, чем занимались диссиденты, *было* политической деятельностью.

Но их деятельность была чисто реактивной: они просто реагировали на поведение властей, посылая начальству петиции и протесты. За это ещё кого-нибудь сажали, они снова писали протесты, и так далее, как в русской сказке про белого бычка. Поскольку это была политическая деятельность, естественно подумать, каковы были её политические результаты.

Наш народ мог узнать о диссидентах только по иностранному радио. Что же о них можно было узнать? Простые советские люди слышали, что умные и образованные люди, точно так же, как они сами, *верят в советский закон, принимают советский строй и надеются лишь на добрую волю советского начальства.* Объективно весь этот хор подписантов лишь укреплял рабскую установку советского человека. Конечно, в народе были и другие люди, знавшие цену казённой словесности: нетрудно понять, с какой яростью слушали они верноподданнические протесты и петиции диссидентов, в почтительном изложении иностранцев. Но диссидентов никогда не тревожило, что о них думает умный простой человек.

Диссидентская тема в передаче западных "голосов" представляет жалкую картину нравственного убожества и глупости советского мещанства. Это неприятная правда, но правда, и кто-нибудь должен её сказать.

— Что же, — спросите вы, — разве не было у диссидентов благородного негодования, искреннего сочувствия к жертвам беззакония? Это у них было, но их движущим мотивом было лишь стремление облегчить своё душевное состояние, успокоить свою совесть. Они не думали о последствиях своей политики, даже не понимали, что вообще занимаются политикой, — тем хуже были их политические результаты. *Правозащитная фразеология служила укреплению советских иллюзий.* Таков будет приговор истории, а на историю некуда подавать протест.

Была ещё другая деятельность диссидентов, внушающая мне больше уважения: прямая помощь заключённым и их семьям. Люди, занимавшиеся этим незаметным делом, умели кое-что организовать, но писать об этом рано: у нас всё ещё действует ГБ. Это была подлинная борьба за права человека, но для борьбы нужна армия, а у нас была только медицинская часть.

Серьёзным общественным явлением был самиздат. Это было стихийное сопротивление советской системе, гораздо более широкое, чем описанное выше “правозащитное движение”. Для типичных диссидентов самиздат был побочным занятием, но многие люди, вовсе на них не похожие, занимались самиздатом всерьёз и старались укрыть эту работу от ГБ. Помню старого профессора, просидевшего при Сталине много лет; сохранив мужество и бодрость, он не только вернулся к своей науке, но превратил свой дом в фабрику самиздата. Дом его стоял в лесу, на окраине Москвы, это был подлинный оазис в пустыне застоя. Машинисткой была его дочь.

Главным содержанием самиздата была запретная художественная литература. Началась она в годы хрущёвской “оттепели”, когда Россия стала шевелиться в своём кошмарном сне. Многие надеялись тогда, что советская власть сама по себе исправится, что она уже начала исправляться. Я не надеялся на оттепель, но усердно читал всё, что мог достать, особенно польские газеты и журналы. После 56-го года я выучил польский язык, чтобы следить за передним краем *нашей* борьбы — как странно звучали в ту пору эти слова! Я пытался угадать, что происходит в Польше, — угадать по жалкой клевете наших врагов, потому что мог достать лишь казённую польскую печать.

Итак, я усердно читал польские газеты и журналы, в частности, газету “Политика”, самую либеральную из допускаемых к нам газет. Издавал её господин Раковский, впоследствии сыгравший даже некоторую историческую роль; во всяком случае, это он скомандовал вынести партийное знамя, когда его партия закрыла свой последний съезд. Но тогда товарищ Раковский не знал ещё, что ему придётся командовать на собственных похоронах; тогда он был самый левый из партийных либералов — или самый правый, это уж зависит от того, откуда вы рассматриваете ваш политический горизонт. На страницах “Политики” можно было прочесть интересные вещи, например, переводы из западных изданий, да и самый тон этой газеты производил впечатление. Помню, я прочёл там воспоминания о Гитлере, а в конце их было обещание: в следующих номерах пойдут материалы о *Сталине и Муссолини*. В общем, господин Раковский фрондировал вовсю. Однажды, перелистывая новый номер, я увидел русские имена в особой обстановке; обычно я пропускал беллетристику, но это был “Иван Денисович”, так что я сначала прочёл его в польском переводе. Конечно, я затем достал “Роман-газету” и прочёл подлинник. Так я впервые столкнулся с запретной литературой; вскоре “Иван Дени-

сович” и первые рассказы Солженицына были изъяты из библиотек, а потом уже всё шло через самиздат.

В моем окружении стали появляться книги и статьи, напечатанные на машинке под копирку или на ротапринте; обычно это были бледные копии на плохой бумаге, неумело переплетённые, но чаще сложенные в папку с какой-нибудь невинной наклейкой.

В самиздате до нас дошли первые два романа Солженицына — лучшее из всего, что он написал, — а потом и другие авторы, среди них Шаламов, Гроссман, роман Пастернака “Доктор Живаго” и стихи Галича. Здесь не место эстетической критике, и я говорю о них не потому, что всё это хорошая литература: Галич не очень значительный поэт, но плёнки с его песнями обошли всю страну и действовали даже на тех, кто вообще ничего не читал.

Историческое значение имел “Архипелаг”: дети лагерных узников обычно не знали о судьбе своих отцов, а иностранцы могли всё знать, но не хотели верить. Талант Солженицына, подлинность его личного опыта заставили поверить всех. Конечно, Солженицын никогда не понимал, что такое коммунизм, хотя и верил в него сам, но ведь можно сначала верить, потом не верить, и никогда не понимать. Он рассказал, *что знал*, а уж наше дело всё это понять.

Рядом с “Архипелагом” стоят книги Анатолия Марченко, отдавшего свою жизнь за свободу других. Но Марченко был совсем не диссидент, он был предтеча нашего рабочего движения. Он не чтил советских законов, не имел советских иллюзий, и незачем говорить о нём в этой статье. Таким людям принадлежит будущее, а мы теперь рассчитываемся только с прошлым.

К прошлому России относятся диссиденты-ретрограды, желающие вернуть историю вспять. Самым известным из них является Солженицын, теперь уже вряд ли серьёзный писатель, скорее плохой журналист. Я знал некоторых представителей этого направления, но никогда их не любил. Александра Исаевича я тоже не люблю, хотя и признаю его прошлые заслуги. Короче говоря, эти люди — мои политические враги.

Можно спросить, почему я их тоже зачисляю в диссиденты. В самом деле, эти люди изображают из себя решительных врагов советской власти, осуждают не только октябрьскую, но и февральскую революцию и хотят вернуться к царской России. Но я уже говорил, что советская власть давно уже отошла от своей марксистской доктрины. В брежневское время этот идейный груз, унаследованный от

большевиков, уже тяготил наших аппаратчиков; по существу, единственно близкой идеологией стал для них восстановленный Сталиным русский национализм.

Ту же эволюцию проделал Солженицын. Он разошёлся с советской властью, когда эта власть посадила его в тюрьму, а до того был пламенным коммунистом. Собственно, в тюрьму он попал за то, что принимал всерьёз коммунизм, в то время как чиновники превратились в русских патриотов. Но когда Александр Исаевич обратился в тюрьме против коммунизма, то он вовсе не удалился от советской власти, а приблизился к ней, преодолев, так сказать, свою идейную отсталость. Естественно, он видел в своих тюремщиках большевиков, но они были ближе к его новому мировоззрению, чем сидевшие с ним старые большевики. Этих упрямых мечтателей он не понимал, и страницы "Архипелага" наивно свидетельствуют об этом непонимании. Читая эти страницы, трудно поверить, что сам он, задумав сделаться писателем, хотел написать эпопею под названием ЛЮР, Люби Революцию. Теперь он исполнил свой юношеский замысел, но в обратном смысле, *против* революции: эпопея называется "Красное колесо".

Люди, совершающие в некоторый момент своей жизни идейный поворот на 180 градусов, испытывают при этом тяжёлую нагрузку, страшный психологический стресс. И если новый Солженицын, православный и монархист, не понимает больше коммунистов, то здесь нет притворства, это подлинная патология всех искренних ренегатов. Я применяю это слово в его первоначальном смысле: так называли человека, сменившего веру; не моя вина, что оно никогда не звучало похвалой. Конечно, наши чиновники в моральном смысле так не страдали. Они просто поступили на службу, когда Сталин истребил большевиков, и им пришёлся по вкусу новый идейный курс. Как вы понимаете, я провожу здесь не моральную, а *идейную* параллель: попытайтесь не возмущаться, и вы поймёте, в чём она состоит. Человеческая судьба Солженицына была непохожа на судьбу его тюремщиков, но они вышли на одно с ним идейное направление — русский национализм.

И вот, Александр Исаевич решил по-христиански простить своих мучителей и заключить с ними союз. Я имею в виду известное "Письмо вождям", напечатанное в 74-ом году. В Брежневе и его товарищах он видел русских людей с близкими ему понятиями, да и в самом деле, у Солженицына куда больше общего с советскими чиновниками, чем с любым типом виденных им иностранцев. Ему есть о чём поговорить с этими людьми, и он решил поговорить с

ними по душам. Напомню, что именно в этом письме он неосторожно употребил выражение “авторитарная власть”, очевидно, не зная, кто пустил его в ход. Потом ему пришлось объяснять, что он не враг демократии, но поверили этому не все.

Александр Исаевич вообще наивен, в политике он не реалист. В сущности, он предложил членам политбюро открыто отказаться от марксизма и перейти к русской национальной идеологии, но на этой почве их мог бы заменить какой-нибудь князь. И потом, он хотел повернуть Россию к частному хозяйству, где тоже нет места для партийных чинуш. По существу, Солженицын предложил им уйти и дать ему перестроить Россию на свой лад. Он и теперь не прочь, как видно из его последней статьи.

Итак, идейное развитие Солженицына шло параллельно развитию советской власти. Расставшись с коммунизмом своей юности, он готов был примириться с ним в его брежневском варианте, при условии, что эта власть будет столь же авторитарной и более национальной. Он и теперь готов смириться с остатком этой власти — президентским режимом Горбачёва. Как видите, он всё-таки диссидент, но отнюдь не правозащитник, права человека его не беспокоят. Он коллективист, главное для него не человек, а нация, и он строит утопические планы для русской нации, какой уже давно нет.

Больше всего Солженицын ненавидит демократию и западный образ жизни. Он долго живёт на Западе, видел его по-своему, и то, что увидел, ему глубоко чуждо. Он хочет любой ценой предохранить Россию от этой заразы. Его раздражает чрезмерная свобода, и больше всего — свободная печать. В общем, по его убеждению, России подходит только авторитарный строй. То же убеждение выразил Герман Геринг во время нюрнбергского процесса. Журналистам удалось однажды взять у него интервью, и его спросили, что бы он сделал, если бы унаследовал власть; он сказал, что некоторые вещи изменил бы, но в основном оставил бы ту же систему, потому что Германии подходит Führerprinzip.

Конечно, Солженицын советский диссидент, но я не настаиваю на этом слове: если вам угодно называть диссидентами только правозащитников, придумайте для ретроградов другое название. Я рассказал на примере Солженицына, кто они такие. Он один из них имеет значение, остальные вполне ничтожны, и почти все представляют другой моральный тип. Надо различать ретроградов-мучеников от их аппаратных единомышленников, ретроградов-христопродавцев. Эти последние, подобно либеральным партийцам, ничем не рисковали при застое, а теперь всплыли на мутной воде перестрой-

ки. Я имею в виду шовинистов из общества “Память” и примыкающих к нему журналов. Мысли их почти не отличаются от мыслей Солженицына, хотя Александр Исаевич хотел бы по-христиански приглушить антисемитский лейтмотив; когда-то с еврейской проблемой намучился уже Достоевский, его идейный предок. Но, конечно, в моральном смысле он от них далёк, и кое-чего им не может простить: ведь они обливали его грязью в час изгнания, и теперь его не обрадуют их объятия. Пожалуй, это одна из причин, мешающих ему вернуться.

Солженицын и его друзья — это прошлое России. Оно не вернётся, а сам он может вернуться или нет; это всё равно. Значение его тоже в прошлом, и всё, о чём я говорю в этом письме, уже прошло. Пора обратиться к будущему, но я хотел бы рассказать ещё о двух встречах с диссидентской средой, которых не могу забыть. Они касаются двух уже умерших людей.

Первый из них — поэт Александр Галич. Я видел его лишь один раз, недели за две до его отъезда за границу. Друзья сказали мне, что он даёт концерт в одной московской квартире, и я пошёл с ними, рассчитывая увидеть там цвет московского диссидентства. Сам Галич мало меня интересовал — дальше объясню, почему.

Концерт был в трехкомнатной малогабаритной квартире, куда набилось человек пятьдесят, я не представлял себе, как их можно будет усадить. Хозяйка выглядела озабоченной, предприятия такого рода были небезопасны. Как мне сказали, она носила фамилию Арманд и была, кажется, племянницей известной Инессы Арманд, возлюбленной Ленина.

Я не знал никого из публики, кроме пришедших со мной друзей, но эти люди, казалось, все знали друг друга. В них было что-то особенное, отличавшее их от обычных москвичей, и я пытался определить это их общее свойство. Мне кажется, это была особенная чувствительность и доброта, как у детей из хорошей семьи, и в них было в самом деле что-то детское — больше у старых, меньше у молодых. Я понял, что передо мной последние остатки русской интеллигенции. Они пришли проводить своего поэта, но это не был уже мой поэт.

Два лица привлекли моё внимание: лицо старой женщины и лицо девушки. Старая женщина не была похожа на других, в ней была сосредоточенность и суровость. Я не решился спросить, кто она. У девушки было особенное, не то что красивое, а какое-то сияющее

лицо с глубокими глазами. Я познакомился с нею после концерта, и мы долго бродили по улицам Москвы. Она уже отсидела год по какому-то делу, была детски наивна и говорила странные вещи. Помню, был разговор о том, что выпустили Петра Якира, выдавшего всех своих товарищей. Он ходил по Москве, и диссиденты сомневались, надо ли ему подавать руку: ведь если не подавать руку, он может отчаяться. Моя спутница тоже не могла решить этот вопрос.

Её уже нет в живых, гебистам понадобилось убрать её. Её переехали грузовиком.

Наконец, Галич явился. У него было полное, чуть одутловатое лицо с чувственными губами, и выражение лица мне показалось мрачным. Его повели в боковую комнату, где было приготовлено угощение. Гости туда не ходили, но Галича полагалось угостить: мне говорили, что он мог творить только после такой подготовки. Я мог его раньше слышать, но не слушал. Однажды меня пригласили на концерт каких-то бардов, тоже в частном помещении. Я знал уже, то барды не имели отношения к скалам старца Оссиана: это были бородатые мужчины с гитарами, исполнявшие свои песни под звуки какого-то монотонного бренчания, причём разрешались непристойности, но, по-видимому, строго запрещались мелодии. Слушать бардов я не хотел. После концерта ко мне пришла знакомая и стала распекать меня за это: оказалось, что там выступал некий Галич, что остальные барды не имели значения, но Галича непременно надо было слышать. Когда я выразил сомнение, она вытащила тетрадку с напечатанными на машинке стихами и принялась их нараспев читать своим тонким пискливым голосом. По её чтению нельзя было узнать, стихи это или нет. Я выхватил у неё из рук тетрадку и стал читать сам. Это были стихи, но неумелые и неприятные стихи. Для меня русская поэзия — это, прежде всего, стихи Пушкина, на которых я воспитан, и вся приличная поэзия на русском языке вышла из пушкинской традиции. Но была и другая традиция, не столь приличная: это были чувствительные романсы, а в советское время — сочинения попрошаек, поющих в электричке. Я понял, что Галич относится к этой другой традиции, но отделаться от него нельзя. В его песнях обрела свой голос нынешняя Россия — жалко-мещанская и нагло-блатная Россия, потому что другой у нас уже нет.

Потом я слышал его песни с плёнок, они были повсюду, их просто нельзя было избежать. В этом прощальном концерте он пел плохо, слабым надтреснутым голосом: ясно было, что он петь не мог, но не решился отказаться. Все почтительно слушали. Когда он кончил, ему стали заказывать другие песни на бис. Старая женщина, о ко-

торой я говорил, просила его исполнить не включённое в программу произведение под названием “Я выбираю свободу”. В этой песне Галич говорил о том, что никогда не уедет, а лучше пойдёт в тюрьму, потому что он выбирает свободу; и теперь он уезжал. Заказывать эту песню было жестоко, но мне сказали, что старая женщина имеет право на такую жестокость, это была С.В.К., адвокат безнадёжных процессов, знавшая, что почём в диссидентской среде.

Галич уехал и недолго прожил на чужбине. Как водится, в его смерти обвинили ГБ, но я в это не верю. Уехавший Галич потерял для них интерес.

Другая встреча была с друзьями Сахарова. Я никогда его не видел и не хотел видеть, но у нас были общие знакомые. Естественно, речь зашла об этом знаменитом человеке; он стал уже в то время диссидентом, но ещё не был сослан, а давал в Москве интервью приезжим иностранцам. Я сказал как нечто само собой разумеющееся, что мотивом поведения Сахарова было раскаяние. Как это ни странно, один из друзей Сахарова стал на это возражать:

— Нет, он не раскаивается, — сказал он, — да и в чём ему каяться?

Мне показалось, что я ослышался. Мой собеседник был человек с умом и сердцем, более того — с чувствительной душой. Я решил напомнить:

— Ведь он сделал для Сталина водородную бомбу.

— Ну и что же? — услышал я в ответ.

Я не догадался промолчать и пустился в объяснения.

— Представьте себе, — сказал я, — что какой-нибудь немецкий физик сделал бы для Гитлера атомную бомбу, не водородную, а просто атомную бомбу.

— Что же тут общего с Сахаровым? — возразил мой собеседник, умный и чувствительный диссидент. На этом я прервал разговор и задумался. Всё это мне показалось странным настолько, что я не сразу нашёл объяснение. Оно было просто — и ужасно.

Мнение этого человека не было случайно: другие, присутствовавшие при этом разговоре, были с ним согласны. Они хорошо знали Сахарова. Он и в самом деле не раскаивался, а они в самом деле не понимали, в чём Сахаров должен каяться.

Не правда ли, это странно? Сахаров, вместе со своим учителем, известным физиком Таммом, сконструировал в начале пятидесятых годов советскую водородную бомбу, выполнив задание Сталина. В это время диктатор собирался начать третью мировую войну, устро-

ив внутри страны ещё один, совсем большой террор. Смерть помешала ему достойно завершить свою биографию. Он умер в марте, а бомба была испытана осенью, — но кто же мог знать, когда он умрёт?

Я видел однажды Игоря Евгеньевича Тамма, это был почтенный седовласый старик. Он читал доклад о генетике и все восхищались, как смело он выражает запретные взгляды. Конечно, он должен был понимать, что делает. Но Сахарову было в то время двадцать пять лет, и он *мог* ничего не понимать.

Прошло много лет, Сахаров сделался диссидентом, отбыл свою горьковскую ссылку и был с почётом возвращён в Москву. Незадолго до смерти он дал интервью одной из советских газет. В частности, ему задали вопрос, что он думал, когда работал над водородной бомбой. Умудрённый жизнью диссидент ответил:

— Мы подробно обсуждали этот вопрос в нашем коллективе и пришли к общему мнению: нужно делать бомбу. Это нужно было для равновесия сил, и я был уверен, что наша работа поможет предотвратить войну.

— Вы и теперь так думаете? — спросил его корреспондент.

— Да, я и теперь так думаю, — подтвердил Андрей Дмитриевич.

Первая реакция на такое заявление — ужас перед человеческим безумием. Но ведь это не безумие отдельного человека. Друзья Сахарова разделяли его мнение. Для них — и для многих других диссидентов — вся эта история представлялась в ином свете. То, что сделал Сахаров, они воспринимали как *патриотический подвиг*, а то, что потом сделали с ним, — как чёрную неблагодарность. Это были диссиденты, одни из лучших диссидентов, и, право же, мне больше нечего о них сказать.

Между августом и октябрём

И вечный бой — покой нам только снится.

В августе 17-го года была подавлена попытка “правого” переворота, так называемый корниловский мятеж; в октябре был успешно проведён “левый” переворот в Петрограде, названный октябрьской революцией. Нынешнее лето во многом похоже на то злополучное лето. Как и в том году, империя распалась на части, провозгласившие себя национальными государствами; органы власти, потерявшие всякий авторитет, работают вхолостую; распались хозяйственные связи и возникла опасность голода. Поскольку наша способность предвидеть будущее опирается на исторические аналогии, многие предсказывают ещё один переворот, за ним гражданскую войну и, конечно, тоталитарную диктатуру. Если бы аналогии были столь надёжны, то предсказание будущего было бы лёгким делом. Но можно заметить, что ситуация 17-го года коренным образом отличалась от нынешней: внешнее сходство событий означает лишь развал государства, и ничего больше.

Все упомянутые события неизбежно должны были сопровождать развал такого государства, сохранившего, при всех различиях в идеологии, чудовищную власть центрального аппарата над всеми проявлениями жизни. Поскольку империя была и осталась конгломератом насильственно завоёванных наций, любое ослабление центральной власти должно было привести к её распадению по более или менее естественным национальным границам. Далее, хозяйственные эксперименты, принимающие в таком государстве бюрократический характер, неизбежно должны были оказаться в руках дилетантов, что могло привести лишь к развалу хозяйства. Итак, популярная аналогия сводится к тому, что у нас была и осталась империя, собранная из различных наций абсолютной центральной властью. Всё остальное в аналогию не укладывается.

Провал августовского путча привёл к революции, изменившей организацию власти в нашей стране. Нам говорят, что это уже другая страна; во всяком случае, название “СССР” потеряло смысл: “союз” распался на “суверенные государства”, “социализм”, как будто, окончательно отброшен, а “советы” стали, наконец, “советами без

коммунистов", о которых мечтали русские крестьяне. Коммунистическая партия распалась, во всяком случае, в России и, кажется, на Украине, и уже произнесена формула "декоммунизация", скопированная с "денационализации". Армия и КГБ в значительной мере потеряли контроль над нашим физическим существованием, а московские министерства — над нашим хозяйством. В августе произошёл решающий эпизод переживаемой нами революции — четвёртой русской революции.

Революции составляют долгий и мучительный революционный процесс. В Англии такой процесс начался в 1641 году, перешёл в гражданскую войну, которая привела к республике и диктатуре Кромвеля; затем была реставрирована монархия, что приблизило государственный строй к английским традициям, но возобновило старые злоупотребления; и, наконец, в 1688 году был достигнут исторический компромисс, известный под именем "славной революции" и положивший начало современному государственному устройству Англии. Напоминаю об этом не только для того, чтобы объяснить, что я называю "революционным процессом": при благоприятном развитии событий август может оказаться нашей "славной революцией". Во Франции не было английского опыта парламентского и местного самоуправления, и революционный процесс затянулся там почти на столетие. В России, где был только опыт дворцовых переворотов, революционный процесс не может быть коротким.

В 17-ом году у нас были гораздо лучшие шансы на демократию. У нас было тогда то самое рыночное хозяйство, которое хотели бы теперь воскресить наши экономические кудесники. Были политические партии, придававшие обществу некоторую структуру, был зародыш парламентского правления в виде Государственной Думы, а на местах были земские учреждения. Образованное общество было в самом деле образованным: его высокая культура делала возможным введение представительного правления. Образованный слой был узок, но создавался уже "средний класс", способный организовать народную массу и заинтересованный в просвещении. А главное — Россия была полна жизненных сил. После трёх лет мировой войны сотни тысяч людей готовы были умирать за свои убеждения, отчего и вышла гражданская война.

Теперь у нас всё иначе. Народное хозяйство, построенное на принудительном труде под командой чиновников, лежит в развалинах. Не осталось никаких следов самоуправления. Почти нет образованных людей — мы теперь страна поголовной безграмотности. И на-

родная масса впала в глубокую апатию, потеряла веру в будущее и вообще доверие к каким-нибудь общим идеям. Взглянув на этот народ, можно подумать, что в нём сохранились только элементарные стимулы, связанные с выживанием в ближайшем заданном окружении. И что бы ни говорили наши политические мудрецы, серьёзных убеждений в народе нет: кажется, что никто ни за что не хочет умирать. Это плохо, но есть тут и хорошая сторона: в России больше не будет гражданской войны. После августа на этот раз не будет октября.

Успокоившись на этот счёт, посмотрим, что же собственно произошло в августе, что происходит сейчас, и чего можно ожидать в ближайшем будущем.

Прежде всего, надо трезво взглянуть на происшедшие события. Как известно, "перестройка" началась у нас вследствие раскола в коммунистической партии, в ходе которого "либеральная" фракция Горбачёва искала поддержку в общественном мнении. Всякого рода "диссиденты" и, тем более, сознательные демократы, которых у нас трудно увидеть, сыграли в этом процессе очень небольшую роль. Точно то же можно сказать об августовской революции: это был ещё один раскол в нашей правящей верхушке, когда фракция Ельцина (назовём её так для простоты) решилась отказаться от самых одиозных признаков коммунистической диктатуры, в частности, от своей словесной идеологии, а часть аппарата армии и КГБ перешли на сторону этой фракции. Бóльшая часть этого аппарата, как и бóльшая часть населения, оставалась в ожидательном бездействии, подобно тому, как это было в дни октябрьского переворота. Без сомнения, "чрезвычайное положение" готовилось задолго до пресловутого ГКЧП, для чего и был проведён через покорный "парламент" закон о чрезвычайном положении. Провёл его Горбачёв, под нажимом своих "правых" союзников или, если угодно, хозяев. Эти же люди пытались провести государственный переворот совсем незадолго до августовских событий, когда Павлов вдруг затребовал себе чрезвычайные полномочия без согласия президента, а три министра-заговорщика сделали заранее подготовленные доклады о положении в стране в закрытом заседании "парламента". Горбачёв двое суток отсиживался в Ново-Огареве, затем вдруг приехал в Москву и, как будто, мирно договорился с заговорщиками. О чём договорился? Без сомнения, он успокоил их, пообещав ввести

требуемые меры. Но, как видно, обманул, как он всегда всех обманывал. Затем он спокойно улетел отдыхать в Крым, не опасаясь этих людей; не удивительно, ведь это была уже пятая или шестая попытка спровоцировать переворот, и он был уверен, что *без него* они ни на что серьёзное не способны. Да и мы так думали, но произошло что-то непредвиденное. Восемнадцатого к нему в Форос прислали эмиссаров, по-видимому, предъявивших ему что-то вроде ультиматума, но он опять уклонился. И тогда заговорщики решились действовать без него.

Теперь многие задают вопрос, был ли сам Горбачёв участником заговора. Если речь идёт о самом путче 19-го августа, то, конечно, не был: не мог же он сам у себя отобрать власть, объявив себя больным. Но ведь заговор начался задолго до этого. События в Тбилиси, Вильнюсе и Риге, военная демонстрация в Москве по случаю российского съезда — всё это были этапы того же заговора, который завершился в три августовских дня. Люди на верхушке власти сговаривались, как покончить с “гласностью” и “демократией”, вышедшими за все терпимые пределы. Сговариваясь, подталкивая друг друга, действуя за спиной у своих сообщников, без конца предавая друг друга. И всё это делалось келейно, втайне от страны. При всей нашей хвалёной “гласности” мы так и не узнали, кто должен отвечать за кровь, пролитую в Тбилиси и в Баку, в Вильнюсе и Риге. Никто не был судим, никто не был наказан. Нужно ли лучшее доказательство того, что у нас был непрерывный заговор “наверху”? И кто может сомневаться, что *в этом* заговоре, длившемся много месяцев, Горбачёв играл важную роль? Что он прекрасно знал своих коллег, устраивавших все эти кровавые спектакли, и вынужден был их покрывать, всё время нечто обещая и всё время нарушая свои обещания?

Если бы Горбачёв согласился возглавить этот заговор, то, без сомнения, “съезд народных депутатов” одобрил бы примерно те же меры, какие объявил ГКЧП, и не было бы никакого “нарушения конституции”. Да и вообще, есть ли смысл говорить в нашей стране о “нарушении конституции”? Понятия о конституции, существующие на Западе, к нашему положению вообще не применимы. Охвостье брежневской “конституции”, которую переделывали десятки раз, не пользуется ни малейшим уважением, и уже не раз принимались законы, противоречащие “конституции”. Сам Горбачёв продемонстрировал своё отношение к ней на последнем съезде, когда депутаты слегка заупрямились: он объяснил им без обиняков, что может обойтись и без них. В наших условиях говорить, что акты

ГКЧП "неконституционны", значит попросту ссылаться на то, что под ними не было подписи Горбачёва, только и всего: у нас ведь понятие законности не очень изменилось с тех пор, как всё вообще зависело от *одного* человека.

По-видимому, Горбачёв хотел обойтись более мягкими средствами, без чрезмерного риска. Он не был уверен, что жёсткие меры удастся эффективно применить, и боялся уже разбуженного общественного мнения, а также реакции за рубежом. А главное, переворот означал бы, что Горбачёв, с его методами и его репутацией, был бы больше не нужен, и реальная власть перешла бы к другим. Трудно представить себе, чтобы кто-нибудь всерьёз причислял его к демократам, даже в нашем нынешнем смысле этого слова. Возможно, по складу характера он и в самом деле не жаждал кровопролития, но ведь и наши "чеписты" тоже не какие-нибудь Наполеоны, а всего лишь кабинетные интриганы. Все знают, как он относился к свободе печати и вообще ко всем, кто "подбрасывает" неугодные мнения. Я говорю о нём в прошедшем времени, потому что его политическая роль, вероятно, подходит к концу.

Но что же произошло во время путча? Официальная версия новой российской власти состоит в том, что храбрые московские демократы спасли "белый дом" и Ельцина, что и привело к поражению путча. Но тут же скептические журналисты, поддерживающие эту новую власть, признают, что никакая храбрость не помогла бы, если бы заговор был организован всерьёз: силам, осаждающим "белый дом", ничего не стоило его захватить. Более того, Ельцин и его сотрудники были бы схвачены на их дачах *до* объявления ЧП — такова азбука переворотов. Далее, в течение всей "осады" этого "белого дома" не были отключены телефоны, связывавшие его со страной и, тем самым, со всем миром; работала и международная телефонная связь. Вспомним, что во время польского военного переворота Ярузельский начал с внезапного ареста руководства "Солидарности" и с отключения международной связи. Наконец, рядом с кабинетами путчистов, в соседних комнатах действовали люди, помогавшие Ельцину или, во всяком случае, мешавшие путчистам своей двусмысленной позицией. Бесчисленные чиновники старой власти — в том числе генералы армии и КГБ — уверяют теперь, что они намеренно не выполняли или тормозили мероприятия ЧП. Если даже принять во внимание их естественную линию защиты, есть достаточно фактов, подтверждающих саботаж ЧП на среднем и высшем уровне старого аппарата. Но это ещё не всё: присматриваясь к ходу путча, можно подумать, что его инициаторы сами саботировали

собственное предприятие, не отдавая себе отчёта в опасности своего положения. Вся эта версия — официальная версия Ельцина, как мы её условились называть — попросту не держится.

Всё становится на свои места, если принять более естественное объяснение августовских событий, вытекающее из предыдущей ситуации. Как мы уже видели, "чрезвычайное положение" назревало в течение нескольких месяцев. Партийное и государственное руководство (а это было до путча одно и то же) понимало, что власть ускользает из его рук не потому, что переходит к какой-нибудь оппозиции, а просто вследствие развала государства. Грозными признаками развала были возникновение местных аппаратов власти в республиках и больших городах, стремившихся к независимости от центрального аппарата, и непокорность населения, особенно проявившаяся в рабочем движении. Старый аппарат власти — то есть партийная мафия в Москве и на местах, военно-промышленный комплекс и министерская бюрократия, опиравшиеся на армию и КГБ — лихорадочно искали выход из положения, и единственным выходом для них было ЧП. Тот факт, что они провели заранее соответствующий закон, свидетельствует о том, что эти круги были согласны с самой идеей ЧП, но в методах были расхождения. Конечно, сам Горбачёв хотел успокоить своих коллег проведением упомянутого закона, но сам он надеялся провести меры по "завинчиванию гаек" возможно более мягким способом: он хотел сохранить *видимость* положения "гласности" и "перестройки" для внешнего мира и для наивных людей внутри страны. Он, как видно, надеялся провести переворот так, чтобы это не воспринималось как переворот, и во всяком случае бескровно или почти бескровно. В таком случае он надеялся сохранить своё положение, то есть не *реальную* власть, которой у него никогда и не было, а возможность играть первую роль в нашем государственном балагане и без конца бороться за такую призрачную власть. Конечно, это была призрачная надежда: Горбачёв всегда был ловок в своей тактике, но не имел никакой стратегии. Может быть, весь его жизненный опыт, сводящийся к тонким маневрам в замкнутом мире партийных канцелярий, сделал его неспособным к пониманию твёрдых реальностей внешнего мира, где решения должны приводить не только к занятию и сохранению должностей, но и к материальным фактам. Военный переворот относится к таким неумолимым фактам: он должен быть или не быть, и его нельзя заменить никакой видимостью. Но Горбачёв был всю жизнь человеком видимостей.

Когда Горбачёв, после мучительных колебаний, решил передать

главную власть республикам, его “правые” союзники почувствовали, что подошли к последней черте. После подписания “союзного договора” Горбачёв мог сохранить своё положение, в указанном выше призрачном смысле; но Крючковы, Язовы и Павловы теряли почву под ногами. Они ещё раз предложили ему, в ультимативной форме, выполнить свои обещания насчёт ЧП, и он опять уклонился. Тогда нерешительные решились.

Но что значит — решились? Это вовсе не значит, что они решили устроить настоящий кровавый путч, с физическим устранением противников, расстрелом демонстраций, расправой с забастовщиками и уничтожением всех нежелательных структур власти, прежде всего республиканских. Такие действия связаны со смертельным риском и, следовательно, требуют смелости, но смелых людей в нашем руководстве давно нет. Люди, способные рисковать, были ещё в китайском руководстве — это были старики вокруг Дэна, ренегаты революции. Эти не боялись проливать кровь, как не боялись в своё время “соратники” Сталина. Это были люди, привыкшие ежедневно рисковать жизнью, потому что любой промах означал для них пытки и расстрел. Я вовсе не хочу сказать что-нибудь похвальное о поведении этих скорпионов в банке, а просто отмечаю, что вот были такие люди, а *эти* — совсем другие. Эти воспитаны в канцелярии. Единственными критериями отбора в их аппарате были ловкость в интригах и ежеминутная готовность к предательству. Вне аппарата, перед лицом грозных общественных событий эти люди были *невероятно* глупы и беспомощны, они выросли в убеждении, что там, внизу, подчиняются, если занять место сверху и с него руководить. Вот они и решились — *принять решение.* Они не сомневались, что изменили своим решением всю ситуацию, что после него и Ельцин с его россиянами, и республики, и шахтёры пойдут на удобные для них компромиссы. Они ведь ничего не ожидали, кроме компромиссов, чтобы протянуть время, усидеть пока на своих местах, а там будет видно. Горбачёв, самый хитрый из них, был их достойным учителем.

Но ситуация не изменилась. Аппаратчики стали маневрировать и выжидать, а тем временем люди вышли на улицы, окружили “белый дом”, другие люди засели там с жалким оружием, но с решимостью пустить его в ход, и это активное меньшинство внесло свой вклад в крушение власти. Потому что теперь надо было пролить много крови, куда больше, чем в Тбилиси, Вильнюсе и Баку, а за это пришлось бы, рано или поздно, отвечать тем, кто отдавал приказы. И генералы, конечно, струсили.

Вам трудно поверить, что нами правили и помыкали такие глупцы и трусы? Но это уже наша личная проблема, а не проблема истории. Историю удивить трудно.

Теперь мы переживаем экономический кризис, перед которым всё отступает на задний план. Чтобы понять, что сейчас происходит с нашим хозяйством, надо, прежде всего, отдать себе отчёт, как нас обманывают. Модные слова "рынок" и "предприниматель", "частная собственность" у нас такие же фикции, как "конституция". Дело в том, что основные предприятия в промышленности и в сельском хозяйстве у нас по-прежнему контролируются государственной машиной — после всех реорганизаций и переименований. Теперь заводы, совхозы и колхозы будут, по-видимому, управляться *республиканскими* учреждениями, министерствами или теми, что их заменят под другими названиями. Республиканские бюрократы будут "координировать", "планировать", и "распределять" точно так же, как это делали союзные бюрократы, и чаще всего это будут те же люди, потому что откуда возьмутся другие? Теперь они клянутся, что они больше не коммунисты, а православные, или что ещё потребуется завтра, но суть дела в том, что шайки чиновников вцепились мёртвой хваткой в средства производства; а кто владеет средствами производства, тот хозяин. Как видите, в них прочно сидит практический марксизм.

Как показал август, у них уже нет орудий террора: теперь они не рабовладельцы, но мы-то по-прежнему рабы. Прогнать этих паразитов может только демократическая власть, но у нас её нет, и как мы увидим, ещё долго не будет.

Пока власть в их руках, кооператоры и частники могут существовать только с их дозволения: все знают, за какую мзду они "регистрируют", но дело не в том. Допустим, что частник уже преодолел формальные препятствия; откуда он возьмёт помещения, станки, сырье, топливо, транспорт и связь? Всё это принадлежит государству, *то есть* шайкам чиновников. Рынка у нас нет, следовательно, ничего нельзя купить. Нужные товары и услуги можно только украсть или, что то же, получить у чиновника за взятку. В этом смысле вся наша "частная" экономика существует в щелях государственной и паразитирует на ней. Большие предприятия не влезают в эти щели, а потому "частникам" остаются некоторые виды лёгкой и пищевой промышленности, с малыми масштабами производства, а главным образом — посредничество, принимающее у

нас хищнический характер и известное под названием спекуляции. Часто это просто сбыт краденого по любым ценам, какие можно содрать с изголодавшегося потребителя.

Нынешнее "разрешение" частной инициативы иногда сравнивают с нэпом, но такое сравнение несерьёзно. При нэпе было частное крестьянское хозяйство, то самое "фермерское хозяйство", которое кажется теперь недосягаемой мечтой. Это традиционное хозяйство почти не применяло машин и в этом отношении мало зависело от государственной промышленности. Нэпман мог закупать продукцию непосредственно у крестьян. Техника была примитивной, но можно было использовать уцелевшие от революции машины. А главное, сохранились люди, умевшие вести предприятия, то есть производить, а не красть. И власть большевиков была *серьёзной* властью: приняв закон о частной деятельности, они добивались его выполнения. Странно, что приходится хвалить за что-то большевиков, но они были серьёзные люди и взяток не брали. Я имею в виду идейных большевиков, самых страшных. А теперь у нас всё делается не всерьёз, законы принимаются для виду, а практическая жизнь сводится к тому, кто за что берёт.

Уголовный характер нашего предпринимательства заключён уже в его происхождении. Дельцы у нас были всегда: теперь они только выползли из щелей, где прятались в брежневские времена. Их деятельность называлась тогда "теневой экономикой", а теперь нам внушают, что они были, в сущности, совсем не жулики, как мы привыкли думать, а честные предприниматели, следовательно, хорошие люди, угнетённые плохим законом; и теперь мы должны ожидать спасения от их предприимчивости. Но дело в том, что нельзя безнаказанно нарушать законы, даже плохие законы. Человек, живущий в условиях всеобщей продажности, может не быть жуликом, но тогда он не может преуспевать в делах. Если же он в них преуспевает, у него вырабатывается специфическая психология: глубокое ощущение собственного неблагополучия. Он подсознательно всё ещё разделяет принятые в обществе понятия о приличном поведении и ощущает себя нарушителем заповедей своего детства. Нарушитель уголовных законов всегда ощущает себя нарушителем исконных человеческих приличий, то есть — преступником. И вот теперь делец теневой экономики ходит с высоко поднятой головой, презирая нищего труженика: он теперь хозяин жизни, Грядущий Хам.

Народ правильно оценивает наших вышедших из подполья советских миллионеров: за их миллионами стоит украденный народ-

ный труд. И если эти грязные — по необходимости грязные — дельцы всё же выполняют полезные общественные функции, доставляя потребителю отчаянно нужные вещи, это никоим образом не меняет их нравственной оценки. Полезный жулик — всё равно жулик, и, слава Богу, народ это знает.

Частное хозяйство не может существовать без рынка, а рынок может быть создан только частным хозяйством. Получается заколдованный круг. Надо отдать себе отчёт в том, что скорого выхода из этого круга не может быть. Конечно, наши политические комбинаторы и служащие им журналисты не могут прямо сказать народу, что для серьёзных изменений нужны долгие годы. Измученный нищетой народ просто не вынесет правды, он жаждет утешительных иллюзий. Политические деятели знают, что должны лгать народу, чтобы сохранить своё положение, и выдумывают всё новые обещания.

У нас нет предпринимателей, способных купить крупные предприятия и вести на них производство. Нет даже способа оценить такие предприятия, да и вообще инфляция делает продажу за рубли странным делом, потому что рубли тают на глазах, а имущество всё-таки чего-то стоит. Можно отдать предприятия даром самым способным менеджерам и инженерам; но кто будет выбирать этих счастливцев, и как оправдать их перед публикой? Скорее всего, рабочие их выгонят в шею.

Можно пытаться продать предприятия иностранцам за валюту. Это сразу же вызовет разговоры о распродаже России, и такие мысли могут явиться не только у наших национал-коммунистов. Но, к счастью, эту опасность можно пока оставить в стороне, поскольку иностранцы наши предприятия не купят. В ГДР заводы были лучше наших, но оказалось выгоднее сносить и строить новые. А главное, зачем им наши заводы? Они могут, конечно, значительно улучшить производство даже на существующем оборудовании, но что им делать с вырученными рублями? Брежневские экономисты хотели убедить иностранцев строить у нас современные предприятия. Эксплуатировать нашу дешёвую и покорную рабочую силу, а продукцию вывозить на внешний рынок. Но те же преимущества могут предложить многие слаборазвитые страны, где всё-таки есть рынок и проще работать.

Всё это приводит к нерадостному, но трезвому заключению, что государственная промышленность должна сохраниться в течение ближайших лет, просто потому, что её нечем заменить. И, может быть, единственный реальный способ “приватизации” в нашей стра-

не состоит в передаче предприятий (в том числе совхозов и колхозов) в собственность (не в "аренду", а в собственность!) их рабочим и служащим. Сама идея коллективной собственности отнюдь не утопична, поскольку такие предприятия составляют в Соединённых Штатах около 10% и вполне успешно работают в условиях конкуренции. Успешные результаты того же рода были ещё раньше в Швеции, но этот опыт не столь убедителен, потому что там помогало государство. Можно продавать акции также посторонним, оставляя преимущества своим сотрудникам, и поскольку они сами становятся собственниками, это вовсе не то, что у нас называлось социализмом. Я оставляю в стороне вопрос, что такое вообще социализм.

Такое решение приняли бы наши рабочие. Во всяком случае, в нашем многострадальном и героическом Кузбассе они не мыслят других хозяев, чем они сами. Возможно, это будет переходной формой хозяйства, а затем её сменит "классический" капитализм. Но, может быть, выяснится, что на Западе начала уже стираться граница между собственником и наёмным рабочим, так что "классический" капитализм принадлежит уже истории.

Мечта о социальной справедливости глубоко запечатлелась в сознании наших людей. Эта мечта породила три революции и была предана фанатизмом большевиков. В их руках все цели были забыты, и остались очень дурные средства, что привело к советской "империи зла". Я не буду оспаривать это название, потому что всякое зло, в сущности, так же банально, как наша повседневная жизнь. Кто-то сказал, что изощрённость дьявола проявляется только в банальности. Но идея социальной справедливости — вовсе не большевистская, а христианская идея, и марксизм был, конечно, последней ересью христианства. Так или иначе, русская революция провалилась, но осталась идея, и революция её укрепила. Поэтому семьдесят лет наших страданий не были просто глупым экспериментом кучки фанатиков. Трагедия России имела глубокий смысл — для верующего глубокий космический смысл. И сегодня наш — уже давно негодующий — народ бросает в лицо своим паразитам евангельские слова: "Кто не работает, тот не ест".

Не думаете ли вы, что удастся навязать этому народу "классический" капитализм? Меня тошнит от неприличной комедии строительства капитализма вчерашними аппаратчиками, от назойливой валютной рекламы, от всей этой пляски прохиндеев перед нищим, отчаявшимся народом. Дай Бог, чтобы народ вынес всё это без кровавого бунта. Будем надеяться на его здравомыслие или, если угод-

но, на его усталость. Пусть же эта усталость даст нам несколько спокойных лет!

Всё, что я сказал о возможностях “приватизации”, предполагает, что у нас ещё долго не будет рынка; следовательно, промышленность и значительная часть сельского хозяйства будут связываться в работоспособную систему неестественным, “плановым” путём. Да, я не оговорился: другого способа пока нет. Если нет рынка, кто-то должен заботиться, чтобы связи между предприятиями сохранялись, и этот координирующий орган должен быть вооружён санкциями за невыполнение поставок. Для “переходного” периода нужна сильная, но не произвольная власть, имеющая в рамках закона жёсткий контроль над производством и работающая не над закреплением такого положения вещей, а над переходом к свободному рынку. Ясно, что такая администрация не может возникнуть и действовать без неусыпного общественного контроля. Попробуйте доверить всё это чиновникам, и они тотчас начнут работать на себя: на учёном языке это называется “закон Паркинсона”. Доверять чиновникам нельзя, это и есть главное правило демократии. Чтобы реформы были серьёзны — *наконец*, серьёзны — надо смотреть за исполнителями, выгонять нечестных и неспособных, по мере надобности менять планы и установки. Всё это может делать только представительное правление. Как показывает история, с этим не справлялся никакой повелитель, даже Пётр Великий, но это ежедневно происходит в странах, где работает демократия. В конце концов, государство — это общественная машина для совместного проживания граждан. Я ничего не имею сказать тем, кто ожидает от государства руководства и спасения, то есть обращает его в свою церковь. Но если государство — это машина, то надо учиться пользоваться ею у тех, кто это делает лучше. Почти все машины, применяемые в нашей стране, изобретены иностранцами. Они их тоже заимствовали друг у друга, а парламентское правление взяли у англичан, так что всё это — общее добро цивилизации. Ведь никто не отказывается ездить в машине, а многие ли знают, кто изобрёл автомобиль?

В борьбе за демократию, которая теперь только и начинается, политика и экономика должны идти рука об руку. Очевидное заблуждение — упрекать наших общественных деятелей, что они слишком увлекаются политикой, когда разрушается хозяйство. Хозяйство разрушается именно потому, что у нас плохо, неумело за-

нимаются политикой. В последние годы нас развлекали парламентскими спектаклями, и многие вообразили, будто демократия у нас уже есть. Не может быть большего заблуждения.

Слово "демократия" означает "власть народа". В демократических государствах исполнительная власть — правительство и его местные органы — утверждается и контролируется народным представительством, парламентом. Все настоящие парламенты характеризуются тремя признаками: способом избрания, способом контроля над исполнительной властью и способом принятия решений.

Выборы в парламент предполагают, что избирателям предлагаются свободно выдвинутые кандидатуры, представляющие политические партии. Но у нас нет политических партий, а выдвижение кандидатов не было свободно: они отбирались избирательными комиссиями, контролируемыми нашей *единственной* партией, которая вовсе не партия, а правящая клика — мафия. За редкими исключениями избирателям приходилось выбирать между двумя коммунистами, например, каким-нибудь кондовым аппаратчиком и более безобидным партийцем, имеющим человеческую профессию. Треть депутатов "съезда" (насчитывающего 2100 человек!) вообще не выбиралась: предполагалось, что их выдвигают "общественные организации", но в действительности они назначались ЦК партии. В частности, члены политбюро и другие важные партократы не подвергали себя опасности "альтернативных выборов": уже тогда они опасались, что их не выберут. В результате всех этих проделок 87% депутатов "съезда" оказались коммунистами. Но этого мало было Горбачёву, боявшемуся даже такого подобранного собрания. Для полной надёжности "съезд" должен был "избрать" из своего состава нечто вроде "рабочего парламента", под прежним названием "верховный совет"; этот орган был заранее утверждён ЦК, и "съезд" покорно "избрал" его. Просто не хватает кавычек для описания этой демократии!

Контроль над исполнительной властью предполагает, что парламент устанавливает государственные доходы и расходы: именно в этом состоит его *главная* функция. Когда-то англичане сделали открытие, что никакое правительство не может управлять, не имея денег; это выражается изречением: "Налогообложение без представительства есть тирания". Между тем, в нашем государстве вообще нет достоверного бюджета, поскольку подлинные доходы правительства держатся в секрете даже от "верховного совета". По независимым оценкам, больше половины этих затрат поглощают армия, КГБ, военная промышленность и государственный аппарат (до по-

следнего времени включавший аппарат партии). Все эти расходы — тайна нашей правящей верхушки, их знают несколько человек, но, конечно, чиновники обманывают их самих. При таких условиях и все остальные статьи бюджета не заслуживают никакого доверия — их просто сочиняют таким образом, чтобы всё в целом выглядело приличнее. Но где нет бюджета, там нет и контроля над налогами: вас попросту обирают, как хотят, и тратят деньги, как попало. Короче говоря, у нас по-прежнему нет народного представительства, а есть тирания.

Наконец, парламентский способ принятия решений предполагает многопартийную структуру парламента, где одна из партий (или коалиция партий) формирует правительство, другая же находится в оппозиции. Только в таком противоборстве организованных политических сил, где общественные дела обсуждаются в обстановке спасительного недоверия, возможно сколько-нибудь эффективное и честное управление. Система политических партий далеко не безупречна, но это единственное известное нам средство от коррупции и произвола. Где нет партий, там нет парламентского способа принятия решений. Короче говоря, решения у нас по-прежнему принимаются тайной властью кучки людей, хотя она больше не называется "политбюро". И эти решения по-прежнему сваливаются нам, как снег на головы, после пяти лет демократической болтовни.

В подлинных представительных собраниях каждая партийная фракция живёт своей внутренней жизнью, образуя нечто вроде парламента внутри парламента. Фракция выделяет лидеров и предоставляет им говорить от её имени. Обычно это самые способные люди партии, лучше всего выражающие её взгляды и интересы; остальные же поддерживают свою партию голосованием. Таким образом, говорят лишь самые способные, и у них достаточно времени для серьёзного обсуждения дел. Очень важно, что система партий придаёт парламенту иерархическую структуру. Как известно, всё живые существа устроены иерархически, и можно сказать по аналогии, что именно партийная структура делает парламент живым. А наш "парламент" — всего лишь гальванизируемый труп.

Две особенности этого парламентского спектакля производят на иностранцев особенно комическое впечатление: это толкучка у микрофонов и чтение речей по бумажке. Люди, до такой степени лишённые собственного достоинства, как наши депутаты у микрофонов, конечно, легко позволяют управлять собой. Основой работы любого парламента является регламент. Орган, создающий законы, должен

уметь сам подчиняться закону: регламент — это закон парламентской жизни. Наши, с позволения сказать парламентарии презирают регламент как “формальность”, нарушают его и, естественно, не замечают, как его нарушает ведущий собрание председатель. Чтобы вести такой “парламент” на поводу, вовсе не требуется особой виртуозности, с этим справляется даже Лукьянов. Важнейший вопрос — предоставление трибуны подавшим заявки депутатам — решался тёмными чиновниками из секретариата, без сомнения, по указке направляющего “парламент” начальства. *Партии* потребовали бы представительства и в президиуме, и в секретариате, но ведь тут была всего *одна* партия, и 87% депутатов были уже представлены своим ЦК.

Вторая смешная черта нашего “парламента” — это чтение речей по бумажке. Все наши лидеры всегда читают речи по бумажке, не отдавая себе отчёта в том, что́ это значит. Парламентская традиция исключает такую практику, полагая, что лишь *неспособный* оратор нуждается в писаном тексте. Регламент английского парламента издавна это запрещает, что приводит к важным последствиям. Люди, не уверенные в себе, не умеющие упорядочить свои мысли или не способные изложить их грамотным языком — не произносят речей в парламенте. Такое правило весьма способствует разумности прений: оно не даёт голоса дилетантам и пустословам, но оставляет за всеми депутатами право бросить на чашу весов свои голоса. Когда в России возник первый зародыш парламента — Государственная Дума, в её регламент было включено то же правило, запрещавшее читать речи по бумажке. Оно мешало некоторым демагогам выдвигать на трибуну тех, кого вскоре стали называть рабочими от станка и крестьянами от сохи. Вообще, полезно познакомиться с прениями Думы, чтобы понять, с чего начиналась наша демократия и к чему она пришла.

Что же всё-таки сделал наш жалкий парламент за два года своего существования? Он принял множество законов, которые очень мало выполнялись, а теперь и вовсе теряют значение, поскольку Союза уже нет. Он полностью провалился во всём, чего ждал от него Горбачёв, но весьма способствовал тому, чего Горбачёв не ждал: помог расшатать наш тоталитарный строй. В истории люди меньше всего ведают, что творят.

Конечно, Горбачёв не понимал, что его историческое назначение — разрушить коммунистический строй. Он всего лишь хотел подправить его экономику кое-какими реформами, чтобы лучше “выполнять планы”; ничего кроме “планов” и “процентов выполнения”

он просто не мог себе представить. Его реформы вызвали сопротивление партийных “правых”, полагавших, что на их век России хватит. Чтобы удержаться у власти, он попытался опереться на общественное мнение внутри страны и за рубежом, провозгласив так называемую “гласность” (конечно, он не придумал это слово, а заимствовал у кадетов). Эта “гласность” в конечном счёте подорвала позиции его собственной партии и разрушила Советский Союз.

Горбачёв не заботился о так называемых “правах человека”: вначале он и вообще рассматривал “человеческий фактор” лишь как одно из условий “выполнения планов”. Но поскольку карательные органы были на стороне его врагов, он блокировал их систему политических репрессий, а это привело к заметному снижению уровня страха в стране.

Более того, в борьбе с “правым” большинством политбюро Горбачёв пытался создать ему противовес в виде “левой” оппозиции, которую он надеялся контролировать и направлять. Для этого он допустил избрание около ста пятидесяти более или менее независимых депутатов “съезда”, составивших так называемую “межрегиональную группу”, а также Ельцина, которого хитрым манёвром, против воли ЦК, провёл в “верховный совет”. Возможно, это была его крупнейшая ошибка — разумеется, с точки зрения его карьеры, потому что Горбачёв никогда не имел другой.

Революции чаще всего начинались с попыток провести реформы через какой-нибудь умеренный парламент. Так было в Англии в 17-ом веке, во Франции в 18-ом, и в обоих случаях дело пришло к тому, что отрубили голову королю. Конечно, главная роль таких парламентов была в том, что они возбуждали общественное мнение, принимая всё более радикальный характер. В этом смысле ельцинский парламент продолжает собой парламент Горбачёва: в нём больше “демократов”, да и сам Ельцин “демократ”. Почему я ставлю это слово в кавычки, я сейчас объясню.

“Демократами” у нас называют всех, кто выступает за демонтаж коммунистической системы. Ясно, что на словах с этим согласны все, кроме немногих фанатиков; упрямые “ветераны” из простого народа бессловесны и представляют угрозу лишь в качестве избирателей. Но люди из старого аппарата, за редкими исключениями, хотели бы только разговорной демократии, чтобы сохранить под любым названием выгодную для них систему управления. Вспомним,

что Ельцин был избран председателем верховного совета России большинством в *пять* голосов. Люди, голосовавшие против него, то есть за Власова и Полозкова, это неисправимые враги всякой демократии, что бы они не изображали из себя в августовские дни. Но большинство людей, голосовавших в этот день *за* Ельцина, тоже не демократы — даже не "демократы" в кавычках, а чиновники более гибкого типа, решившие перейти в другой аппарат. Напомню, что на съезде РСФСР коммунисты составляют те же 87%, что и на всесоюзном съезде: это основной факт, который не следует забывать при оценке ельцинской демократии.

В отличие от этих явных и скрытых консерваторов, "демократами" у нас называют тех, кто стремится построить *новую* систему власти в нашей стране, не обязательно столь свободную, как на Западе, но с основательно большей свободой личности и частной инициативы. Наших демократов можно разделить на две группы по их жизненным привычкам и психологическим установкам: на бывших аппаратчиков и людей, не бывших в аппарате. Первая из них состоит из людей старшего возраста, обычно 50–60 лет, сменивших ориентацию. Конечно, никто у нас не считает демократом беспринципного оппортуниста Горбачёва, разве что в очень иронических кавычках. Но есть группа выходцев из аппарата, понявших окончательное крушение коммунистического строя и связавших свою судьбу с возникающей новой властью. Они служили в старом аппарате тридцать лет и больше, и эта служба наложила на них неизгладимую печать: они привыкли к авторитарному стилю и не могут работать иначе. Это значит, что человек мыслит себе общественные отношения только в виде руководства и подчинения. Что поделаешь, у человека лишь одна жизнь: он не может превратиться из гусеницы в бабочку.

Очень редко встречаются в этой группе люди, искренне переменившие свои взгляды после мучительных размышлений. Пример Александра Яковлева показывает, что и в партии можно было оставаться честным человеком, не делая большой карьеры и не слишком насилуя свою совесть. Такие люди, принимавшие всерьёз коммунистический идеал и теперь расставшиеся с ним, уже уходят с политической сцены. Я буду говорить о других, более обычных представителях этой группы, вождём которых считается Ельцин.

Ельцин прошёл весь путь партийной карьеры: был директором крупного завода, затем первым секретарём обкома партии на Урале, и, наконец, кандидатом в члены политбюро. В Свердловске его знали как властного и бесцеремонного начальника, в Москве он пы-

тался справиться с коррупцией фронтальной атакой, и склонен к тому же стилю на своём нынешнем посту.

Так же, как Горбачёв, он из простой семьи, и вместо образования получил диплом; он так же малограмотен и беспомощен в попытках изложить свои мысли. В нём нет харизматического дара, и в этом он также похож на Горбачёва. Но его тяжеловесная, грубоватая манера поведения более импонирует простому русскому человеку, чем Горбачёвское уклончивое многословие. Думаю, что он от природы более прямой человек: уже его речь на 27-ом съезде партии резко выделялась своей определённостью. По-видимому, он искренне сторонился коррупции, насколько это было возможно при его карьере. И хотя я не верю газетной мифологии, кажется, в нём есть личная храбрость.

Без сомнения, Ельцин не мыслитель, его неуклюжесть вызвала вначале представление, что он простое орудие стоящих за ним интриганов. Верно, что группа советников устроила его избрание (то самое, большинством в пять голосов!), но, по-видимому, Ельцин не так прост, как кажется. При всём его невежестве, он быстро схватывает суть заданного вопроса и успешно отбивается от журналистов; говорят, он способен слушать советы и выбирать советников.

За границей нередко спрашивают, не может ли он стать диктатором. Уверен, что не может, по субъективным и объективным причинам. Как я уже говорил, он вовсе не харизматический лидер: грубо говоря, у него не хватает для этого болезненной психики, нуждающейся в такой компенсации. Весь его облик говорит о суховатой, несколько раздражительной натуре здорового мужика.

Но наша главная гарантия от диктатуры — характер нынешнего населения. У нас вывелись люди, способные командовать и выполнять команду. И уж конечно, нам не грозит диктатура идейная, потому что у нас больше нет идей. Народ у нас теперь трезвый и недоверчивый, вовсе не готовый за что-нибудь умирать. Если вы сошлётесь на Югославию, я отвечу вам, что у нас коммунисты уже дали свой последний бой, а у них ещё нет: во всяком случае, они и там скоро провалятся. Если же вы заговорите о Жириновском, то в европейских странах, столь же лишённых фанатизма, как нынешняя Россия, несколько процентов тамошних люмпенов всегда голосуют за правых радикалов. Разговоры о грядущей диктатуре — такая же газетная чепуха, как предсказания о неминуемом голоде и потоках беженцев, готовых затопить Европу. Я не ручаюсь за мусульманские республики, но в России диктатуры не будет.

Я объяснил, почему у нас не будет диктатуры, и почему, тем

самым, из Ельцина не получится диктатор. Это важно, поскольку после распада “союза” реальной властью у нас может стать российская власть. Люди Ельцина, которые теперь делят между собой эту власть, и есть упомянутые выше “Демократы” в кавычках, насколько это касается России. Дальше я буду говорить только о России.

Союзный парламент послушно прекратил своё существование, и никакие союзные выборы больше невозможны, но изобретательный Горбачёв пытается теперь сконструировать “новый” верховный совет, который будет просто назначаться, в соответствующих долях, республиканскими властями. Эта мертворождённая идея не имеет никакого отношения к демократии, и мы её оставим в стороне. Продолжением нашего союзного парламента, в политическом смысле, будет российский.

Российский съезд был выбран на год позже союзного, уже под заметным давлением общественного мнения. На этот раз уже не пытались назначить часть депутатов, а всех выбирали, но опять-таки выбирать приходилось, как правило, между двумя коммунистами. И снова им удалось провести 87% своих! Конечно, совпадение здесь случайно, но методы организации выборов были точно те же. Избрание Ельцина было важнейшим поворотом в нашей системе правления. До этого необычного голосования Горбачёву удавалось проводить свои планы через союзный парламент солидным большинством голосов. Но тут российский парламент отказался повиноваться. Избрание Ельцина — сначала председателем верховного совета, а потом президентом — означало второй раскол в партии, раскол её “либеральной” фракции, возглавлявшейся Горбачёвым.

Союз распадался, и Горбачёв чувствовал, что может оказаться президентом призрачного государства (что впоследствии и произошло); между тем, Ельцин мог стать президентом России, которая никуда не денется, а останется при всех своих бедствиях великой державой. Теряя равновесие, он яростно сопротивлялся избранию своего соперника, но потерпел поражение. Депутаты России уже не повиновались своему ЦК, и это означало, по существу, распад партийного аппарата. Численные результаты голосования — большинство в пять голосов — означали конец управляемой демократии Горбачёва, а вместе с тем системы принудительного единогласия. Напомню, что на съезде России было не более ста пятидесяти подлинных демократов, без кавычек, о которых ещё будет речь.

Конечно, наша новоявленная российская демократия не сводит-

ся к парламенту: есть ещё местные советы, пока сохранившие своё советское название, но призванные осуществлять самоуправление наших городов и весей. Приглядываясь к этим, если так можно выразиться, муниципальным органам, мы обнаруживаем там всё те же, очень знакомые лица местных аппаратчиков; если они не присутствуют в совете, то уж наверно засели на тёплых местечках в исполкоме. Там уже без них обойтись невозможно: только они знают секреты городского хозяйства, сельского хозяйства, вообще всякого хозяйства, в чем мы можем убедиться каждый день. К несчастью, без них пока и в самом деле нельзя обойтись, потому что наши демократы хозяйничать не умеют. Честные и умные хозяева не вырабатываются в один день.

Навыки муниципального самоуправления вырабатываются в течение столетий, они входят в плоть и кровь цивилизованных наций. Цивилизованному человеку не всё равно, что творится на улицах его города или деревни. И кто будет заботиться о том, что у нас называется "благоустройством"; в английском языке, если верить словарю, нет такого слова, так что у нас есть слово, а у них — благоустройство. Когда в 1620 году американские колонисты высадились с корабля "Майский цветок", они хорошо знали, как будут управлять своей общиной; более того, ещё на борту корабля, в течение трёхмесячного плавания, они составили для неё конституцию. Мы с бешеной скоростью носимся по воздуху, но не умеем навести порядок у собственного дома.

Политические партии действуют уже на муниципальном уровне, и каждый знает, что предлагает каждая партия по поводу местных дел; эту партию олицетворяют известные ему люди, которых можно встретить на улице. Испытав на практике "свою" партию, избиратель голосует за неё на выборах в парламент как во многих делах человеческих, в такой системе могут быть пороки, но лучшей до сих пор не придумали: это сказал Черчилль и, к сожалению, он прав. Как только придумают лучшую систему, я тотчас же перестану быть демократом, но пока что я хочу быть спокоен за мою жизнь и свободу, хотя бы ценой всей этой хитрой суеты.

Настоящие политические партии появятся у нас не скоро. Они — продукт зрелой общественной жизни, и было бы наивно ожидать их появления в стране, до того не привыкшей к простейшим видам самодеятельности, как Россия. Когда мы научимся устраивать хорошие школы и детские сады, независимые газеты и журналы, дельные и честные кооперативы, тогда можно будет подумать о партиях. Конечно, если не принимать это всерьёз, то можно разве-

сти их сколько угодно: у нас завелись уже монархисты, анархисты и даже либералы.

Другая группа наших демократов состоит из людей, не бывших в аппарате. Если исключить их из числа карьеристов, стремящихся проникнуть в будущий аппарат, то остаётся всё же немало *искренних* демократов, то есть людей, готовых работать для свободной России. Обычно это люди 30–40 лет, инженеры, преподаватели, врачи, начинающие литераторы и журналисты. Среди них встречаются добросовестные специалисты, но без всякого опыта общественной жизни. Обычно они не знают хозяйственных и административных дел своего города или деревни. По этой причине они не смогут конкурировать с аппаратчиками в том, что составляет повседневные заботы их избирателей, и должны полагаться на старых бюрократов, заботящихся только о себе.

Как правило, это люди с “высшим образованием”, но не серьёзным, а советским. Они мало читают, не знают иностранных языков, не понимают искусства. Среди них трудно найти человека, читавшего конституцию какой-нибудь демократической страны. Что касается деловой стороны демократии, то есть повседневной практики демократических стран, то я сомневаюсь, чтобы её знали даже лидеры наших демократов. Если кто-нибудь из них бывал за границей, то по незнанию языка и неопытности в делах мало что понял. Одно только восхищение чужым благополучием не делает человека полезным своей стране.

Когда-то Герцен, скептически взирая на наших первых радикалов, сказал, что прежде чем учреждать в своей стране республику, надо иметь хоть несколько сот республиканцев. К счастью, нынешние демократы не обладают бешеной энергией своих предков и не имеют спасительной доктрины. Но те местные советы, в которых наши демократы оказались в большинстве, не способны к деятельности. И решения советов разных уровней часто несовместимы. Избиратели теряют доверие и интерес к таким советам.

Это дало возможность Ельцину и его аппарату резко усилить исполнительную власть на местах. Правда, введённые должности мэров тоже не особенно помогают, точно так же, как специальные представители президента. Между тем, нехватка продовольствия становится всё более ощутимой, и эту проблему, конечно, нельзя решить административным путём. Всё же я думаю, что голода у нас не будет.

Даже сейчас у России достаточно производительных сил, чтобы избежать голода. Для этого, в сущности, было бы достаточно отдать в частную собственность огородные участки, лучше всего бесплатно, и прикупить за границей недостающее зерно. Голода не будет, но будет великая скудость. Всё это, однако, при условии, что удастся предотвратить финансовый крах: надо, чтобы продукты могли продаваться, а для этого должны сохраниться деньги. Понимает ли Ельцин с его сотрудниками, что такое гиперинфляция? В чьём распоряжении находится *вот сейчас* монетный двор? Странно, каким образом эти люди рассуждают о далеко идущих реформах, когда на глазах исчезает покупательная сила рубля. Совершенно очевидно, что с инфляцией ничего нельзя сделать, если не провести чрезвычайные меры экономики. Прежде всего, армия теперь почти не нужна и может быть распущена, кроме небольшого профессионального ядра. КГБ следует немедленно уничтожить, и вместе с ним бóльшую часть МВД. Военное производство надо практически прекратить, вместе с разработками, а запасы оружия продать на слом. Далее, необходимо устранить все бесполезные конторы и учреждения, уволив чиновников. И, наконец, надо прекратить поставки государствам-иждивенцам вроде Афганистана и Кубы.

Все эти меры столь же очевидны, как избавление утопающего от лишнего груза. И я не могу себе представить правительство, которое бы в нынешней ситуации не приняло бы этих мер, разумеется, если это в его власти. И тут у меня возникают сомнения. Казалось бы, правительство Ельцина одержало верх над “центром”, отобрало у него предприятия, находящиеся на российской территории, запретило коммунистическую партию. Но от кого, всё-таки, зависит остановить денежный станок? Или распустить армию? Трудно отделаться от впечатления, что описанные меры от команды Ельцина не зависят: иначе они не ждали бы с ними ни одного дня. Ведь катастрофа, ежедневно объясняемая журналистами, надвигается с каждым днём.

Так кому же принадлежит в России власть?

Почему у нас не будет фашизма и гражданской войны

По заглавию этой статьи можно заподозрить в ней оптимистическое содержание. Прошу читателя не торопиться с таким выводом. Для оптимизма у нас теперь мало оснований, во всяком случае на ближайшие годы. Но нас запугивают бедствиями, которые нам в действительности не угрожают, отвлекая наше внимание от серьёзных вопросов, — запугивают несомненно с политическим целями, потому что занимаются этим люди, стремящиеся сохранить власть или вырвать в происходящей борьбе за власть возможно больший кусок правительственного пирога, содержащего не только удовольствия самой власти, но и возможности быстрого обогащения.

В специальном приложении к "Русской мысли" за 10 июля 1992 г. я прочитал статью "Номенклатурный реванш как угроза человечеству", с подзаголовком "Аналитическая записка". Среди напыщенной декламации, заменяющей анализ в этой записке, можно заметить страшные угрозы:

"Как кстати пришлось сегодня обеспеченное ещё в апреле, на VI съезде, сохранение в конституции России статей о Союзе ССР! Как стройно эта легальная возможность отстранения президента России от власти путём импичмента укладывается в общую диспозицию коммуно-фашистского путча, объединяющего в общей схеме и остановку производства, и (с подачи номенклатурных «профсоюзов» ФНПР и других «общественных организаций») провоцирование массовых стачек, и бесчинства пьяного отребья на улицах! И как безумно раскручивается в результате махина гражданской войны (пока ещё не межгосударственной, а именно гражданской), т. е. особенно жестокой и кровавой войны с «соседями», раскручивается с участием едва ли не всех высших должностных лиц России, безнадёжно погрязших в этом..."

После многоточия (принадлежащего авторам записки) перечисляются результаты "коммуно-фашистского путча", из которых достаточно привести следующие:

"Наконец, в четвёртых, катастрофический спад производства, гиперинфляция, либо — в случае административной фиксации цен — исчезновение всех товаров первой необходимости из магазинов,

угроза голода; вследствие этого — грандиозный общественный стресс, внезапная и полная утрата оптимистических ожиданий (которые, вопреки номенклатурной пропаганде, сегодня ещё свойственны, хотя и в «приглушённой» форме, большей части населения), разрушение доверия к абсолютному большинству представителей власти и к власти вообще — в сочетании с бесконечными локальными войнами в России и за её пределами — лавинообразно погрузят всю территорию бывшего СССР в непредсказуемую по размаху массовую истерию, в кровавый хаос, из которого, на волне всеобщего безумия выйдут на поверхность самые невероятные комбинации криминально-фашистских элементов, старой номенклатуры и реакционной военщины".

В редакционном предисловии к этой апокалиптической записке сообщается, что она изготовлена Исследовательским центром "РФ — политика", который, как это ни странно, располагается со своими компьютерами на Старой площади в Москве, в здании бывшего ЦК КПСС. Как известно, там находится теперь как раз центр новой советской номенклатуры, а в кабинетах бывших членов политбюро заседают те же самые "высшие должностные лица, безнадёжно погрязшие в этом". Сопоставив обличительный пыл записки с местонахождением породивших его чиновников, читатель может прийти в недоумение. Ведь всякое серьёзное сопротивление "коммунофашистскому путчу", подготовляемому в этих кабинетах, привело бы к немедленному удалению этих чиновников из дома на Старой площади, а между тем они всё ещё там, у своих компьютеров. Чувствуя, что всё это вызывает недоверие, составители предисловия могут только пробормотать заклинание: "Это один из парадоксов нашего времени".

Как известно, на территории бывшего Советского Союза штатные должности, оборудование и возможности публикации предоставляются только лицам, служащим одной из номенклатурных клик, и нетрудно установить по тексту "записки", что авторы его служат Гайдару и его команде. Осторожно покусывая президента, они пытаются перетянуть его на свою сторону в схватке с "директорами" из ВПК. Но вся эта мышиная возня на Старой площади мало относится к тому, о чём я собираюсь писать. В сущности, объективные условия нашей хозяйственной жизни задают основное направление так называемым "реформам", независимо от того, кто из чиновников при этом лучше устроен. Чиновники хотят переползти из "социализма" в "капитализм", сохранив за собой руководство и все житейские блага. Это у них не выйдет, да и самый капита-

лизм в России не получится. Но это уже другая тема, которой я не буду сейчас заниматься.

Пока я ставлю себе более ограниченную цель: выпотрошить чучело фашизма и гражданской войны, выставляемое перед публикой для использования её симпатий и опасений. В одной из моих старых статей я говорил уже о перспективах русского фашизма — в то время, когда его пытались привить нашему народу устроенные для этого подразделения КГБ. Точно так же, и в наши дни в русском фашизме очень мало спонтанной активности и, по существу, у него те же спонсоры, переменившие должности или нет.

Но те, кто теперь пытается обустроить русский фашизм, начисто лишены политического реализма. Они плохо соображают, где прошлое и где будущее, не понимают, что фашизм у нас уже был. Наш отечественный фашизм, изготовленный из большевистского наследства, но настоянный на русском шовинизме, был создан Сталиным, а Брежнев привёл его к бесславному концу.

Точнее говоря, классический русский шовинизм — это сталинизм, вполне соответствующий гитлеровскому нацизму. Брежнев возглавлял уже постфашистский режим, гниение мёртвого сталинизма. Только старые люди знают у нас фашизм по личному опыту, но обычно не понимают, что они пережили. И почему-то старые люди упорно твердят, что люди были тогда лучше нынешних — честней и храбрей. И они в чём-то правы.

Чтобы понять, в чём они правы, вспомним, что фашистов воспитал вовсе не фашистский строй. Фашистский строй воспитал людей, которых мы видим вокруг нас, а они вовсе не фашисты. Да, это “один из парадоксов нашего времени”, как выражается “Русская мысль”, но нетрудно разъяснить этот парадокс. Фашизм вообще — это переходное явление между отсталым обществом с феодальными пережитками и современным индустриальным обществом. Явление это возникло в тех странах, которые запоздали в своём историческом развитии и не могли конкурировать с более развитыми странами, потерпев от них военное поражение. Архаические, негибкие структуры власти в этих государствах не выдержали социального напряжения и были разрушены популистскими движениями, выступавшими под социальными или национальными лозунгами. Так было в Италии и Германии, в России и Китае. Отношение между социальными и национальными идеями было различно, но во всех

случаях вначале был капитализм, и в нём — социальное недовольство и социалистическая пропаганда; затем — поражение в войне и послевоенная разруха, несостоятельность внутренней политики социалистов (или коммунистов); приход к власти людей, переводящих социальное недовольство в русло национализма и отвлекающих его внешней экспансией; наконец, поражение внешней агрессии, разрушение фашистского строя и возвращение к "нормальному" капиталистическому развитию.

История фашизма зависела, конечно, от местных условий и внешнего окружения, но во всех случаях можно проследить одни и те же тенденции. Сначала всюду был марксизм, с красным знаменем, первомайскими демонстрациями и пролетарским интернационализмом. Затем консервативная государственная власть втянулась в большую войну, поставив этим социалистов перед совершившимся фактом. Германия проиграла войну; Италия, Россия и Китай по существу тоже проиграли войну, хотя формально и оказались на стороне победителей. Все эти страны испытали катастрофическую военную разруху, крушение денежной системы, общую деморализацию народных масс. В этих условиях социалисты (или на востоке коммунисты) попытались применить свои доктрины, но их планы провалились. В Германии и Италии им пришлось действовать парламентскими методами, и они были бессильны перед хозяйственной катастрофой; в России и Китае, где государственная власть оказалась слабее, коммунисты захватили власть, но и здесь завели хозяйство в тупик. Социализм в исполнении марксистов везде обнаружил свою несостоятельность. И к власти пришли националисты, использовавшие в той или иной степени его наследство. Гитлер и Муссолини соединили шовинизм с социальной демагогией и в значительной мере подчинили экономику своим партиям; Сталин и Мао тоже перешли к национальной идеологии, сохранив фикцию марксизма, и сумели полностью подчинить себе экономику своих стран. Прежние борцы за социализм во всех случаях были истреблены. Национализм также неспособен был справиться с экономикой и искал выход во внешних авантюрах. Германия и Италия были разбиты во Второй мировой войне, что и положило конец фашизму в этих странах. Советский Союз и Китай вступили на путь милитаризма, провоцировали конфликты с соседними странами и разжигали их в далёких странах; эта деятельность встретила сопротивление западного мира и провалилась. Наконец, в России фашистская система обрушилась; в Китае она тоже приближается к концу.

Пусть читатель простит мне этот скучный урок социологии. У

нас всё ещё много людей, не понимающих, что сталинизм был обыкновенным фашизмом. Конечно, экономика России была абсолютно подчинена партийному аппарату, но и в Германии рейхсфюреры и рейхсминистры всё больше забирали в свои руки хозяйственное руководство. Конечно, Сталин говорил о "дружбе народов", а Гитлер о "новом порядке в Европе", Сталин сохранил свою марксистскую фразеологию, а Гитлер — только лозунг "социализм". Но сущность власти не в том, что она говорит, а в том, что она делает, и здесь аналогия превращается в тождество. У нас был фашизм, а поскольку фашизм всегда принимает национальный цвет, то это был *русский фашизм.*

Итак, надо прежде всего понять, что фашизм уже был у нас в *прошлом,* а не предчувствовать его в будущем. Я докажу, что в будущем его не может быть. Не может быть с той же достоверностью, как не может быть, чтобы французы восстановили у себя монархию, или англичане ещё раз казнили своего короля. Надо уметь различать вероятные явления от невероятных, для чего требуется некоторая ясность мышления. Публицисты, пророчествующие теперь в российских газетах и журналах, вряд ли могут в этом помочь; перефразируя Писарева. Можно сказать, что никакой автор не может сделать своего читателя умнее самого себя.

Фашизм не воспитывает фашистов, а берет их из предшествующей ему общественной среды. Как говорил Маколей, "первые плоды, пожинаемые при плохой системе, часто вырастают из семян, посеянных при хорошей"[1]. В 1933 году, когда Гитлер пришёл к власти в Германии, его рядовым штурмовикам было лет двадцать–тридцать, а руководящим кадрам его партии — лет сорок. Остов этой партии составляли бывшие солдаты и офицеры Первой мировой войны. Фашисты были немецкие мелкие буржуа — лавочники, ремесленники, чиновники, крестьяне и отчасти рабочие; они получили воспитание в старой кайзеровской Германии, в духе немецкого консерватизма, повиновения начальству и церковной обрядности. Это было крепкое немецкое мещанство, способное к упорному труду, вере и самопожертвованию, что и доказала Вторая мировая война. Конечно, все эти добродетели были направлены к дурным целям, но невозможно отказать фашистам в прочных психологических установках. Напротив, люди, воспитанные при фашизме, оказались совсем другим человеческим типом, быстро сменившим свои психологические установки. Человек, которому в 1945 году было 15 лет, получил в детстве

[1]Эссе о Макиавелли.

и отрочестве полный заряд фашистской идеологии; но он прожил всю свою взрослую жизнь в условиях либеральной демократии и, за редкими исключениями, отнюдь не боролся за внушённые ему идеи. Из него вышел законопослушный мещанин скорее американского, чем старонемецкого типа. Я вовсе не хочу сказать, цитируя Маколея, что почва, вырастившая немецких фашистов, была в самом деле хорошей. Она была намного лучше того, что сделали из её отпрысков — вероятно это и хотел сказать великий историк, как видно из контекста приведённых слов.

Большевикам, устроившим октябрьский переворот, было в то время тридцать—сорок лет, а новым членам партии — двадцать–тридцать. Все они выросли при самодержавии, это были русские интеллигенты, рабочие и крестьяне, большею частью прошедшие мировую войну. Они получили, как правило, религиозное воспитание, и воспитывались в семьях с крепкой патриархальной традицией. Ленин верил в бога до шестнадцати лет, а отец его скорбел о мученической смерти убитого царя. В интеллигентских семьях людям внушали понятия, не имевшие ничего общего с практикой террора. Большевики были сильным человеческим типом, они твёрдо верили в своё учение, приносили ему все возможные жертвы. Я видел последних уцелевших большевиков, прошедших сталинские лагери: они верили в то же, с чего начинали свою борьбу.

Фашизм не способен создать крепкий человеческий материал, он попросту переводит человеческий запас, доставшийся ему от прошлого, а затем — разваливается. В России, не претерпевшей военного поражения при советской власти, этот процесс можно проследить от начала до конца, а в Китае, где всё ещё правят дряхлые ренегаты революции, он подходит к концу. Фашизм разрушает, но не творит. Он разрушает и человека, но не творит человека, он оставляет жалкие человеческие отбросы, среди которых мы задыхаемся теперь. Всё лучшее, что у нас есть, это пережитки досоветского прошлого, дети уцелевших старых семей, читатели уцелевших старых книг. Если вы хотите найти у нас приличных простых людей, вы скорее всего найдёте их в глуши, подальше от настроенных коммунистами городов.

Наш современный фашизм — это искусственный продукт, зачатый в пробирках КГБ. Уже известно, откуда взялись его руководящие кадры, кто предоставлял ему типографии, кто обеспечивал безопасность распространения его стряпни. Идейное перерождение

коммунистической партии можно коротко описать как превращение красного цвета в коричневый: теперь это уже всем очевидно. Начало этому процессу положил Сталин, сменив незадолго до войны пролетарский интернационализм на русский шовинизм. Разумеется, до этого мы имели уже фашизм под красным флагом. Но ведь у немецких нацистов тоже был красный флаг, только со свастикой внутри, и были первомайские демонстрации, когда они шествовали под красными флагами. Как мы уже знаем, фашизм — продукт вырождения социализма, отсюда красный цвет.

Конечно, превращение советского коммунизма в русский шовинизм имело свои мотивы. Мы живём в эпоху, когда, вслед за религиями, разрушились выросшие из них “идеологии”, в частности, последняя ересь христианства — марксизм. Народные массы, нуждающиеся в духовной опоре, возвращаются в таком случае к более элементарным и, как нам кажется, неотъемлемым ценностям — племенным. В психологии индивида этому соответствует явление регрессии: после тяжёлого переживания взрослый человек часто возвращается к понятиям и привычкам своего детства. Явление национальной регрессии вызвало некоторые надежды в старой русской эмиграции, следящей с понятным интересом за возвращением самого имени “Россия”, трёхцветного флага и даже, непостижимым образом, двуглавого имперского орла. Надежды эти напрасны.

Племенная регрессия в двадцатом веке составляет часть общего распада христианской культуры. На месте её возникает переходное состояние, замеченное социологами и получившее имя “вторичного варварства”. Как всегда в случаях распада культуры, прежде всего распадается присущий ей стиль — осмысленное единство культурных явлений. Исчезает хороший вкус, повсюду воцаряется крикливая, разноцветная, глянцевая халтура. Исчезают серьёзные мотивы поведения, на место их приходят карьеризм, торгашество и реклама. Учёные готовы принять любые суеверия, а священники — любые компромиссы. В общем, возникает современное западное общество, слишком известное, чтобы его надо было объяснять. В таком виде оно долго существовать не может, это переходная эпоха, и хотелось бы знать — к чему. Но это не входит теперь в мою тему. Меня интересует теперь не перспектива столетий, а несколько ближайших десятилетий, когда западное общество будет меняться столь медленно, чтобы Россия могла ему подражать.

Вторичное варварство в психологическом смысле совсем не похоже на первичное. Настоящий варвар груб, но силен и свеж душою; вторичный варвар тоже груб, потому что все его духовные потреб-

ности упрощены, но в нём уже нет силы, и он не способен меняться, то есть не свеж. Первый — человек начала истории, а второй, может быть, человек конца. Впрочем, скорее всего кончается не история нашего вида, а Новая История, или Христианский Материализм.

Для нас здесь важно только одно свойство *вторичного* варвара: он слаб, не способен к подвигу и самопожертвованию, а следовательно, социально бессилен. Это относится вообще к современному человеку, он *homo reliquus*, остаточный человек христианской культуры. Таков же и современный русский человек. В нём просто нет материала, чтобы сделать из него фашиста. Современный русский националист подобен гнилой луковице: сколько оболочек с него ни сдирай, он ни на что не годится.

Наш обыватель — прежде всего — *чиновник*, представляющий себе жизнь только под руководством начальства — всё равно, какого начальства, но избавляющего рабскую душу от необходимости делать выбор и отвечать за свои поступки. Даже если это молодой человек, не желающий работать, а предпочитающий устраивать уличные беспорядки, он должен быть уверен, что какое-то начальство этого хочет и, значит, никакого риска в этом нет. Люди, распространявшие погромные сочинения, успокаивали сомневающихся, уверяя их, что здесь ничего антисоветского, что всё это одобрено КГБ. По-видимому, их наниматели хорошо знали, какой публике они адресуют свою литературу. Но ведь эта публика не годится для серьёзного дела. Фашистские путчи — и даже простые погромы — требуют некоторой храбрости и самостоятельности. Советский обыватель не решится нарушить установленный порядок, если достаточно авторитетное начальство не даст ему формальных указаний: вспомните, что он в душе чиновник, а чиновнику требуется оправдательный документ. Даже имея такие указания, он не проявит особенного пыла в разрушительных действиях, потому что может объявиться другое начальство, которое этого не одобрит. Он будет сомневаться, пока фашизм не станет признанным государственным строем; но кто же установит такой строй, если все таковы, как он? Августовский путч прошлого года ярко иллюстрирует, чего стоят наши ретрограды. Казалось бы, высшие государственные власти заверили их, что можно безнаказанно двигаться в желательном направлении — к твёрдой власти, наказанию всяких демократов и интеллигентов, подавлению других наций. Но те, на кого рассчитывали путчисты, кого долгие годы готовили агенты КГБ, отсиделись дома. Наши жалкие демократы смогли вывести на улицы некоторую часть публики, но никто не видел ни малейшей инициативы

наших почвенников. В рискованных случаях они струсят и будут ждать, чья возьмёт — вот вам и весь нынешний национализм.

Решительное доказательство бессилия наших “коричневых” — это их миролюбие. Настоящие фашисты неудержимо стремятся к насилию, без этого спонтанного стремления нельзя представить себе никакой серьёзный фашизм. Сначала должны быть штурмовики, готовые убивать, а потом их могут организовать какие-нибудь фюреры, если такие найдутся. Во время брежневского застоя гебисты всячески разжигали национальные страсти и, как будто, встречали сочувствие у значительной части публики. Но успех такой пропаганды измеряется насилием. И вот, оказывается, каждый акт насилия гебистам приходилось устраивать самим. Единственный результат этой политики был тот, что удалось напугать некоторую часть советских евреев, что было нетрудно. Но ведь хотели не этого, хотели на антисемитизме вырастить народное движение и переставить на него идеологию. Не вышло.

Могут возразить, что брежневские комбинаторы и не хотели особенной спонтанности, а рассчитывали повести за собой массы в нужный момент. Ну что ж, настало критическое время, когда власть ослабела до крайности, вываливаясь из рук партийного начальства. Самое время было вызвать народную стихию на защиту национальных ценностей. Опять не вышло. Было намерение, был аппарат, отпускались деньги, а фашизма никак нет. Наши новоиспечённые фашисты не сумели устроить даже скромный еврейский погром. Каждая попытка гебистов в этом роде сводилась к бессильным крикам, а при первом сопротивлении крикуны мирно удалялись.

Не было даже “террористических актов”, столь характерных для фашистов. В Германии перед их приходом к власти всё время когонибудь убивали; в России перед революцией не прекращалась эпидемия бессмысленных убийств. В нынешней России провозглашаются фашистские лозунги, но не видно фашистских поступков. Вообще, в России не заметно никакого политического возбуждения. В отделившихся советских республиках национальные страсти разжигает правящая там мафия, то есть та же номенклатура в местных разновидностях. Местами это ей удаётся, но и там большинство народа хочет, чтобы их оставили в покое. Я говорю только о России; впрочем, почти то же можно повторить об Украине и Белоруссии, где была примерно та же история и сложился похожий человеческий тип.

Самая очевидная черта нынешнего русского человека — это его неспособность к вере и, вследствие этого, слабость личности. Основ-

ной факт, из которого надо исходить при оценке нынешнего положения России — это катастрофический упадок личной и общественной энергии. Чтобы что-нибудь делать, надо верить в своё дело. Без веры нельзя даже построить капитализм, и верить надо вовсе не в рыночное хозяйство. Не так строился капитализм там, где он начинался, и не такими людьми. Корыстные мотивы сами по себе — бессильны.

Теперь часто вспоминают семнадцатый год, проводя поверхностные аналогии. Тогда была анархия, и теперь тоже, но ведь Россия не та! Тогда, после трёх лет мировой войны, Россия была полна жизненных сил, и сотни тысяч людей готовы были жертвовать жизнью за свою веру. У нас были настоящие политические партии; и члены этих партий верили в свой партийный идеал, как первые христиане во второе пришествие. Герои гражданской войны были сильные люди, и с той, и с другой стороны. И победили те, кто крепче всех верил в свой идеал — большевики. Я оставляю в стороне вопрос, хороший это был идеал или плохой, но надо отдать должное большевикам: они верили в него. Так вот, видите ли вы вокруг себя людей, похожих на большевиков? Не правда ли, этот вопрос вызывает смех? Видите ли вы вокруг себя офицеров, готовых умереть за свою честь, эсеров, спорящих из-за чести бросить бомбу, интеллигентов, готовых умереть за учредительное собрание? Эти люди творили чудеса, а мы нечудоспособны.

В обществе, где люди не верят в свои идеи, не может быть фашизма. В обществе, где люди не готовы умирать за свои идеи, не может быть гражданской войны. Дрова в печи выгорели, а теперь пытаются поджечь золу.

Есть ещё одна сторона общественной жизни, которой мы резко отличаемся от России семнадцатого года. Это низкий уровень умственного развития, препятствующий любой политической деятельности. У нас нет людей, способных быть лидерами партий, нет грамотных журналистов, нет даже толковых бюрократов. Фашизм, который у нас уже был, оставил нам кадровые отбросы, из которых нельзя построить никакую энергичную политику — в частности, никакой новый фашизм. Это безрадостная картина, но ведь я и не обещал особенных радостей. Я обещал только показать, почему у нас невозможен фашизм и не будет гражданской войны.

Присматривались ли вы к нашим фюрерам? Похож ли Васильев на человека, способного повести на штурм каких-нибудь штурмови-

ков? Похож ли Жириновский на диктатора, способного что-нибудь диктовать? Ясно, что ему диктуют другие, а он старается заучить. Диктуют те же, кому он всегда служил. И очень интересно, что никого лучше они не смогли найти. Испугаться наших фашистов может только истинно *советский* человек. Бежать от них может только истинно *советский* еврей. Что же касается наших “так называемых демократов”, то они попросту используют чучело фашизма для своих карьерных целей, о чём я уже говорил. Всё это очень печально. Подумайте, Россия дошла до того, что не может произвести даже такую дрянь, как фашизм!

Но слава богу, что она не может его произвести. Наша жалкая слабость — это наша единственная надежда, и нетрудно понять, почему. Россия нуждается теперь в достаточно длинном периоде ненасильственного развития, без чрезмерного давления идеологий и партийных программ. Проще всего это объяснить с помощью исторической аналогии.

Первой революцией — в смысле Нового Времени — была английская, начавшаяся в 1641 году. Затем была гражданская война, которую возглавил Кромвель, и в 1649 году, после победы республиканцев, англичане казнили своего короля. Затем была диктатура Кромвеля, поддержанная воинственными фанатиками — пуританами, во многом напоминавшими большевиков. В 1660 году была восстановлена монархия, ограниченная контролем парламента. Когда, однако, выяснилось, что Стюарты неспособны к конституционному правлению, в 1688 году их бескровно изгнали, устроив так называемую “Славную Революцию”. С той поры и началась прославленная английская свобода, и в Англии установилось “правовое государство”, послужившее примером всем остальным. Вскоре после этого, в 1695 году, в Англии была отменена цензура: свобода печати, как известно, основа всех других свобод.

Смысл этой Славной Революции был в том, что нация устала от революции, не желала больше гражданской войны, и вообще всем надоели военные конфликты. Англичане хотели спокойной жизни, и следствием этой слабости духа был гнилой компромисс между разными общественными силами, позволяющий стране обходиться без дальнейших кровопролитий и беззаконий. Уцелевшие пуритане негодовали, сторонники законного короля возмущались: все принципы были принесены в жертву практическим удобствам жизни. Этот гнилой компромисс — неуклюжая сделка между представителями разных интересов — постепенно превратил Англию в богатейшее и самое свободное в мире государство, где все были вправе

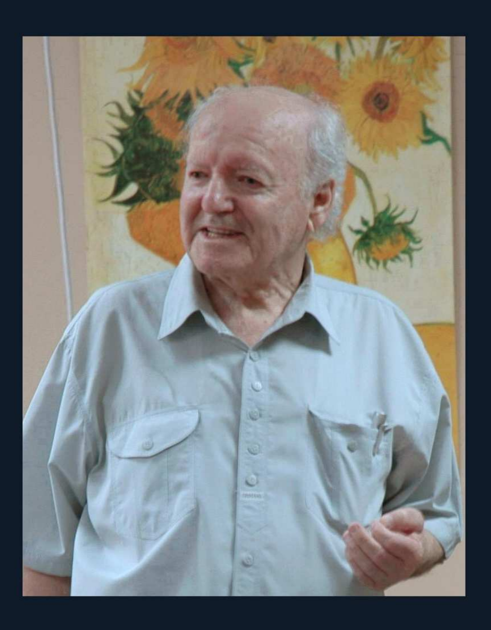
проповедовать любые принципы, хорошие и дурные, но никто не вправе был навязывать их другим. Потому что основой этого компромисса было решение установить строгую законность, и с тех пор англичане не жалели о таком решении. Формальное применение закона, выбранное ими, не обещало им в будущем рая на земле, но эта практическая нация довольствовалась тем, что больше не повторится ад.

Я не собираюсь обсуждать здесь вопрос, можно ли устроить рай на земле, и как это сделать. Но представительное правление и рыночное хозяйство, то есть современный капитализм, это лучшее из решений социального вопроса, найденное до сих пор. Потому мы и учимся английскому языку, а русскому никто не торопится учиться, потому что на этом языке слишком долго говорили глупости.

Нет, я не поклонник капитализма. Я вовсе не думаю, что человеческий дух остановится, приняв за высокую мудрость этот гнилой компромисс. Но теперь нам надо выжить и научиться, как теперь говорят, цивилизованному образу жизни. Иначе говоря, нам надо кое-что заимствовать у капитализма и, прежде всего, твёрдый законный порядок.

Значит, наша Славная Революция впереди.

“То, что я напишу, не подойдёт решительно никому. Слушая нестройный хор комментариев, приходящих из свободного мира, можно подумать, что правда никому не нужна: для разных целей фабрикуются удобные версии. Но у меня нет никакой версии. У меня только никому не нужная правда, и я намерен говорить эту правду со всем бесстыдством, на какое способен честный человек. Отсюда почти однозначно вытекает, что этим письмам не суждена никакая литературная жизнь, но я всё равно их напишу.”



Абрам Ильич Фет (5 декабря 1924, Одесса — 30 июля 2007, Новосибирск) — известный российский математик и физик. Работал в Сибирском отделении Академии Наук.

Абрам Ильич много размышлял о человеческом обществе, о биологической и культурной природе человека. Предлагаемое Собрание сочинений в 7-ми томах — это первая серия публикаций философско-публицистического наследия А. И. Фета.

Том составлен из публицистики, написанной автором в 1982–1992 гг. и по горячим следам освещающей события того времени. Автор рассматривает перестройку как вынужденную революцию сверху, а его экскурсы в историю помогают понять российское наследство и особенности национального характера.

American Research Press, 2015
Printed in the USA

